



ДРУЖБА НАРОДОВ



- *Инга Кузнецова*
Музыка в подъязычье
Стихи
- Проза и поэзия
Новые имена
Впервые в «ДН»
- *Вячеслав Пьецух*
Базаров как альбатрос
- *Роман Сенчин*
Сидя на московской кухне
- *Александр Загрибельный*
На Шелковом пути
меж трех миров

4'2010

ДРУЖБА НАРОДОВ



Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

4'2010

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Инга КУЗНЕЦОВА. Музыка в подъязычье. Стихи	3
Лиля КАЛАУС. Темные паруса. Повесть в 9 картинах	6
Мария ФАРГИ. Только б не казаться — быть! Стихи	35
Константин МОСКАЛЕЦ. Сангелом на плече. Рассказ. С украинского. Перевод Елены Мариничевой	39
Павел АНТИПОВ. Живет такой Леха. Рассказ	51
Мария РЯХОВСКАЯ. Рассказы	58
Ганна ШЕВЧЕНКО. Твои прекрасные глаза. Черда историй	73
Евгений БЕВЕРС. Рассказы	82
«Пачка стихов». Поэтический проект. Вступительная заметка Леты Югай.	
Александра МОЧАЛОВА; Влад КЛЁН; Наталья ИЗОТОВА; Артем МОРС; Дмитрий ЗИНОВЬЕВ; Лета ЮГАЙ. Стихи	90
Ольга КУЧКИНА. Косой дождь, или Передислокация пигалицы. Записки соотечественницы. Окончание	99
Андрей ГРИЦМАН. Счет за свет. Стихи	142

Публицистика

Вячеслав ПЬЕЦУХ. Базаров как альбатрос	145
ПЕРЕКРЕСТКИ КУЛЬТУР	
Александр ЗАГРИБЕЛЬНЫЙ. На Шелковом пути меж трех миров	154

Нация и мир

СТРАНА РОССИЯ	
Роман СЕНЧИН. Сидя на московской кухне	174

Критика

Леонид ФИШМАН. Мы попали	200
Ольга БАЛЛА. Рай для всех	209
Григорий КРУЖКОВ. «Не англы, но ангелы суть...». О Наталье Трауберг	215

Эхо

Один на один с реальностью. Рубрику ведет Лев Аннинский	218
Summary	224

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И



МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (МФГС)

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Наталья ИГРУНОВА, Галина КЛИМОВА,
Владимир МЕДВЕДЕВ, Леонид ТЕРАКОПЯН (заместитель главного редактора)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ,
Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ, Александр
КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЕДУШКИНА, Давид МУРАДЯН,
Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, Эльчин,
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

© «Дружба народов», 2010

Инга Кузнецова

Музыка в подъязычье

* * *

нежный шар винограда фонаря
вызревает во тьме декабря
и в свеченьи видна до утра до нутра
жизни жуть кое-как говоря

жизни суть что вечерние люди несут
и растроченной нежности шум
то что держит тебя на плаву на весу
и приходит собакам на ум

ты идешь как взрезаешь неплотный пирог
а в начинке декабрь и апрель
ты читаешь его меж домов между строк
и проводишь свою параллель

ты идешь и летишь ты дрожишь на лету
и проводишь двойную черту
все что видишь мгновение на нежном свету
виноградиной держишь во рту

* * *

Комната, плавающая, как кит,
в сумерках. В ней твой Иона спит.
Твой телесный двойник к стенке чрева приник,
Ты же держишься за плавник.

Ты снаружи, ты в сумеречной волне,
ты с распахнутым сердцем в раскрытом окне.
Небывалое море стремится и влечет.
Все, что знаешь, — наперечет.

Неужели, душа, ты не птица и речь,
но амфибия, нимфа? Лететь или течь —
все едино: вода и воздушный поток,
чешуя и волос завиток?

Ты нагая, душа. Без пера и руна
от начала времен ты стоишь у окна.
Плавниками, руками этот мир впереди
Обними, а Иону буди.

* * *

запутанность веток
растущих из струнных концертов
стремительность скрипок
листы разлетелись без крепок
скребущие буквы сбежали
о Бах мой ты крепок
разматывай свиток
в последнем вагоне из центра

осколки стекла
высыпаются из клавишинов
органное небо темнеет
о Бах мой как сильно
ты веришь а город крошится
и хором окраин
как можешь ты быть так заранее ранен?

идти с плеером «эмпэтри»
и не чувствовать шумной
толкучки по музыке умной
бесценной безумной
ступать по-индейски неслышно
не чувствуя лишней
себя

пробуждение

дворничих метел тщательный шорох
высох и бьется запутавшись в шторах
бабочкой-книжкой пугающе тонкой
веки стянуты пленкой

сбивчивой музыке водоразбора
робкая мебель плохая опора
сердце в корзину баскетболиста
вброшено падает в листья

смена теней и бликов
детских и птичьих криков
веток промокших всплески
туман или занавески
слуховые фрески

веки срастаются утро незрело
медленно катятся яблоки зренья
под сновиденья прохладной кожей
будто мячи в прихожей

парки померкли разъехались цирки
время растительной чистки и стирки
графики галок письма и помарок
медом пахнущих марок

смена заботы ноты
главной о как давно ты
не заглядывала
в запасные свои блокноты
не просвечивала темноты

день прибывает

день прибывает как поезд день прибывает
к острову тела бутылкой стеклянной с посланьем
день открывается в чаще внезапной поляной
день до поры в скорлупе темноты пребывает
и вылупляется день как вода прибывает
день ото дня наводнение дня так бывает
день расцветает как белая лилия лета
день от бутона рассвета живет до заката
вечером свернутый день прошивает цикада
катышек дня зацепился за краешек платья
как он не хочет теряться упасть откатиться
взмахами крыльев сбивают вечерние птицы
дня лепестки лоскутки отголоски остатки
день погибает погиб значит только в зачатке
в черной своей скорлупе а проснешься увидишь
день вылупляется издалека прибывает

* * *

птицы с шумом падающей штукатурки
сыплются с неба их зябкие фигурки
крошки хлеба высматривающие в сугробах
мешают дворникам в рыжих робах

на короткий скребок жестяной лопаты
наваливается звук резкий и виноватый
перед выстуженной тишиной дворовой
правильной и суровой

вот и январь без оттепелей послаблений
поскользнуться но распрямив колени
свет вдохнуть и нежный огонь затеплить
в плавком теле

этот снег останется на перчатке
этот свет останется на сетчатке
эта музыка в подъязычье
набело запишется следами птичьими

Лиля Калаус

Темные паруса

Повесть в 9 картинах

Картина 1

Весь день было пасмурно. Небо давило на горы, угрюмо нахохлившиеся на юге, пригибало к земле мятежные головы алма-атинских вязов, тревожно гудело над крышами. Этот гул, почему-то наводя на неприятные мысли о девятибалльном землетрясении, ощутимо сгущал воздух.

И вдруг все стихло, и в оглушающей тишине сизая муть получила подсветку от невидимого, но близкого солнца. И уродливый, как гигантская меланوما, азиатский город вдруг вспыхнул янтарным величием русского барокко. Слава богу, пробка, наконец, стала рассасываться.

Нет, это не девятиэтажные шлакоблочные дома уныло ползут за окнами маршрутки, затравленные стаей пыльных иномарок, а мраморные, обрубленные в бедрах ноги колосса шагают, не зная еще о судьбе остального тела, шагают, истекая потоками горячего света, бодро, по инерции...

Лида вздохнула. Так бывает в Средней Азии. Несуразный фьюжн. Не то Евразия, не то действительно Азиопа.

Сейчас, кажется, принято говорить «Центральная Азия». Западный здравый смысл, как всегда, на практике оборачивается могучим комплексом национальной неполноценности. Какие ассоциации порождает эта самая «Центральная Азия»? Пупочная грыжа Вселенной? Жлобский веб-говорок на форуме, где каждые пять секунд всплывает рекламная скважина порносайта? А скажешь: «Средняя Азия» — и как хорошо, сразу перед глазами старикашка-дехантин в драной тюбетейке, верблюды с ишаком, бесформенные тетки в полосатых робах, выводок грязных детишек, пыль и навоз, медленно, но верно разрушающие все, что построено не из пыли и навоза...

Лида пожала плечами. Для журналиста — мелковато, для менеджера с кривой от телефонной трубки шеей — просто набор слов. Жорик бы в этом месте крикнул, выматерился и сказал: «Валить отсюда надо, ясен пень».

Вспомнив его доброе круглое лицо, Лида улыбнулась.

Да. Вздохнула, пожала плечами и улыбнулась... Вот и все, что она, Лида, умеет. Нет, прав Жорик — тряпка она. В ее-то возрасте пора бы уж научиться принимать решения. Дальше Лида думала еще о чем-то, но мысли мельчали, ерзали, опускаясь

Калаус Лиля (Лейля) родилась в Алма-Ате. Окончила филфак КазГУ. Писатель, художник, член СП Казахстана. Главный редактор журнала «Книголюб». Лауреат I премии литературного конкурса «Казахстан-Дебют» 1996 г. Тексты и графика публиковались в казахстанских журналах «Аполлинарий», «Простор», «Нива», а также в альманахе «Малый шелковый путь» (Ташкент), журнале «Чайка» (США). Книги: «Женщина и символ» (1992), «Бестиарий» (1995), «Стихи и рисунки» (2003), «"Роман с кровью" и другие повести» (2005). Живет в Алма-Ате. В «ДН» публикуется впервые.

до меню завтрашнего обеда вперемешку с прайсами, каталогами, накладными, ногтями налоговички, вечерним маршрутом в супермаркет.

А дивный свет все еще дрожал в пространстве, отбрасывая радужки на потные лица пассажиров маршрутки.

После брежневских панелек косяком пошли пафосные особняки недавней застройки. Удивительно, как быстро желтые зубы Азии сдирают с них гламурный прикид. Сначала дранка проклюнется над вычурной бровью лепнины, потом зеркальные окна покроются коррозией грязи, по стенам вскарабкается грибок, на сверкающих дверцах суперскоростного лифта кто-то криво прилепит скотчем бумажонку «*Остановка на 1, 3, 8 этаже просьба ненажимать на др.*», а потом — бац, и перед вами уже обычный дрянной домишка в азиатчине, и никакие домофоны, ажурные заборы, будки охранников, фонтанчики у входа и прачечные в подвале не спасут и не помилуют...

Свечение исчезло. И ртутное море ослепительной жары мгновенно, до плохо пригнанных бетонных черепных костей, выжгло лицо города.

Лида неловко спрыгнула с подножки маршрутного такси, вырвала подол белой юбки из-под ноги кондукторши и засемила прочь. На углу она остановилась, достала из сумки ежедневник и, шевеля губами, еще раз вчиталась в адрес.

Через четверть часа блужданий по геометрическому ландшафту, вообще характерному для Алма-Аты, трижды выйдя к одному и тому же заросшему прошлогодней осокой футбольному полю, ошалева от жары, Лида взяла тайм-аут, нырнула под арку, не сразу прикурила. Под куполом арки, рассчитанной по высоте на крупного слона с магараджей на борту, отрешенно выл ветер. Докурив, Лида машинально вошла во двор и сразу же увидела нужный ей дом — стоящую под неправильным углом к остальным постройкам невзрачную хрущобу, полузадушенную купами вьюнка.

Подъезд, пропахший тяжким кисломолочным духом, мелкие, крошащиеся мозаикой ступеньки, на каждой лестничной площадке теснятся по четыре разномастные дверки. Второй этаж — детские вопли заглушают перестрелку из телевизора. Третий этаж — злобное мяуканье и гортанный телефонный разговор. Четвертый этаж: топот своры мелких ног слева, сдавленное хихиканье справа, звонкие матюги прямо по курсу и — тягучая тишина за дверью с нацарапанным мелом номером квартиры. Лида позвонила, раздались алябьевские трели. Открывать не спешили. Лишь после третьей, несколько нервной уже рулады кто-то припал к глазку.

— Ну?

— Это Лида... Э-э-э... Меня Ася... То есть Асия Нуркатовна послала. Мне нужна... Сейчас... Э-э-э... — Лида полезла за ежедневником.

За дверью ждали, не отлипая от глазка.

— А... Аделаида Павловна дома?

— Тебе зачем? — глумливо спросили из-за двери. Голос был не мужской, не женский, но определенно пакостный.

— По творческому вопросу! — выпалила Лида.

Дверь распахнулась. Лида ступила в темное чрево прихожей. Лохматый собеседник мелькнул в аппендиксе коридора застиранным ликом Че Гевары и исчез. Лида огляделась. Обувь пыльной кучей свалена в углу, на вешалке — сиротливая шуба. Овальное зеркало с крошащейся от старости амальгамой безразлично отражает кургузый силуэт бабы лет тридцати пяти. Пегие волосы стоят дыбом над одутловатым лицом, оправа тонкого металла создает ложное впечатление гимназического пенсне, картину довершает изжеванная майка с принтами — бэкграунд для мобиля на шее — в ансамбле с косо сидящей марлевой юбкой.

Откуда-то донеслось:

— ...Через неделю. Да. Мой творческий вечер (пауза). «Судьба моя, ромашечка». Да-да, так и называется. И презентация одноименной книги. Записали? Это у вас малыши так кричат? Очаровательно... Диск? Да-да, и диск будет. И прэсса. Да, прэсса. Вообще-то всеми этими делами занимаются мои дети, Ася со Славочкой. И рекламой, да. Да, повезло. МНЕ — с детьми повезло (ироническая пауза). Они приглашают основную массу народу. Я звоню лишь избранным. Помните? «Нас мало, избранных...» Нет-нет, народу будет много, уже приглашено сорок пять человек. Да.

Значит, четырнадцатого, в восемнадцать, в Академии наук, в Доме ученых. Да. Да-а... Да? (долгая пауза, прерываемая свистящими вздохами).

Лида сковырнула босоножки и, осторожно ступая, пошла по грязному полу на голос.

Посреди комнаты, на высоком троне, восседала Снежная Королева. Трон Королевы был повернут спинкой к окну, и вся ее фантастическая фигура сияла в броуновских клубах солнечной пыли. Голубовато-седые, скрученные в прическу «Помпадур» локоны, пудренное длинное лицо в надменных морщинах, сверкающие бриллиантовыми брызгами мочки ушей и грациозная кружевная шея. Складки льдисто-блескучей шали торжественно ниспадали с колен Королевы на требующий циклевки паркет. Из-под серебристой парчовой тоги кокетливо выглядывали носки бисерных монгольских туфель.

— Ко мне пришли... Нет-нет, прошу вас. Простите, дорогая. Да-да. Всего хорошего. Кстати, вы не могли бы пригласить на мой творческий вечер Фридриха Орынбачевича? Спасибо, милочка. Что вы сказали?

Королева слабо помахала Лиде и приторно улыбнулась в трубку.

— Мило... Мило... ЧТО?!

Это было подобно разрыву лимонки. Лида, уже нацелившаяся на покосившийся от старости пуф, покачнулась и — громко рухнула на пол. Из соседней комнаты выглянул давешний пакостник, подло ощерился:

— Превед, медвед.

Не обращая внимания на ползающую по полу Лиду (очки, гадство, слетели, что за жизнь!...), Королева взвыла:

— ГДЕ напечатали? ВАС? ВАШИ стишки? (красноречивая пауза, румянец пробивается сквозь пудру, холеные пальцы когтят дорожную шаль). Не хочу вас расстраивать, дорогая, но... Боже, ведь эта самая ваша «Литеразия» — совсем для стариков. Да-да! Нет, не спорьте! Никогда не предлагала и не предложу, хотя и просили. Да, ПРОСИЛИ, сама Земфира, заведомо поэзии и прозы, да вот, хотя бы в прошлом месяце. Совсем, говорит, некого печатать, одни графоманы, выручайте, дайте подборочку. Кто — графоманы? Это я не о ВАС, дорогая... А я ей так сказала: «Я, Земфирочка, себя почитаю молодой, современной и полной творческих открытий. Я вам не по зубам! Не по Сеньке шапка, знаете ли». Так и сказала, вообразите. Да-да, например, недавно я открыла себя в интернете. Если ткнуть пальцем в компьютер, любой может ознакомиться и даже послушать. О нет, ВАС послушать я сейчас не могу. Дорогая, что там происходит? Уймите этих ваших детей... Да... Нет... Понимаю, что ночью... Стихи приходят ночью? А-а-а, муж. А мои песни рождаются во сне, иной раз просыпаюсь — и пою, пою...

Голос Королевы мягчел, мягчел и на последних словах вновь зажурчал. Лида отряхнулась, уселась на пуф и принялась оглядывать обстановку.

Стандартная панельная «трешка». Это, видимо, «зал». Письменный стол с машинкой «Москва». Мордатый кожаный диван с полочкой и слонами. Шкафчик-горка у двери забит разноразными рюмками и бокалами, книжками, папками, кустарными изделиями из глины, ракушек и корней, древними квартирными квитанциями. На стенах, как в домике Карлсона, висит всякая дрянь: выцветшие фото и дагерротипы, пучки иссохших букетов, мятая подзорная труба, политическая карта мира, плетка-семихвостка, сувенирные лапти, загаженная мухами репродукция «Моны Лизы», гитара с переводными портретами Высоцкого, Галича и Марины Влади. Пахнет корвалолом и плесенью.

Рядом с креслом — передвижной столик: чашки, заварочный чайник, укрытый апоплексической куклой, блюдце с несколькими изюминками.

— Да-да. Профессор Шконский-Матюшко? Мы дружим домами. Будет непременно. Разумеется! Но мне пора, дорогая, меня ждет журналист из весьма солидного издания. С фотографом. Извините, сейчас послушать вас не могу, решительно не могу... Прощайте.

Королева, наконец, повернулась к Лиде.

— Здравствуйте, моя дорогая! Вы представляете? Подумать только, эта странная женщина собиралась читать мне свои стишки по телефону! — Королева пожалала

плечами и страдальчески закатила глаза. — Хотя, видит Бог, иной раз приходится выслушивать и не такое. Богема! Прошу вас, присаживайтесь поближе, вот хотя бы на диван, тут удобнее. Кстати, вы могли бы и не снимать обувь. Это вообще-то очень пошло, я ведь воспитана в московских, знаете ли, традициях. Очень, очень пошло: заставлять гостей разуваться, портить им настроение... Проще пол потом вымыть. Ну, как хотите, конечно. Мой покойный муж, физик-теоретик, Леонид Яковлевич, так и говорил гостям: «Прячьте копыта!» Шутник был, песни такие пел — закачаешься. Красавец, ловелас... Но — секретнейшая работа, сероводородная бомба! Он, бедняга, помнится, говаривал: «Вся жизнь прошла в подвале» — в подполье, значит. Это шутка такая семейная... Да... Как, простите, вас зовут?

— Лида, — сказала Лида, встала, шагнула к дивану и тут же наступила на черт знает откуда выкатившуюся кнопку. — Ай!

Королева по-птичьи вытянула шею:

— Что? Что? Как вы говорите? Липа? Лира? Да вы садитесь, садитесь, Лирочка, голубчик. Славик! Поздоровайся с прэссой. Липочка, в котором издании вы работаете? Хотите чаю? Славик! Подогрей чайник, да сколько же можно кричать?

Славик, вонючка, безмолвствовал.

Лида осторожно присела на скользкий диван, достала из сумки блокнот, ручку, побитый жизнью кассетный диктофон.

— Э-э-э... Я представляю как бы журнал — «Вселенная ньюс». То есть, я хотела сказать, газету... Нет, скорее, журнал. Ну, «Новости Вселенной» то есть.

Аделаида Павловна всплеснула руками:

— Неужели Вселенной? Что вы говорите, голубчик? Славик, ты слышишь?

Из-за стенки глухо донеслось:

— Аффтор, выпей йаду!

Лида смущенно покашляла и включила диктофон.

— Аделаида Павловна, вот, на самом деле, первый, так сказать, вопросик...

Аделаида, не слушая ее, вдруг громко сказала куда-то вбок:

— Чай, моя дорогая, хорошо бы подогреть. ДА, ХОРОШО БЫ. Знаете, сейчас, в эти дикие и запыленные нынешние времена, совершенно пропала культура старого доброго чаепития. Вообразите, такого уютного, домашнего, с самоваром, с семьей, с пирогами. — Голос ее поднимался все выше и выше. Реакции со стороны гаденыша-Славика, однако, не было.

Лида выключила диктофон:

— Давайте, э-э-э... Я чайник поставлю.

Не слушая, Королева выкрикивала, раздувая венозные щеки:

— С песнями и воспоминаниями! С друзьями! С соседями, с родственниками, наконец, сволочь, ты слышишь?! Сволочь! Пар-разит!

Лида от стеснения полезла в сумку.

Из комнаты завопили в ответ:

— Твою мать! Аццкий сотона!

Мимо промчался хмурый Че, на кухне что-то вдребезги грохнуло, потом чуть ли не одновременно рванула вода, хлопнула дверь и взревел унитаз.

Аделаида Павловна расправила складки тоги и, охорашиваясь, потекла молочной рекой в кисельных берегах:

— Ах, Липочка, знаете, нынче времена совсем, совсем другие, поверьте мне... Бездуховные какие-то, черствые, эгоистические времена! Никто нас не слушает. А ведь только мы, старые люди, часто выглядящие эдакими бронтозаврами, только мы, повторяю, можем поведать миру что-то такое, что вы, молодежь, днем с огнем не найдете...

Лида, кивая, включила диктофон. Выходные, конечно, пропали. А они ведь с Аськой даже не подруги, так, в одном офисе сидят. У Жорика заказ большой, два балкона стеклить, можно было бы дома прогенералить спокойно да окна помыть, пирогов с капустой напечь, к своим на кладбище съездить...

— ...Нас ведь, настоящих людей искусства, так мало в этом городе, — разливалась Аделаида. — Все друг друга знают. Я вот что, Лизочка, хочу у вас спросить.

Скажите, а кто вам порекомендовал обратиться ко мне? А? — Аделаида заговорила вдруг совсем сухо, глаза метнули маленькую молнию, губы недоверчиво поджались.

Лида покраснела.

— Кто вам дал мой адрес и телефон? — гаркнула Аделаида.

Лида зачистила, как мелкий жулик:

— Кто дал телефон? А, это, как бы... Э-э-э... Ну, то есть, я хотела сказать, там Охрамеев такой есть, Мэлс Юрьевич. Да я сейчас визитку его найду, — она судорожно опрокинула на диван сумку. — Вот! Директор. Это такой клуб... Кажется, для ветеранов и инвалидов литературного труда.

Славик на пороге заржал, как конь, едва не обварившись кипятком.

Аделаида Павловна белогвардейским движением вскинула голову:

— Что такое?! Какие инвалиды литературного труда?! Что это, дайте-ка мне! — Королева вырвала у Лиды из рук визитку и, щурясь, прочла: «ЭДЕЛЬВЕЙС. Ассоциация ветеранов ВОВ и инвалидов труда. Литературный клуб».

— Я и говорю... Ветераны. Мэлс этот, как его, Юрьевич.

Славик поставил горячий чайник на пол у кресла и, уходя, издевательски пропел:

— В Бабруйск, животное!

В комнате повисло молчание. Старуха, мрачно нахохлившись, изучала визитку.

Лида робко выдавила:

— Может быть, вы, Аделаида Павловна, уже... На самом деле... Э-э-э... В смысле, первый вопросик...

После мхатовской паузы Королева холодно вымолвила:

— Я думаю, моя дорогая, нам надо вначале как следует познакомиться. Расскажите, где вы, собственно, учились? Из какой вы семьи?

— На журфаке. Это, в КазГУ. Э-э-э... Мама и папа — врачи. То есть стоматологии... А что?

— Да так, ничего... — как бы про себя заметила Аделаида.

Потемнело. В городе начиналась буря, застонали, ломая шапки, карагачи, ветер вдул в комнату горсть листовенного конфетти.

Помолчали. Лида, все еще заливаясь румянцем, машинально щелкала кнопками злополучного диктофона.

Наконец, Королева смилостивилась:

— Ладно, Липочка, пока мы с вами ждем фотографа, я вам — так и быть — спою. Дайте мне гитару, будьте добры!

Лида, мельком глянув на часы, послушно сняла со стены инструмент, стряхнув с пышного банта налипший сор и барханчики пыли.

— Пожалуйста, Аделаида Павловна, только насчет фотографа... Это... Там накладка получилась, на самом деле, и он сегодня не...

Королева коротко взмахнула рукой и мечтательно произнесла:

— Песня старенькая. Да что там — без лишних слов можно сказать: алма-атинские барды до сих пор почитают ее своим гимном. Итак...

Она тронула провисшие струны гитары и запела неожиданно приятным сопрано:

Мои ромашки встали стеною,
Мои ромашки цветут надо мною.
В глазах бело и желто,
На сердце мука,
Как жаль, что чувство ушло,
Пришла разлука...

Как жаль, что в мире ужасном
Поют и цветут ромашки напрасно,
Как я хочу всем вам крикнуть —
Нельзя голову поникнуть!

Надо смело и гордо
Рвать ромашек букет!

И забыть навсегда,
Что было — как будто и нет его...

Мои ромашки встали стеною,
Мои ромашки цветут надо мною...

Из комнаты Славика донесся иронический посвист.

— Ну, как вам, Линусик? Нет-нет, скажите — вам действительно понравилось? — устало проворковала Королева, оглаживая облезлый бок гитары.

Лида, которая все это время тоскливо размышляла о своей чертовой неспособности сказать «нет», о том, какой скандал затит ей Жорик, не найдя ужина, о накрывшемся медным тазом походе в супер, с мукой оглянулась и вдруг выпалила:

— Я вообще-то бардов как бы не очень. В смысле, не обижайтесь, ради бога. Я имею в виду... Это... Э-э-э... Может, интервью начнем?

— А я и не бард. Как вы могли такое подумать? — сейчас же отложила гитару Аделаида Павловна. — Это так, грехи молодости. Знаете: костры, горы, молодые геологи. Барды! — фыркнула она. — Это же самая настоящая масонская ложа! А я всегда хотела быть не похожей ни на кого. Свободно и смело открывать свое творчество миру. В полном, между прочим, масштабе и объеме. Когда собиралась замуж, я сказала своему будущему супругу, Ивану Алексеевичу, я вам говорила о нем, физику, так вот, я сказала: «Ваня, я не буду домохозяйкой, я должна творить, ты меня не прикуешь к плите!» Вы наливайте, наливайте чаю, Лирочка. Не стесняйтесь. А мне совсем слабенький. Угощайтесь — сахар, пожалуйста...

Картина 2

Лида в прострации пила пятую чашку пустого чаю. Дико хотелось спать. Королева вещала.

— ...Очень люблю осень. Знаете, такую промозглую, серую, когда холод пронизывает до костей. И лужи. И чтобы обязательно сырость, мокрость всякая с листьев капала, и все такое осклизлое вокруг, как будто небо и земля сходятся — как половинки книги. Я раньше часами могла бродить под этим низким небом, такие мысли интересные в голову приходили. Но лучше бродить с кем-то, с другом, подругой, курить в маленьких двориках, пряча в рукав сигаретки. После спектакля, например...

Голос старухи звучал все глуше, стены комнаты расступились и выросли, потом сделались прозрачными и пропали, сверкнув на прощание всполохами северного сияния. Лида и Королева оказались на пышном летнем лугу посреди безбрежного леса: звенела, неподвижно зависнув в воздухе, какая-то искристая мошкара, пахло тиной и сеном, в высоком небе переливался злой зрачок солнца.

— ...А вы театр любите? Я когда-то наизусть знала репертуар нашего Лермонтовского. Актрисой мечтала стать, поступала даже. Давно еще. Тогда ведь время было другое, люди стремились к духовному, вечному, не то, что сейчас. Между прочим, я в любительском театре имела большой успех. Чего мы только не ставили! А какие вечеринки мы закатывали, когда сюда приезжал Галич! А Театр сатиры?! Я ведь с самим Мироновым на брудершафт пила, представьте себе! А потом — замужество. По любви, конечно, по страсти даже...

Лида обнаружила, что сидит на мшистом теплом камне, в одной руке у нее какая-то кривая доска со струнами, а в другой — костяная чаша с иероглифами по периметру, наполненная алой кровью, сама она одета в пахнущую кошкой пятнистую шкуру.

Аделаида вдруг нахмурилась, и голос ее зазвучал объемно, с громовыми раскатами, так, что трава вокруг пошла длинными волнами, как в «Зеркале» у Тарковского, а у Лиды засвистало в ушах:

— ...Вы страстный человек? Я — очень. У меня цыганская кровь есть, вообще во мне много всего намешано. Папа — татарин, очень образованный, его из Казани сюда выслали в 36-м, а мама — наполовину цыганка, наполовину полька. Коренная

верненка, училась в женской гимназии, там сейчас худграф, сестрой милосердия была в Первую мировую. После революции в машинистки пошла, а в конце двадцатых с самим Троцким дружила, его тоже тогда сюда сослали. Чудом потом в лагерь не загремела, времена были — ужас... Ее отец, мой дед, был из сосланных поляков, Станислав Проклевский, красавец необыкновенный, инженер-строитель, пол-Алматы построил, с самим Альфредом Бремом в экспедиции ходил — здесь, по нашим горам. А вы знаете, что метисы — самые красивые и талантливые дети? Да-да! Внешностью-то меня бог не обидел, а насчет таланта — судить не мне...

Вдруг из леса показался сосредоточенный Жорик под ручку с каким-то типом в кожаных доспехах и золотом шлеме с косыми дырками для глаз. Тип швырнул наземь громадный овальный щит, уселся рядом, усадил Жорика к себе на колени и... Лида в великом смущении принялась подробно рассматривать щит: на нем были выдавлены, выбиты, выжжены и просто от руки нарисованы смешные движущиеся картинки. Вот Дональд Дак стреляет из дробовика в живот Белоснежке — веером разлетаются внутренности, истлевшие гномы весело пляшут вокруг...

— ...И супругу я так сказала: дети у нас будут, непременно. Я вложу в них то, что сделает их не просто настоящими людьми, а людьми искусства. Тонкими натурами, восприимчивыми к прекрасному. Тут нужна была особая мудрость. Кроме того, вы знаете, я сказала себе, что я должна воспитать детей прежде всего самостоятельными, активными личностями. Они должны уметь постоять и за себя, и за своих близких. Я не люблю всяких нежностей, я — строгая мать...

...Царь Агамемнон в туфлях от Гуччи выкалывает флешкой глаза царю Эдипу, жирная Даная, пересмеиваясь с волхвами в «мерседесах», душит младенцев под Вифлеемской звездой, Иосиф и Платон весело пилят двуручной пилой ньютонову яблоню в Эдемском саду, и вокруг всего этого растет, как зубы дракона, громадный деревянный забор, исполосованный срамными надписями...

Лида дернула затекшей шеей, судорожно зевнула.

— ...И посмотрите, что получилось! Замечательные, самостоятельные, бодрые и жизнерадостные люди! — торжествующе завершила Аделаида Павловна. — Асенька, здравствуй, милый!

Лида с надеждой оглянулась. На пороге стояла Аська — замордованная, с темными подглазьями, взъерошенная, как драчливый воробей. Хорошенькая, как всегда. Бросив на пол пакеты, пошла к дивану, бормоча:

— Как я устала! Пропади все пропадом. Проклятые деньги. Суки, задрали меня. Как я всех ненавижу. Чтоб вы сдохли!

— Ася, у нас прэсса, — с нажимом сказала Аделаида.

Аська уставилась на Лиду.

— А? А-а-а... Здравствуйте.

Лида кивнула и сделала Аське большие глаза.

— Это Липочка из «Вселенной ньюс». Вообрази, мой милый, ей дал телефон дядя Мэлс. Помнишь его? Такой несчастный одинокий старик... Абсолютная бездарность.

— Ну, — Аська пожала плечами. — Так вы уже все записали, интервью то есть?

— Лизонька, познакомьтесь, это Асия. Моя дочь. Асенька у нас менеджер. Искусство променяла на пенендзы... Это у нас такая шутка семейная, Лирочка.

Ася сморщилась, как от зубной боли:

— Мама, ты лекарство пила?

— О боже, за разговорами я совсем об этом позабыла. Линочка, дружок, там, в кухне, на шкафчике...

— Мама, я сама принесу, чего ты человека напрягаешь. Лида, можно вас на минутку?

Лида послушно пошла за ней.

— Давно ты тут? — Ася закурила. Застучала нервно пальчиками по подоконнику. Рывком дернула створку окна. — Ту банку дай. Смотри, какой дождина собирается... У-у-у, туча. Будешь? У меня ментоловые.

— Аська, а тебе разве можно? — Лида боязливо покосилась на ее живот.

— Дура ты. У меня такие напруги, такие геморы... Атас! Молчу! Если я курить не стану, ваще потеряюсь. Ты, подруга, скажи лучше — Женьку моего видала?

— Да, то есть нет. Это, Аська, не знаю, на самом деле, в офисе вроде не показывался.

— Блин! Погоди. Бабы не болтали? Ну, про меня, про него... Ержанчик, он же был давно в меня влюблен, он что? Молчит?

Лида, пряча глаза, кивнула. Аська хмыкнула:

— Ладно. Ну и как тебе Аделаида? Знатно треплется, да?

— Интересно, конечно. То есть я ведь это... не специалист. Но вроде записалось что-то.

— Когда расшифруешь?

— На выходных попробую. Слушай, Аська, мне, на самом деле, домой уже надо. Э-э-э, то есть ты понимаешь, я, конечно, рада и все такое. Но...

— Девочки! Куда же вы запропалились? — зазвучала Аделаида из комнаты.

Аська решительно затолкала долбан в банку-пепельницу.

— Блин... Ладно, давай в темпе заканчивай, прощайся там, я жрать хочу, умираю. — Вдруг она далеко высунулась из окна и заорала: — Сука, ты куда мусор бросаешь?! Я тебя урою, падла, а ну подбери! Тебе говорю, ТВАРЬ!!

Лида переминалась с ноги на ногу.

Ася обернулась:

— Гос-споди, да иди уже попысай. По коридору налево, — она плюхнулась на табуретку, потянулась к плите. — Черт, а чайник где? Славян!

В кухню развинченной походкой вошел брат.

— Че сразу Славян? Я че?

— Капче! Куда чайник дел, зараза?

— А че сразу зараза? У матери он, че ты... — он повернулся, лениво почесал светлый лик Че на лопатке.

— Совсем обнаглел, сволочь, хоть бы посуду помыл.

— Забыл, че ты...

— Пожрать не забыл! Пашешь, пашешь на них. На, дай матери таблетки. И чайник тащи!

В туалете было страшненько. Стараясь не дышать, Лида подстелила на край унитаза обрывок пипифакса в опилках и осторожно присела. Кафель на стенах был покрыт многолетними трещинами. При долгом разглядывании из них складывались и произрастали собачьи морды, дьявольские профили, вытарашенные глаза, схематичные обозначения Солнца, Луны, всяких других зодиаков и несколько вполне аутентичных петроглифов.

Вот если бы она, Лида, умела рисовать... Или фотографировать. В общем, фиксировать как-то эту жизнь-нежизнь, странные эти штуки, видимые всем и почти никому не видимые. В детстве Лида часто страдала ангинами и приступами холецистита, поэтому много читала, а также часами разглядывала заоконный пейзаж — лики из веток и листьев, иногда причудливо изменяемые ветром, дождем и солнцем. Повзрослев, часто задумывалась — не из этого ли мусора рождается искусство, чтобы потом, пройдя через все положенные исторические стадии, снова вернуться к абстракции?..

— Эй, философ! Провалилась, что ли? — грохнула кулаком в дверь Аська.

Лида тщательно вымыла руки и потащила обратно в зал.

Снежная Королева пудрила нос. Аська, лежа на диване, деловито эсэмэсилась. Завидев Лиду, Аделаида сладко улыбнулась:

— Ну что, девочки, уже подружились? Асенька, накрывай ужин, а потом мы с Линочкой продолжим.

Лида вздрогнула:

— Ой, знаете, э-э-э, Аделаида Павловна, мне уже, в смысле, пора!

— Как? Но мы же еще не начинали? — Королева возмущенно поджала губы.

— У них сегодня номер выпускается, мама, — подала голос Ася, не отвлекаясь от сотки. — Правда, Лида?

— А фотограф?! — вдруг выкрикнула Аделаида, наливаясь багровым румянцем. — Где же фотограф? Фотографа разве дожидаться не будем?

— Я это... То есть хотела сказать, фотограф у нас... Э-э-э... Как бы заболел.

Аська бросила сотку:

— Мама, я твою фотку потом Лиде завезу. Не парься. Наоборот — лучше, выберем самую классную.

Королева обвела комнату гневным взглядом.

— Мне кажется, это непрофессионализм, мои дорогие, — отчеканила она. — Да-да. Не ожидала от вас, Людмила, или как там вас, вы не представились. Ася, Слава! Я не понимаю, что происходит? — ее голос неумолимо срывался на визг. — Кого вы зовете в наш дом?! Разве так берутся интервью? Вы что, меня — за дуру принимаете? Думаете, я, старая, больная, не знаю, как интервью берутся? Да я этих интервью взяла... То есть дала... Десятки! Сотни! В семьдесят девятом, помнишь, Ася?... Нет, ты у бабушки тогда жила. Ко мне из «Огней Алатау» приходила целая бригада! Потом меня на улицах узнавали — такое было фото — на всю страницу!

— Мама! Прекрати истерику! — сквозь зубы процедила Ася. — От человека стыдно. Все, Лидка, тебе пора уже, давай...

Лидка потянула к себе сумку. И тут в комнату ворвались веселые трели дверного звонка.

— Кого несет... Славян, открой! Нет, его, сволочь такую, не дозовешься. Лидка, я сейчас.

Лидка поглядела на мобильник. Кошмар — полвосьмого!

Королева, кутаясь в шаль, хмуро глядела в окно, обрызганное дождем.

Из коридора доносились неприятные голоса.

— ...А я говорю — ответите! Это что такое, вы понимаете или нет?

— ...Да ничего мы не ответим! Как вы со мной разговариваете?

— ...Взрослые же люди, я не понимаю, чем вы думаете?

— ...Что случилось-то, скажите, что вы кричите с порога, как больная?

— ...Я — больная? Я — больная?! Вы мне ответите за оскорбление, понимаете! Я, понимаете, такого терпеть не буду! Сейчас, говорю, в полицию иду! Где телефон? Я в «ноль два» звоню сейчас!

В комнату вбежала, тряся мокрой головой, крепко сбита свирепая тетка. Она притормозила у кресла Королевы — цветастый китайский сарафан взметнулся, как знамя, — и прорычала ей в лицо:

— Амбула где? Где амбула, понимаете! Протокол составлять будем у главврача — с привлечением!

Аделаида, подернув плечами, скинула шаль и сдержанно сказала:

— Здравствуйте, Клара Дюйсембаевна. Не изволите ли чаю?..

Тетка не нашлась, что ответить, подскочила на месте, крутанувшись в воздухе, как злобный колобок, и заорала почему-то уже на Лиду:

— Наркоша поганая! Не стыдно тебе?! Тьфу!

После чего обрушилась на диван и принялась рыться в своем бауле, отдуваясь и шипя всякие обидные для хозяев слова.

Ася кинулась к трону, вцепилась в подлокотники:

— Мама! Мама! Ты ампулу не выбрасывала? Скажи, может, она в доме где-то? Завалилась?

Королева высокомерно отвернулась к окну.

— О Гос-споди, Славка! Славян! — вскричала Ася.

Че картинно встал в дверном проеме, оттянул наушник:

— Ну?

— Маме вчера промедол кололи? Кололи?

— Ну. Соседка.

— Амбула где?

— Откуда мне знать? Ну, ты еще...

— Отвечай, придурок! Ты ее выкинул? Выкинул? Я ведь просила тебя! Умоляла!

Участковая врачиха радостно вставила:

— Полная безответственность. Вы отвечать будете по закону, я говорю! Я на вас докладную напишу, понимаете! Начальнику РОВД!

Ася вскинулась:

— Но вы же видите — это случайность. Брат недосмотрел!

Участковая ухмыльнулась:

— Ничего не знаю. Вы утром принесли упаковку с пустыми ампулами, одной не хватает. А я теперь не имею права выписать вам ничего!

— Это как?! То есть как? Мама же не может без обезболивающего!

— А что я могу? Это же наркотик, уголовная ответственность, понимаете. Меня же с работы снимут!

— Из-за одной-то ампулы? Да вы что! Мы что, ее нарикам, что ли, сбагрили? Вот наварились-то! Ха!

— А вы не разговаривайте так со мной. Понятно? Знаете, сколько у меня онко-больных? И все ампулы носят, никто не теряет. Почему? Потому что люди ответственные. Не знаю, ничего не могу сделать. Идите к главврачу, к заведующей. Разбейтесь, я говорю. Я с себя ответственность снимаю.

Аська металась по комнате, заламывая руки, пнула гитару, смахнула слоников с полки, опрокинула пуф. Лида сочувственно сопела, бочком пробираясь к двери. Славян безучастно качался с пятки на носок, вцепившись в наушники.

Врачиха с удовлетворением огляделась, сунула кипу бумажек в сумку и поднялась:

— Все, я говорю. Вот ваш рецепт. Понимаете, к администрации идите.

— Ну что же это такое... Лидка! Славян! Ну, скажите же ей! Мне же завтра на работу, я не могу по... по... поликлиникам всяким...

Аделаида кашлянула и любезно произнесла:

— Кстати, Клара Дюйсембаевна, дорогая, раз уж вы зашли, не посмотрите ли вы меня? У меня, вообразите, нога что-то начала опухать...

Та смерила Королеву изумленным взглядом:

— А вы, больная, на прием приходите. Вы ведь ходите пока? Вот и придете, ничего с вами не случится, я говорю. Образованные люди еще называются... Суд разберется!

Печата шаг, участковая удалилась.

Славян хохотнул и со словами «Вот коза драная!» скрылся в своей норе.

— Ах ты, сволочь! Сволочь! — Ася бросилась за ним.

Лида прокричала сквозь шум:

— Я пойду! Аделаида Павловна, до свиданья!

— Дура тупая! Пусти! А-а-а! Мама!

— Скот, скот! Поганая морда, я же тебя, суку, кормлю, падла!

Королева, прижимая руки к груди, прорыдала:

— Ася! Асенька! Не трогай братика! Это я не уследила! Ася! О господи! Мне плохо!

— Да? Я теперь виноват, да? А ты сама?! На работу упрешься, а я тут сиди, упакивайся! Ты сама попробуй этот бред с утра до ночи слушать! На сиделке экономишь, жопа?!

— Сиделка?! Сиделку?! А на какие шиши? Ты, что ли, деньги в дом носишь, псих обдолбанный? Охранничек! Жрешь только целыми днями, а по ночам на дежурстве дрыхнешь! погоди, я с тобой разберусь. Ты у меня в армию загремишь, зараза! Я твой комп завтра же на помойку выкину! Чуть что — «Ася, отмажь! Ася, помоги!», а сам за долбаной ампулой присмотреть не можешь?! Она же тебе мать, поганка ты, мать!

Аделаида, закатив глаза, начала медленно заваливаться влево.

Лида испугалась:

— Аделаида Павловна! Ася! Ей, по-моему, плохо?!

— А когда ей хорошо?! — орал за стенкой Славик. — А ты что, Аська, — святая? Носишься с ней, как с писаной торбой! Надоели! Достали меня все! Зачем ты все это затеяла? Концерты, диски, бабу эту притащила?

— Заткнись, я тебя убью!

Славян ворвался в зал, волоча за собой побуревшую, вопящую Аську:

— Мне плевать! Знаешь, мамочка, что твоя любимая дочка устроила? Ты тут про концерты и диски треплешься, интервью раздаешь? А это знаешь кто? Это ее подружка по работе — Лидка эта! Никакая она не журналистка, и газеты такой нету, я ее должен был сделать в фотошопе — один экземпляр! И диск в одном экземпляре записать! Чтоб ты всяким старым хренам хвасталась!

Аделаида прекратила заваливаться, широко раскрыла глаза и, четко артикулируя, произнесла:

— Дочь! Отвечай мне. Сейчас же. Это — правда?

— Сволочь ты, Славка! — Ася ладонью утерла замурзанное лицо. — Ну, погоди, сволочь... Мама, я ведь хотела как лучше, мама! Прости!

— Бог простит, — уронила Аделаида. — Я знаю, что вы меня ненавидите. Ничего! Я скоро умру. И вы все будете плакать.

Сообщив эту информацию, старуха со стоном запрокинула голову — и великолепная прическа «Помпадур» с тихим шорохом упала на пол.

— Я ведь стараюсь, мама, я ведь стараюсь... Я знаю, как ты всегда хотела... Мама, я ведь старалась!

Лысая Королева билась в кресле, распылив рот:

— Не надо! Мне подачек — не надо! Ничего. Вы еще увидите! Я ненавижу слабаков и предателей! Дочь! Ты предала меня! Ты предала мое самое святое! Искусство! Мое искусство! О-о-о!

— Лидка, помоги! Все будет хорошо, мамочка! Все будет хорошо!

— Аделаида Павловна... Давайте... Это... Ася, я сейчас...

— Запомни, девочка! Никаких детей! Это наши враги! Ждете, да?! Вы все моей смерти ждете? Не дождетесь! Вот вам! И люди обо мне еще узнают! Я не буду гнить в земле как безвестный кусок мяса! Вы слышите? Не буду! О-о-о!

Старуха с неожиданной силой вывернулась из рук дочери, попыталась встать...

— Лидка! Держи!

Но было уже поздно. Трон опасно накренился, и Снежная Королева, хрипя, осела на пыльный паркет.

Картина 3

— ...Он мне говорит, я не могу ее бросить... Ты понимаешь?! Не может! Трахать-ся со мной может, а жену, видите ли, бросить не может. Ну не козел ли? Нет, я, дура, сама виновата. Лидка, вот скажи мне, ну как такое может быть, а? Мне ведь уже тридцать три, ну как я могла купиться на этого... Херувимчика. А? Как он меня просил, веришь? На коленях умолял — роди мне ребеночка...

Ася сидела на подоконнике, обхватив колени, курила в форточку. Лида приподнялась с дивана:

— Аська, это, мне домой пора...

— Нет, ты скажи, как?! Ну, вот ты сама — замужняя баба, ну что им, мужикам, еще надо? Постель — пожалуйста, со всей вашей камасутрой, со всеми наворотами. Интересы общие — по самые помидоры, работаем через стенку! Служебный, блин, роман. В общем, худо мне, подруга... Посиди, не уходи. Ты же человек, Лидка! Давай еще чаю. А хочешь — у меня водка есть! Слушай, ты прости меня, что я тебя втравила...

— Да что ты... Э-э-э... Ничего не надо, Ась... Это рак, да?

— Четвертая стадия, ремиссия сейчас. Химию уже не переносит...

— У меня у мужа тетка от рака умерла, — ляпнула Лидка, не умея остановиться. — Веришь, пять лет умирала, сгнила вся. Весной ездили в Ташкент хоронить... Ой, прости.

— Да ладно. Я ведь, Лидка, хотела как лучше. Мама ведь всю жизнь... С гитарой этой таскалась. Знаешь, Аделаида красивая была ужасно в молодости. Хочешь посмотреть? Сейчас фотки найду!

Аська прыгнула с подоконника, побежала в другую комнату. Тренькнула Лидина сотка.

— Алло? Жорик, прости, дорогой! Тут меня, это, на самом деле, на работе напрягли. Э-э-э... Да, предупредить не успела... Там пельмени в морозилке. Ага-а... Постараюсь.

Аська притащила замшелый бархатный альбом с латунными уголками, забралась на диван.

— Вот, гляди. Красотка, да? Фигура какая — атас! А личная жизнь вся в заднице. Аделаида тебе про мужа плела? Про физика? Да не было у нас со Славкой отца. Мы вообще сводные. Я — Нуркатовна, а брат — Иванович. Смешно, да? Я, когда маленькая была, все про папу спрашивала. А она отвечала: погиб твой папа. Альпинистом был, с горы сорвался. Экзотика, блин.

Аделаида действительно в молодости была ого-го. Вот она (химзавивка барашком, шарфик в белый горошек, сапоги-чулки, треугольный воротник кожаного пальто, пластиковая сумка «АВВА») в обнимку с эффектным брюнетом (бакенбарды, очки а-ля Джон Леннон, брюки-клеш, трубка) — на фоне катка «Медео» и трех задумчивых березок. Вот она (длинный белый хайр, резной мундштучок с сигареткой, свитер моряцкой вязки, на шее — макраме, на веках — длинные стрелы Амура) полулежит в кресле, спустив изящные ножки с подлокотника, а мужик (длинный белый хайр, бритый подбородок, беломорина в углу рта, ковбойка и рваные джинсы) сидит потурецки рядом, зажав в руке чехословацкий стакан из серии «Первые автомобили». Вот она (расшитая золотой нитью бирюзовая индийская блузка, высокий начес, жемчужные клипсы) — в ресторане, рядом — двое красномордых папиков, полковник и подполковник, жрут волованчики с черной икрой. Вот она (вечернее платье в пайетках, горжетка, небрежные рыжие локоны, жирно блестящие губы) — перед входом в Театр русской драмы им. Лермонтова, вокруг толпятся дурно одетые дети и пенсионеры.

Лидка с интересом рассматривала фотки — все равно торопиться было уже некуда. «Театральный цикл». Аделаида — комиссар: гимнастерка, буденовка, деревянное ружье. Аделаида — королева Медичи: черная хламида, бутафорская корона на знакомом парике. Аделаида — Офелия в разрисованном гуашью марлевом балахоне, рядом тусуется какой-то сморчок в трениках и бумажном жабо. Аделаида — советский ученый в круглых проволочных очках и кокетливом белом халате. Аделаида — Сапфо в серебристой парчовой тоге возлежит на козетке, в одной руке — детская скрипка, в другой — пиала...

— ...Она с актерами путалась, с каким-то фокусником жила, потом с художником. А мы с бабушкой ее почти и не видели. Помню только духи — «Пуазон» назывались. Вкусные. И как я плакала с температурой. Мама, не уходи, мамочка... А она — чмок-чмок, и нет ее. А это мой отец, настоящий. Женатик, долго ей нервы мотал.

С фотки «шесть на девять» серьезно глядел представительный восточный мужчина, смесь арабского шейха и цыганского барона.

— ...Я к нему ездила в Актау. Он там живет. Здоровенький, гад, до сих пор. Алиментов не платил ни копейки — она гордая была, отказалась. Дура. Ты представляешь, я к нему приехала, девчонка совсем, после школы: папа, говорю, папа... Он меня, правда, встретил, дома стол накрыл, с братьями-сестрами познакомил. С женой — на молодой женился, как овдовел. Знакомьтесь, говорит, это мой грех молодости. Красивый, говорит, грех получился. А глаза прямо масляные...

— Аська, я сигарету, это, возьму?

— Да бери, конечно... В окно кури... А вот это — подружки ее, Аделаида — в центре, как всегда. Прямо мисс Вселенная! В купальнике и на каблуках, обалдеть, да? На Иссык-Куле. Вон верблюд, смотри, а за ним — я. С бабушкой. Это восемьдесят третий, что ли?.. Она тогда бардами увлеклась, на концерты ходила, сама пеласочиняла. Эх... Давай, Лидка, тяпнем, а? — Аська полезла в горку, достала початую бутылку «Финляндии», плеснула себе и Лиде в чайные чашки.

— Давай, Лидка. За нас! Ап!

Лидка зажевала водку изюмом.

— Знаешь, Ась, я ведь тоже в молодости... То есть, это, в универе... Стихи писала. Как бы.

— Ты? — удивилась Ася. — Надо же... А мать моя была — театралка, модница, на

поэтические тусовки ходила. Звездой была, блин. В своей компании. А я в детстве даже поклонялась ей. Мечтала о том, что стану такой же классной, как Аделаида меня заметит и полюбит, позволит с ней жить, смотреть на нее, любоваться...

— ... Даже на конкурс посылала, то есть... В Москву...

— Да ну? — Аська налила по второй. — На тебя, Лидка, ты уж извини, и не подумаешь.

— ...А потом решила — зачем это? — Лида глупо улыбнулась, выпила еще. — Жизнь, это... идет. Родители у меня, на самом деле, старенькие совсем были. Интеллигенты, то есть — в первом поколении... А когда... это... одна осталась — на работу устроилась, в газету. Денег совсем не было. Кропала статейки за копейки... Блин. Потом с Жоркой сошлась...

— ...А как она Славку родила, мы и стали вместе жить. Славку я полюбила просто дико. Только что грудью не кормила. Мама все на своих вечеринках пропадала, а мы с ним вдвоем сидели. Он в детстве болел сильно. А бабушка к нам ходила суп варить...

— ...Он-то сам, Жорка, с Ташкента. Квартиры своей нету. Ну вот... У меня и живем то есть. Хороший он, простой только. Ну, я и пошла в торговые агенты. Неудобно, он горбится — а я стишки типа пишу...

— ...А я маму все ждала, подолгу спать не ложилась. Думала, вот придет, похвалит меня — за Славку. Что я так ухаживаю за ним. И вообще... Ни разу не дождалась ее, засыпала. А Славка... Он неплохой парень, только без башки. Хоть не наркоман. А в детстве был чудным-чудным. Рано говорить начал. Читал запоем...

— ...Косноязычная я. Это типа болезни... Дислексия, что ли. В общем, как-то — того... Не получилось. Короче, плюнула я. А может, и правильно... Зато зарабатываю. Баксы...

— Пей, Лидка... А вообще, погоди. Я тебя спросить хочу. Ты песню ее слышала? Ужас, да? «Ромашки спрятались, поникли лютики», блин... Я вот думаю, Лидка, как это получается? Всю жизнь искусству посвятить, даже о детях не думать. Как это можно так? Ну почему ей бог таланту не отсыпал, а? Старалась, старалась, мучилась этими... муками творчества. Ну, хоть бы под конец-то что-то путное у нее вышло! Вот я и подумала... Ты Грина читала?

— Г-грин?... Грин по-английски — зеленый! — авторитетно заявила Лида, икнула и прилегла на диван. Изумрудные лианы тотчас же обвили ноги; перед носом пролетела, жужжа, как пчела, деловитая колибри. На троне Снежной Королевы сидела девочка лет пяти, в красной шапочке, играла мобильным телефоном, сверкающим кристаллами Сваровски.

— ...Вот я и придумала. Глупо, да? Лидка? Лидка! Ну, ты и нажралась, мать. С трех рюмок. Спит. Дурочка. Ладно, спи, спи...

Вместо леса разлилась вокруг бирюзовая морская гладь. Трон с девочкой куда-то уплыл, вода чуть слышно плескалась о Лидин камень, звериная шкура промокла и отяжелела. Лида подняла глаза: невдалеке качался на волнах здоровенный темный парусник. Лида прищурилась: ей показалось, что с его борта кто-то внимательно следит за ней в подзорную трубу...

Дождь нудно брэнчал по стеклам. Славка ушел на дежурство. Ася походила по сумеречному залу, потрогала вещи, поправила фото на стене (Аделаида-первоклассница с отретушированной улыбкой и советским букварем). Села на диван. Набрала номер:

— Женя? Женька, ты в Москве? Ну и как, весело? Нет, не иронизирую. Да, плохо. Потом расскажу... Плохо и мне, и маме, всем. Была сегодня в консультации. Уже три месяца. Да. Брось, я же просто так тебе говорю. Да просто так! Ты чего? Я же ничего не прошу! Я так, просто! Да что ты заладил! Я тоже хочу без сложностей! Да! Да пошел ты!!

Жахнула соткой об пол. Из спальни послышался страстный шепот:

— Ася, Асенька, дай таблетку...

Картина 4

Ася лежала на больничной койке, отвернувшись к скверно покрашенной стене, и увлеченно нажимала на клавиши мобильного. Шарик, послушно прыгавший через горы и бездны, вдруг вывернулся, сканнул на невесть откуда взявшуюся рогатку и красочно лопнул, размазав внутренности по дисплею. Ася раздраженно хмыкнула. Ладно, вернемся на пятый уровень, зар-раза...

В спертом, провонявшем хлоркой и медикаментами воздухе палаты струился неспешный разговор. Беседовали соседки с разной величины животами: толстая Танюха, косоглазая Индира, худая как жердь, и совсем молоденькая, уже на сносях, гулко храпящая по ночам Гуля. Четвертая, рыжая Альфия, икая, жевала куски толстой, как кафель, шоколадной плитки.

— Ик! Танька, минералку кинь!

Через палату со свистом пролетел пластиковый снаряд.

Толстуха в малиновом халате снова улеглась, облокотилась о подушку и лениво продолжала:

— А вот еще от изжоги хорошо помогает... забыла... декамерон, что ли, называется. Мужу брала. Ой, слушайте, у меня у мужа брюхо такое — и рыгает, и икает, что твой тюлень. А тут мама забеспокоилась, свекровушка моя: «Чем-то ты, Танюха, не тем его кормишь!» Нет, вы подумайте! Жрет как свинья да пиво пьет с друзьями, вот и растет брюхо-то, понятно же, бля, говорю.

— Ох!

— Утром мне в больницу, а он сожрал шесть яиц. Я говорю, как ты, блин, не лопнешь, а он...

— Ох... Не могу больше. Женщины, кто шоколадку хочет?

— Альфиюшка, завязывай, говорю, с шоколадом, нельзя тебе. Врачиха твоя вчера вон как ругалась.

— Скорее бы домой, женщины... Мне ведь еще ремонт доделывать, я ведь у мужа своего, это... Квартиру отсудила, да-а... — вступила Индира.

— Ой-бай! — Гулька тяжело перевалилась на другой бок и уставилась в рот новой ораторше.

— Ага! — радостно продолжала Индира. — В январе у нас свадьба. А квартирку-то я покамест прибрала, да-а. Ты понимаешь, у меня у мужа сестра, золовка, сука еще та. Ну и вот, ты прикинь...

Ася встала, поглаживая пятимесячное брюшко, пошла к окну. Палата была на первом этаже, и, когда часы посещения заканчивались, можно было переговариваться со своими и даже втаскивать передачи сквозь решетку. Подоконник, несмотря на ежеутренние скандалы с медсестрами, был завален фруктами, плюшками, коробками с чаем, сахаром и конфетами, заставлен молочными и кефирными пакетами, йогуртами и особенно ненавистными Асе шеренгами разнокалиберных банок, облепленных изнутри белым и рыжим жиром, в хлопьях которого плавали котлеты, куски мяса, пельмени, ошметки борща, куриные ноги.

— Эй, как тебя, Асия, окно-то закрой, холодно же! — Танюха потянулась за одеялом.

Ася, будто не слыша, жадно вдыхала октябрьский острый воздух с еле уловимым яблочным ароматом.

— Че, слышишь плохо? — Индира встала, качая замотанной люрексом головой, подошла к окну, отпихнула Асю и захлопнула створку.

Ася вцепилась побелевшими пальцами в подоконник, раскрыла было рот и вдруг, ненавидя себя, проскулила:

— Да я дышать не могу, вы понимаете?

Индира закатила косые глазки к потолку, выбрала из пакета сочный апорт.

— Ну так и че она? — с интересом спросила Гулька.

— Золовка-то? — хрустя и чавкая, продолжала Индира. — Да пошла она... Я ей сразу сказала: закрой пасть, ясно.

Танюха, прогибая панцирную сетку чуть не до пола, села, потянулась, сказала безразлично:

— Ну че ты реवेशь-то, Асия, или как там тебя. Задолбала уже. Холодно же, ты ж здесь не одна.

Асе хотелось заорать, заорать на этих идиотов, затопать ногами, убежать к черту из больницы, все-все это прекратить немедленно, порвать, завывать, устроить истерику, валяться на полу, грызть железные ножки кровати... Ребенок властно шевельнулся, потом еще. Ася проглотила горький комок, с тоской поглядела на окно и пошла к своей постели.

— А ты не плачь, всем тяжело. Не плачь. Ой-бай, что за женщина такая, плачет и плачет. Как тебя муж терпит, не знаю, прямо... — добрым голосом увещевала ее Гулька. — Ребенок у тебя родится, тоже плакать будет, подумай своей головой...

Танюха достала из-под кровати йогурт, мгновенно слопала его и принялась облизывать крышку, потом бережно спрятала ее под подушку.

Индира, слегка посмеиваясь, заметила:

— А где он, муж-то? Ни разу не было что-то... Эй, Асия? Или как там тебя? Нету мужа у тебя, что ли?

— Отвяньте, — пробормотала Ася и закрыла голову подушкой.

В коридоре прокричали обед.

Гулька поднялась, вышла из палаты. Танюха ухмыльнулась:

— Во жрет. Вчера жрала буханку хлеба. Еешный муж принес, она взяла и кусает прямо. Я говорю: ты че, ты ж сдохнешь. А она говорит: хочу и все. Так че ты, Индирка, развелася или не развелася? Я не поняла.

Ася взяла сотку и, ни на кого не глядя, вышла в коридор.

— Женя! Женечка! Чего трубку не берешь? Да нет, я так спросила, не злись... Ты можешь говорить? А? Не слышу! Да, так хорошо. Слушай, я так соскучилась. Да нет, ничего не надо. Тут кормят... Да, нормально. Слушай, может, приедешь ко мне, а? Второй роддом, я тут на сохранении, пятая палата... Я во двор выйду, встречу тебя. Приедешь? Приезжай, Женчик! Завтра? А-а-а... Женечка, у нас девочка будет. Да нет, я не плачу... Это гормоны... Целую. Пока.

Из палаты бесперебойно поступали реплики соседок.

— Вот квартирка-то и моя теперь. А золовке — ха, тьфу! Хрен с маслом, да-а...

— А у нас золовка даже не вякает. Если вякнет, муж ей всю башку об стенку на фиг разобьет.

— У вас, у чечен, — строго. Я вашу нацию очень уважаю. Прикинь, тут недавно лежала одна. Уйгурка, что ли, или карачаровка. Так у них свекор с невесткой вообще не разговаривают.

— Как это?

— А так. Пришел к ней свекор, жрачку принес, а сам даже не смотрит на нее. И она — взяла, никаких спасибо, поклонилась — и в палату. Говорит, женщины, выйдите, скажите ему, что, мол, у меня все хорошо, пусть шприцов-пятерок принесет. Ой, телефон! Да! Алло! Мама! Ну! Нормально! Дня через три! «Нескафе»? Собрала, крышки, собрала. Как выйду, сразу пошлю. Шестая кружка уже будет. А ты че? Кастрюлю выиграла? Ух ты, блин... Мамуля, ты это, от приправы тоже верх отрежь, пока Павлик не выкинул. И туда положь, где все лежит... Ладно, мама, обед у нас. Котлеты съела, ага... Не, не надо. Йогурта принеси, «Данона». Я крышки собираю. Ага. Пока.

Мимо прошла, что-то дожевывая, Гулька.

— Женщины, там греча. И суп гороховый. Че не идете?

— Гулька, жрешь все, да? А че с пельменями делать будешь? Ты в холодильник их покамест зафигачь. А то стухнут.

— Индирка! Альфиюшка! Давайте кушать. Обед же.

По коридору разливался аромат гречневой каши с луком. Борясь с тошнотой, Ася вернулась в палату. Опять двадцать пять, когда ж они нажрут уже!

Посреди комнаты стояли в ряд три тумбочки. Соседки сновали вокруг, вскрывая банки и пакеты. Ася улеглась, неприязненно отвернулась. Где там наш красный шарик?

Снаружи постучали. Танька вскинулась, распахнула окно:

— Павлуся, приветик! Павлусенька, дай поцелую, дай!

Угрюмый мужик с тремя небритыми подбородками заглянул в палату, тяжелым взглядом прошелся по ее обитательницам, рыкнул, пуская сивушные пары:

— Че ты, Танюха, вечно ты... Убери морду от решетки, бляха муха, ты ж застудишься. Выходи во двор давай. Мамаша борщу прислала. Горячий, бляха муха. Давай задницу подымай.

— Я щас, ты иди... — счастливо чирикнула Танюха, схватилась за банки, пакеты, сумки, накинула толстый махровый халат.

Хлопнула дверь. Индирка, позевывая, сказала:

— Пьяный какой, да-а! Нет, мой все ж таки... Мой-то очень правильный мужик. А как ухаживал! Чуть что — сразу в глаз. Что ты!

— Ты говоришь, когда свадьба-то у тебя? — любопытничала Гулька, чавкая и слизывая с пальцев жир.

— В январе, двадцатого гулять будем, не родить бы до срока... Я ведь, блин, пять лет не беременела. У каких только профессоров не была, кто только мне в это самое не заглядывал... Эх, доносить бы. Ух, какая я злая на этих сволочей, которые за абортами пришли! Глаза б мои не видали сук! Тут паришься, трясешься, а они... И в столовку ходить с ними не могу, жрать рядом противно.

Рыжая Альфиюшка закивала, торопливо доглатывая кус баранины:

— И не говори... У меня у самой трое. Ох... Девчонки, блин. Муж злится. Сейчас вроде точно мальчик. Я знаешь, как делала? Мне подружка дала таблицу, по ней можно так залететь, чтобы видно было — мальчик или нет.

— И че, сразу получилось? — с недоверием спросила Индира, не забывая наворачивать холодный плов.

— Не, не сразу. Пару раз скреблась... Зато теперь — верняк! Муж прямо не надышится, блин. Колечко подарил. Во, гляди — с брюликами!

Ася лежала и думала о гречке с луком. Может, она не такая противная? Наконец решилась и встала. Но столовка была уже закрыта, и даже гречневый дух успел выветриться из коридора. Внезапный острый голод ударил прямо под ложечку. И что теперь делать? Ничего нет... Только кефира полпачки вчерашнего... И денег ни копей.

Ася достала телефон:

— Женя! Женечка, слушай, мне надо... Что? Мешаю? На совещании? А зачем брал трубку тогда?! Слушай, раз в жизни тебя попросить хотела... Да пошел ты! Тогда вообще не приезжай, понял?

Задохнувшись, она кинулась к намертво закрученному коридорному окну, прижалась щекой к своему стеклянному двойнику...

— Женщина! Эй, Асия! Или как там тебя? Опять ревешь? Врача, что ль, позвать? — вернувшаяся с улицы Танюха пихала Асю в спину.

— Боже, да отстаньте вы все! Отвяжитесь от меня! А-а-а!.. — Ася уже не могла сдерживаться и орала в голос.

Из других палат высовывались одутловатые женщины в платках и без, цокали языками, качали головами, приговаривая про себя на разных языках обрывки молитв и бытовых суесловий. Танюха обиженно засопела:

— Ну, ты и сука! Достала нас уже. Да что ж это такое... Мы тут все не на курорте! Заткнись, слышишь?! На вот, пирога поешь и заткнись! — она вынула румяный пирог и сунула Аське.

Вся в слезах и соплях, Ася жадно вцепилась в пирог. С капустой, боже...

— О! Пошло дело... Ладно, в палату идем. Борща тебе налью.

В палате жевали.

Танька, сгружая банки и свертки, рассказывала.

— Ой, женщины! А там, у крыльца, ребеночка подбросили! Сама видала. Лежит сверточек такой, махонький-махонький! Пусенька такая, кусенька...

— Блядь какая-то подкинула, — прошипела Индира. — Я б ей глаза вырвала. У нас строго с этим... Сразу — в мешок и в речку. Пойду, погляжу.

Альфия почесала голову, хмыкнула ей вслед:

— Ишь ты... Мешок... Знаем мы таких. Сами поблядушки еще те. Да курит, как паровоз, стерва. Вчера возле мусорки ее видала... Сказать, что ли, ее турку?

— А че ребенок-то? — проснулась Гулька.

— А ниче... Медсестры унесли. Подкидыш. Может, возьмет кто... — Танюха зевнула и укрыла глаза платком.

— Да он, небось, больной насквозь. Спидонос какой-нибудь... Я бы не взяла. Ой-бай... Эй, Асия! Есть будешь?

Аська, заливаясь голодной слюной, подсела к крайней тумбочке, выбрала из плова кряжистую куриную ногу.

Вошла Индира, снимая куртку, обронила:

— Эй, Асия, там приехали... Во дворе... Ищут тебя.

— Меня?!

Аська торопливо утерлась салфеткой и, как была, в тоненьком халате, кинулась за дверь.

— И че за мужик? — не утерпела Гулька.

— Да не мужик. Мамаша, что ли, еешная. С подружкой. Та чокнутая какая-то... Смеется все время. Вай, Алла-а-а... Погляди, Альфиюшка, ноги у меня отекли? Сильно? Ой, женщины, за что нам такая доля? Мужиков бы наших, трахарей, сюда бы...

В коридоре прокричали тихий час.

Картина 5

Ася вернулась, села на кровать, потирая озябшие руки.

— Послушайте, а кто приходил-то? Я никого не нашла во дворе.

— Да вон, в окне... — кивнула Индира.

И точно — снаружи требовательно застучали. Ася взгляделась.

— Асенька, девочка! Здравствуй! — глухо донесся голос мамы. Вцепившись в решетку худыми прозрачными пальцами, за окном стояла Аделаида в белокуром парике с буклями, укутанная в прохудившийся оренбургский платок, в старой Славкиной куртке. За ее плечом клубилась какая-то подвижная баба — покашливала, подпрыгивала, похекивала, посапывала.

Ася подошла к окну.

— Привет, мама. Как ты? Мне во двор не выйти, тихий час... — Ася обернулась к соседкам. — Извините, женщины, можно я с мамой через окно поговорю?

Танюха махнула рукой:

— Валяй...

— Мама, я тебя прошу, скажи, как ты себя чувствуешь? Ты у врача была? Когда тебе на химию?

— Девочка моя! — нараспев продекламировала Аделаида. — Все это такая глупость... Я решила больше не травить себя. Ты знаешь, это неправильно, поверь мне! Наш организм — это такое... Стихотворение. А в настоящем стихотворении нет ни одной лишней строчки, ни одной лишней рифмы! Я все время думала — зачем все это? Зачем я была нужна? Так мучилась, так мучилась! А теперь... Поверь мне, милый, я все поняла. Надо слушать себя, свое тело, разглядывать свои ауры, любоваться жизнью. А смерти нет, ее совсем нет, правда, Ася! Это такая свобода... Такой простор... Ты не представляешь, что мне сегодня снилось. Ты просто обалдеешь, когда я тебе расскажу! Мне снились темные паруса... Темные, Ася, не черные... Корабль... Под темным парусом... А по палубе — пауки бегут. Мохнатые, черные, с белыми крестами. Большие, как собаки... Это — грехи... Мои грехи... А корабль — душа. И — море... И вот судно тонет... И темное полотно паруса. И по нему — пауки. И все... Все тонет... А я — я иду по воде. Представляешь? Нет, ты представляешь?

У Аси от ужаса похолодела спина.

— Мама, прекрати! Не позорь ты меня... Ты что несешь? Ты таблетки пьешь?

Аделаида таинственно улыбнулась и подняла указательный палец.

— Дочь! Я вышла на семнадцатый уровень самопознания! Моя карма выправляется. Знаешь, у меня пропал аппетит. Совершенно есть не хочу. Так забавно...

— Мама, сколько ты уже не ешь? — испугалась Ася. — Ты с ума сошла! Тебе же нельзя!

Аделаида продолжала высоким ломким голосом:

— Надежда Магомедовна, мир ее дому, составила мне матрицу. Вообрази, она оказалась сложнее, чем у всех ее клиентов! Она такого сама не ожидала, она говорит, такое бывает у одного человека из тысяч и тысяч. Это, знаешь, такая неординарность, такая... Близкая к гениальности, если хочешь, так она говорит. Я просто смотрю на эту матрицу, тут главное — смотреть и думать, больше делать ничего не надо, нужно только вспоминать всех, кого ты обидел за всю жизнь, и повторять число, свое число, Ася... Надежда Магомедовна мне сейчас число вычисляет по группе крови, потом я еще фильм должна буду купить про целительницу Бихзаду. Это сестра Надежды Магомедовны, все это очень недорого, не думай. А потом мы с Надеждой Магомедовной поедem в Китай, к Бихзаде. Она там живет в Небесном храме...

— Мама! МАМА! Сколько денег ты уже угробила? — воскликнула Ася, чувствуя, как снова подкатывает к горлу саднящая горечь.

Мать величественно пожала плечами:

— Мой милый, я же откладывала пенсию, ты знаешь...

Вот оно!.. Ася чуть не закрутилась на месте.

— Значит, вся пенсия за пять лет?! Мама... Мамочка... — она вдруг поняла, что снова скулит, — а как же твой курс? Тебе же надо ложиться в диспансер! Я же с таким трудом договорилась!

Аделаида засмеялась:

— К счастью, мой милый, мне уже не нужно ехать в это кошмарное место, ты рада? Надежда Магомедовна...

— Да кто она такая? Кто это?!

И тут из-за маминого плеча высунулась ярко-розовая свиньячья мордочка: вздернутые ноздри, близко посаженные слезящиеся глазки, мелко завитая пегая челка, улыбочка на тоненьких губешках...

— Мир тебе, ми-и-ир дому твоему, дорогая моя девочка! — пропела Надежда Магомедовна. — Радость, радость несем мы в этот ми-и-ир!! — и, повизгивая, засмеялась.

— Вы кто такая?! Как вам не стыдно! Вы зачем голову морочите больному человеку? — выкрикивала Ася.

Соседки заворочались, заскрипели пружинами:

— Эй, потише ты там...

— Ой-бай, уколы уже? Нет?

— Альфиюшка, спишь? Сунь в розетку зарядку... Эй, женщина, кончай, дует из окна, блин!

— Мир и вам всем, золотые мои, любимые мои девочки, мир, мир, мир вам! — заверещала Надежда Магомедовна, отталкивая в сторону блаженно улыбающуюся Аделаиду. — Асенька, солнышко, кисонька, рыбонька, твоя мамусенька — просто удивительный, удивительный человечек! А когда мамусенька выйдет на семнадцатый уровень, у мамусеньки все-все чакрушки откроются. Все увидят — твоя мамусенька, она же правнучка самого Будды по материнской линии! И-и-и-и... Ми-и-и-и-и-ир... И-и-и-и-и-и...

— Время молитвы! — подхватила Аделаида, снова вцепляясь в решетку. — И-и-и-и-и... Ми-и-и-и-и-ир...

Внезапно грозный бас рубанул по ушам:

— Это еще что такое?! Тихий час у нас, женщины спят! А вы что это? А ну брысь! — постовая медсестра, отпихнув Асю в сторону, с треском захлопнула окно.

— Ладно, Асенька, мы потом еще придем, целую, мой милый... — трусливо протараторила Аделаида и метнулась прочь. Надежда Магомедовна еще некоторое время повисела на железных прутьях решетки, распевая: «Ми-и-и-и-ир вам, родные мои, ми-и-и-и-ир...» Потом отвалила и она, двуперстно перекрестив суровый лик медсестры, проводившей ее недобрым взглядом.

— И чтобы не было больше такого. Ясно?! А то вылетишь, как пробка из бутылки, — уходя, пророкотала медсестра.

Товарки, ворча, укладывались. Ася без сил навалилась на подоконник. Звякнули банки.

— Ой-ба-ай... — протянула Гулька, — а пожрать так и не принесли тебе, блин.

Картина 6

Сегодня путь от остановки показался удивительно коротким. Череда четырехэтажек, крохотное футбольное поле, не знавшее отроду ни одного мяча, замусоренные окурками палисаднички под окнами, разломанные качели и глупая арка. Десять минут ходу от перекрестка, даже по сугробам.

Ух ты, дубор-то какой! Между прочим, в начале прошлого века дамы города Верного в январе гуляли в накидках и с кружевными зонтиками. Чистый прохладный воздух стекал в чашу города с крутых верненских прилавков, и разноцветные, с чешуйчатыми веселыми крышами теремки и соборы инженера Андрея Зенкова и архитектора Павла Гурдэ подставляли резные бока бодрому азиатскому солнцу. Где сейчас эти домики?.. Все, к чертям, поносили — постколониальный синдром называется. Понастроили в центре турецких многоэтажек... Запрудили узкие улочки иномарками, пробки кругом, как в Москве, жилье по три тыщи баксов квадратный метр... О чем это я? Да, с тех пор в Алма-Ате сильно похолодало, зима как в Сибири. Говорят, семипалатинский ядерный полигон подгадил... А может, и везде сейчас так. Может, и в Ташкенте уже солнышка в январе нет, тоже снегом все завалено — и странно широкие пустые проспекты, и высотки в орнаментах, и древние мавзолеи. Густая тень холода, как небывалый профиль Искандера Зулькарнайна, ложится на асфальт. Леденеет кровь в жилах восхода, и прошлое рассыпается, как стеклянный дым... Глобальное потепление, свернутая скула Гольфстрима...

Нет, про Ташкент — это полная глупость. Это она наврала сама себе сдуру. В Ташкенте-то тепло... Там Жорика мама живет. А здесь просто климат резко континентальный, да и горы вокруг. Вот тебе и весь сказ.

Показалась знакомая хрущоба — черный выюнок свисал с ее боков, как водоросль с истлевшего корабля.

Лида вновь поднималась по воняющей кислотой лестнице. Опять бессмысленная детская возня, чахоточное фортепьяно зудит гаммой, гортанные телефонные выкрики и телеперестрелка. Как будто время застыло янтарной коркой над этим подъездом, и ни глотка свежего воздуха, ни чистого звука настоящей жизни не доносится сюда, в это царство мрачных заводных теней, прилипших войлочными ногами к своим жалким порогам, не видящих ни лучика света, не знающих, что такое свет...

Курлыкнули алябьевские трели. Раздался Аськин голос:

— Ну, откроет кто-нибудь?

Наконец дверь распахнулась. Животастая, отечная Аська презрительно щурилась с порога.

— А-а-а, это ты... Заходи. Че пришла?

— Да вот, это... Э-э-э... Мы тут скинулись на работе. В общем, к Новому году... — Лида сунула Асе конвертик.

Аська пожала плечами.

— Чай будешь? Сапоги снимай, — и, не дожидаясь ответа, пошла по коридорчику походкой африканки, грациозно несущей на темечке плоскую Землю, китов, слонов и черепаху в придачу. Лида пошла следом.

— Вчера только выписалась. Третий раз лежу. Господи, как я всех ненавижу! Такого там насмотрелась, не дай бог. И соседки — атас... Как трижды в аду побывала. Прихожу домой — грязница, скот этот, братец родной, якобы на дежурстве, знаем мы эти дежурства долбанные. Мама... Ой, Лидка, веришь, нет, сама мыла ее. Не знаю, как подняла. Он, тварь, ей памперсы два дня не менял. Думала, задохнусь. А все равно — дома лучше, хоть и гемор. Не хочу я в больницу. Не пойду больше! Теперь — только рожать. Да и осталось-то мне семь недель всего. Дотерплю, небось...

Из большой комнаты в унисон Аське бубнил телевизор.

Кухонька совсем крохотная. Столик, две табуретки, на подоконнике горбом торчит засаленный детектив Донцовой, с краю притулилась забитая окурками жестянка. Сырые стены, закопченный потолок, шахтерские отвалы посуды и алюминиевых кастрюль, когда-то новеньких, зеркально-блестящих, оптимистичных. В таких кастрюлях хорошо варить яйца и кипятить молоко. Как горяченького хочется! Стекла

покрылись потом от кипящего чайника. Холодно и одновременно душно. Как в песне...

— Гос-споди... И кому я все это говорю? Кто меня слушает? Лидка, а, Лидка! Уснула, что ли, снова? Пей. Вот твой бокал. — Ася пододвинула Лиде литровую кружку с сердечком. Лидка обняла ее озябшими ладонями, с сомнением заглянула внутрь. Таниновые полосы опоясывали стенки, как годовые кольца. Жидкий чаек полоскался где-то на середине кружки и пах баннным веником.

— К чаю ничего нет. Вот — сахару насыпай. Так, посмотрим, — Аська полезла в конверт, принесенный Лидой. — Пять штук. Богато... Спасибо, конечно... Да ты не думай, я не обиделась. Сейчас Славку в магазин пошлю. Славян! СЛАВЯН!!!

Из коридора раздалось неспешное шлепанье тапок. Да, это был он, Бабруйский Медвед, похоже, не стригшийся с августа, и все в той же майке «Че» (и не мылся с тех пор?).

— Ну, че? А, превед, превед... Людмила.

— Че ваньку валяешь? Лидка она. Не узнал, что ли? На вот бабки, сходи в «Беккер», купи колбаски, сосисок конских. Ты, Лидка, не уходи. — Ася закурила. — Сейчас этот придурок вернется, бутеров наделаю, посидим еще. Расскажи, как там на работе? Что нового? Как Женька мой? Жанарка как? Нормальная баба, да?

Лидка как раз побаивалась этих вопросов. Но начальный план отдать конверт на пороге и сбежать провалился, так что придется отдуваться.

— Да ничего. Э-э-э... На самом деле... Ася, — Лидка втянула голову в плечи. — Ася, я что тебе сказать хотела... Предупредить как бы. Женя, то есть Евгений Петрович, это... Короче, девки на собеседование ходят.

— Что?! — Ася подавилась дымом, закашлялась. — Он же обещал Жанарку из маркетингового взять!

— Ты не расстраивайся! То есть, может, он временно берет, пока в ты декрете! Ты это, не расстраивайся, слышишь? Тем более он ведь... Это, как бы... Ну, не обидит тебя... Ась!

— Вот как, вот как, серенький козлик... Лидка!

— Да, Ась...

— С мамой поздоровайся. Вернее, попрощайся... — Ася говорила каким-то пластмассовым голосом.

Аделаида сидела в том же кресле в той же, когда-то величественной, а теперь жалкой позе. Худая, глаз не видно из-за морщин, скрюченные руки вцепились в подлокотники. В углу потемневшей, как бы съездившей комнаты торчала еле различимая елочка с несколькими игрушками и свернутой набок советской звездой. Пыль и вонь сразу же намертво забили нос. Лидка чихнула. Аделаида Павловна, не отвлекаясь от экрана, спросила медовым голосом:

— Кто это? Асенька, кто к нам пришел? Это Верочка Моисеевна?

— Здравствуйте, Аделаида Павловна, — проговорила Лидка.

Господи, да она просто скелет! Грязно-розовый халат, старушечий платок в дырах, на ногах могучие носки горчичного цвета и тапки с помпонами.

— Разве мы знакомы? — Аделаида с трудом повернула голову, вгляделась в Лиду. — Где мои очки? Слава! Ася! Кого вы привели в наш дом? Это Верочка Моисеевна?! А?

— Это я, Лидка. Помните? Я у вас, э-э-э, интервью летом брала...

Аделаида открыла рот, закрыла его и медленно откинулась на спинку кресла.

— Мама, это Лидка. С работы моей. Ну да ладно. Она на минутку зашла, хотела просто поздороваться.

Лидка оглянулась. Ася, стоя в дверях и механически поглаживая живот, говорила все тем же мертвеньким голосом.

— Мама, есть хочешь?

— Я не хочу, — сварливо заявила Аделаида. — Ты ведь знаешь, у меня депрессия. Творческий кризис.

— А лекарство ты принимала? Славян тебя к доктору возил на прошлой неделе? — Ася пошла к дивану. — Лидка, ты чего стоишь? Вон, садись.

Лидка со вздохом уселась на знакомый пуфик.

— Дочь, я сейчас не настроена на общение! — величественно объявила Королева и закашлялась. Гадко, с брызгами.

— Мама! Я плохо себя чувствую, у меня угроза выкидыша, понимаешь? — раздельно заговорила Ася. — Я на сохранении валялась на больничной еде, шприцы у соседок одалживала, ни одна сволочь, кроме Лидки, ко мне не пришла, а ты мне тут Барби строишь? Отвечай по-человечески!

Мать в ответ затрясла головой, захныкала:

— Вот я умру, вспомнишь обо мне. Вспомнишь, как на мать кричала! Давай кричи, давай бей! — Она закрыла дрожащими руками макушку, проросшую седым ежиком.

Лида сидела в каком-то оцепенении.

Королева перестала подвывать, сверкнула исподлобья глазами:

— Что-то ты с матерью только такая смелая, как я погляжу! Ни на кого больше и хвост поднять не смеешь? Дешевка! — вдруг выплонула она со злобой.

Ася вздрогнула всем телом, потянулась к ней:

— Мама! Ну что ты?

— Думаешь, я дура? Дура? — повышая голос, продолжала Аделаида. — Денег у него боишься попросить? Ты обо мне подумала, когда все это... затевала? Шлюха!

— Мама! Мама!

— Мама... Еще вспомнишь о матери! Сдохну — поплачешь тогда! — старуха поерзала в кресле и снова взялась за пульт.

По телику шли «Девчата».

— ...А я не мерзлявая! — прочирикала киношная Тоська.

Аделаида вдруг весело подпела бравурной музычке. У Лиды по спине поползли мурашки.

— Мама, мама! Ну прости... Я же о тебе думаю. Все время думаю, — бормотала Ася.

— А я — думаю о высоком. О Будде Золотые Ноги, — не отвлекаясь от экрана, светским тоном заметила Королева. — Моя бессмертная аура выправляется, и очень скоро все вы ахнете! Еще в этом году произойдет чудо! Надежда Магомедовна в восторге от моей нижней чакры. Говорит, никогда подобного не видела. Чакра сама синяя-синяя, а окоемочка такая, знаешь, бледненькая, сквозь нее все грехи мои видны! Я ведь очень, очень грешна, признаюсь тебе...

«Девчат» прервала реклама. Королева повернулась к Лиде и театральным шепотом изрекла:

— Я — великая грешница. Лариса, прости, я ведь любила, понимаешь ты это или нет? Знаю, Лариса, ты страдала. Мы все страдали!.. — Ее голос набирал силу. — Это трагедия! Драм-ма! Но пойми, мы с Егором — оба творческие люди, мы жили порывами, страстями! Скажи, что я могла?

Лида слезла с пуфа и, обливаясь потом, по стенке двинулась к выходу. Ася тихо сказала:

— Не бойся, Лидка... Это у нее часто теперь бывает.

— Молчишь?.. Эх, ты, Лариса! — воскликнула Аделаида. — Боже, как мы страдали с Егором! Какие это были муки! На сцене мы были Офелия и Гамлет, и между нами запылал костер, пойми! Ты ведь подругой моей была, Лариса, как ты могла не понять? А?

Старуха всхлипнула, ладонью прикрыла лицо... Помолчали. Лида аккуратно шагнула к двери.

— Я вам всем, дорогие мои, советую, — совершенно нормальным голосом произнесла Аделаида, — немедленно приступить к медитациям. — Она лукаво хихикнула. — У вас совершенно расшатались нервы. Разве так можно к себе относиться? А медитации — это просто чудо какое-то. Вообразите... Я лечу над городом... А там, внизу, — осен-н-нь, листьев насыпано до пятых этажей! Всюду — трупы... — старуха снова завела себя. — Это все будет... У меня видения... Золотые Ноги... Нет, весь я не умру! Останется душа! В заветной лире!

— Господи, мама! Какая лира? Какие трупы? О чем ты?! Давай-ка завтра врача вызовем, — Ася тяжело поднялась с дивана.

— ...В первый раз такую единоличницу вижу! — Вот и погляди! — донеслось из телика.

— До свиданья... — прошептала Лида.

В коридоре шуршал пакетами Че.

— Сдача где? — грозно спросила Аська.

— Ржунимагу... На, посчитай... — звеня мелочью, он топтался у двери, старательно не глядя на Лиду. Почему-то это ее ужасно разозлило. — Я к Ахметке. Водку только не жрите.

— Ну и катись. Лидка, не спи! — Ася пошла в кухню, распахнула холодильник, немедленно обдавший Лиду волной зловония, начала раскладывать свертки. — О, ветчинка! А ты, Лидка, вообще, молодец, что зашла. Я тебе так благодарна, правда! И яблоки в больницу приперла. Спасибо. Давай, чаю еще плесну... Бутер с докторской будешь?

Лида вдруг сказала:

— Ася, ты извини, конечно. Но мне Жорик, это, как бы всю плешь проел. В простое он сейчас, понимаешь? Заказчик их кинул... Что сказать хотела. Блин, неудобно-то как... — Лида поморщилась. — В общем, у меня Слава денег занял. На кетонал.

— Гос-споди, что ты как неродная! Сама бы взяла из конверта сколько нужно, — Ася потянулась к Славкиной сдаче. — А сколько взял-то?

— Шестьдесят... — прошептала Лида, глядя в пол.

— Баксов? — Ася дернула щекой. — Дай-ка мне сумку. Сейчас, погоди...

— ...Тысяч... — выдохнула Лида. И покраснела.

— Баксов?! — уронила сумку Ася.

— Да нет, тенге... Он ведь, это, говорит, мол, ты знаешь, матери капельницы, то да се... И как откажешь? Ну, я и взяла... То есть дала. А Жорик...

— Ты дура, да? Дура? Дура, ты почему мне не позвонила?! — Асю трясло, как в лихорадке.

— Аська, ты что? Ася! Да ладно. Я подожду... Водички тебе? Аська, черт с ними, с деньгами! Это! Ребенка пожалей! Зачем я, дура, ляпнула! Вечно не то скажу!

— Погоди! — Ася зябко обняла себя за плечи, закачалась на табуретке. — Погоди, Лидка! Деньги я отдам, честное слово. Завтра с карточки сниму и отдам. Не бойся! Только ты больше ни под каким видом, слышишь? Ни под каким! Какая сука! Вот сука!.. Повезло с братцем. Лучше бы я его в детстве задушила.

Лиде было ужасно стыдно.

Хлопнула дверь. В кухню заглянул Славян, повел носом:

— Систер, сосисичек свари, а? Холодно, аццкий сотона...

— Явился, гад, — тихо сказала Ася, глядя на него воспаленными глазами. — Че это ты на работу забил, а?! На дежурство не пора?

— А че «гад» сразу? Я на другую работу устраиваюсь, — Славка попятился.

— На какую, сволочь? Тебе уже и охранником быть запахло? Что, перенапрягся? Где деньги, что ты у Лидки занимал? А? — Она уже кричала в голос.

Лида зажала уши.

— Да ладно... — испуганно отбrehивался Славка уже из коридора. — У тебя все — деньги, деньги. Достала уже. В мозгах одни баксы крутятся!

— Это у меня? У меня?! Где шестьдесят тысяч, гад? Я тебя спрашиваю! — орала Ася, поднимаясь, на шаривая на столе то ли нож, то ли вилку...

Лида сжалась в комочек на табурете.

— Где, где! В Караганде. Я дело свое открываю. Мы с Ахметкой палатку самсят-ную ставим! — выкрикивал Славка, отчаянно шурша курткой.

— Какую? Самсятную?! — Ася с ложкой наперевес двинулась в прихожую.

— Ну да. Самсу горячую будем продавать. Сейчас ходили землю мерить. Возле самого базара, прикинь, — тараторил Славка, щелкая дверным замком. — Ну, я побежал!

Лида зажмурилась. Из коридора орал:

— Что ж ты со мной делаешь, пар-разит?!

— А ну не трожь!

- Как я расплачиваться буду, ты подумал?! Тварь проклятая, тварь!!
- Как врежу за «тварь»! Пусть твой козел расплавляется!
- Что-о-о?!
- Легла под шефа — пусть алименты платит!
- Отпусти, сволочь! Сломаешь!!
- Легко!! Еще раз полезешь — отфигачу на фиг, поняла?

Вроде затихли. Лида открыла глаза. Взяла сумку, пошла в прихожую. Там было пусто. Из комнаты доносились Асины рыдания и песенка про хороших подруг. Лида оделась и вышла вон.

Через некоторое время Ася забрела на кухню, нашарила на столе сотку:

— Привет. Как телки, Женечка? Какие? А которых ты на собеседование таскаешь. Доложили, ага... Сука ты кобелиная!! Не звони больше, сволочь! Мне от тебя копейки не надо! Сама, любимый, конечно, сама... Ненавижу!!

Покурила у окна, пошла в зал. Мать спала. Ася выключила телевизор, прошла по темной комнате, трогая предметы. Вдруг из кресла донесся жалобный шепот:

— Ася! Ася! Сделай укольчик, Асенька!

Картина 7

— И вот, мама, Славик встал, подбежал ко мне и говорит: «Мама Ася, я описался!» Все так и упали... Это в годик-то. Какой он красивый был, ну, херувимчик просто, кудряшки золотые, сам весь такой ладненький, упругонький, беленький... Помню, когда он болел, бабушка укутывала его и мне не разрешала форточки открывать, боялась, что сквозняк его застудит. А он, как медвежонок, вперевалочку из комнаты в комнату бегал, такой смешной! Я его зацеловывала просто, даже кусала. А потом, когда он уже в школу пошел, мы с ним книги читали. Ведь он любил тогда книги, мама, помнишь? Ты спишь, мама?

Аделаида грудой лежала на диване, дышала тяжело.

— Темно уже... Мам, тебе телик включить?

Ася оглядела бугристое вязанье, снова взялась за спицы.

— А ну его, телик этот... Все равно за кабельное не заплатили. Помнишь, однажды Славка из библиотеки принес рассказы Сетона Томпсона. Так рыдал потом — я валерьянкой его отпаивала. Такой добрый был мальчик. Ты знаешь, он очень боялся, что я замуж выйду. Не бросай нас, говорил, сестричка... А потом, когда я уже в институте училась, он меня по вечерам всегда встречал. Он же на карате долго ходил, помнишь? Его бабушка водила. А меня — на рисование и на хор. «Родина слышит, родина знает»... До сих пор помню! Тьфу ты, опять сбилась. Раз, два, три, четыре... Да. Ты знаешь, я всегда считала, что он — мой самый лучший друг. Мы буквально все могли друг другу рассказывать. Иногда по полночи не спали, хохотали над ерундой всякой...

Аделаида тяжело заворочалась, скинула на пол одеяло:

— Там город... Лариса... Прости... Я не хотела... Бросил меня... Тоже... Пойдем... Там... Внизу... Жарко... Пить...

— Мамочка... — Ася пересела на диван, начала поить ее из ложечки. Мать вдруг поперхнулась, закашлялась, черная пена хлынула из уголка рта на подушку. Ася, испуганно вскрикнув, потянулась за полотенцем... Аделаида успокоилась, задышала ровнее.

— Вот и хорошо, мамочка... — Ася погладила мамину руку. — И вот, помню, у него первая девушка появилась, он какой-то прибалдевший был, как мешком приударенный... Привел ее ко мне на работу, переживал: что я скажу. Я тогда с Нуриком ходила, ну, помнишь, однокурсник мой, он теперь в Италии, бизнес свой туда перетащил. Уже дважды женился... Да. И с Женькой мне не повезло...

— В Китай... Уеду в Китай, и там... Храм Будды... Золотые... — голос Аделаиды звучал все слабее, переходя в хрип.

В дверь властно позвонили, потом еще. Наконец, принялись стучать.

— Да иду я! Иду!

— Что не открываете? Что на прием не ходите? Как состояние, я говорю? — бесцеремонно выкрикивала с порога врачиха.

— Вот... Лежит. Бред у нее уже третий день. «Скорая» была, вкололи что-то. Она пару часов поспала. Не ест уже третьи сутки, только пьет. Мне так страшно... А брат с ней сидеть не может...

— Состояние ужасное. Вы хоть мойте ее чаще, — поморщилась врачиха, не подходя к дивану. — И переворачивайте, я говорю, а то пролежни пойдут. Промедол еще есть?

— Давно кончился. Я мою ее. И памперсы есть... Только тяжело мне. Брат вчера ушел куда-то, а я ее повернуть не могу. Врачи со «скорой» ругались, тоже говорят — пролежни будут. А что я могу?

— Муж пусть помогает ваш. А вы много колете ей, я говорю. Она так и год лежать может. А они, знаете, какие — все просят: кольки да кольки. Вы ей водичку колите. Или физраствор... А то не напасешься. За промедолом в следующем месяце придется.

— Но доктор, она же... Умереть может, по-моему. Ей так больно... Может, что-то можно сделать? Что-то вколоть?

— А что я могу? Хоть бы проветрили... Все. До свиданья.

Врачиха ушла. Ася тоскливо вздохнула, поправила одеяло. Открыла окно в кухне, потом распахнула дверь на лестничную площадку. Пусть хоть так проветрится.

— Пить... Лед... — простонала Аделаида.

— Да, мамочка, сейчас. На, пей... Сейчас Славочка наш придет. Мы тебя поможем... Переоденем...

Ася взяла со стола телефон, набрала брата. Сильно прижала трубку к уху, зажмурилась, повторяя, как заклинание:

— Славян... Ответь... Славян... Славян, ответь... Ну ответь же, сволочь!..

Набрала снова. Бесполезно.

— Ладно. Ничего. Ладно... — Она, всхлипывая, нашла вязание, снова села в кресло. — И вот, мамочка... А помнишь, как Славка щенка в дом принес? Ты так ругалась, выбросить хотела. Славный был пес — Белый клык... Мы со Славкой гуляли с ним. Мечтали. Я мечтала, что художником стану, а он в космонавты хотел. Смешно... Дура была, да? Надо было зарабатывать. Ты же никогда толком не работала, а я то там, то сям, то в экспедиции, то уборщицей — мы со Славкой пол ходили мыть... А как бабушки не стало и пенсии ее, так я и пошла на бухгалтерские курсы. Художник бы из меня все равно не вышел. Талантов у нас в семье как не было, так и нет.

В комнату потихоньку вползал синий полумрак. Надо бы встать, свет включить...

Тут из коридора послышался шум, прошуршал какой-то drobный топоток, и в зал вкатились две темные фигуры.

— Вы кто?! — вскрикнула Ася, бессознательно прикрывая живот. — Что вам надо?!

— Милая, милая моя девочка! Брильянтовая моя, ты же меня помнишь? — залопотал левый колобок. — Мы к мамусеньке твоей... Адочке... Адочка, солнышко... Ми-и-ир тебе, ми-и-ир, и-и-и-и...

— О, господи! — Ася включила свет, невольно зажмурилась. — Вы что, не понимаете? Маме очень плохо. Она никого уже не узнает. Вы зачем пришли?

Надежда Магомедовна, собрав розовую мордочку в букет умильных морщинок, часто-часто закивала, захлопала тряпичными ладошками, мячиком запрыгала на месте:

— Золотая моя! Это чудо, это просто чудо! Ты знаешь, кто это? Это она, моя сестра, сестричка моя, Бихзада! Специально к Адочке приехала! Из Китая! Я ей факсом послала Адочкину ауру. И знаешь, что сказала Бихзада? Что ауры такой ни у кого больше нет! Ни у кого! Вот она к Адочке из Китая и приехала, к солнышку нашему. Адочка, ангел мой, проснись, дорогая! Знаешь, кого я к тебе привела? Вот радость-то!.. Ми-и-и-и-р тебе...

Ася с содроганием вгляделась во вторую гостью: на голове у той красовался бесформенный мешок чадры с противомоскитной сеткой на месте лица, подол изумрудного парчового платья тащился по полу, упитанный животик обтягивала бархат-

ная жилетка с малиновой искрой. Бихзада, позвякивая дутыми перстнями и браслетами, подплыла к дивану и с сильным узбекским акцентом прокаркала:

— Тазику... Тазику нужна-а... Вода смыть... Вай, Алла-а-а... И-и-и-и...

Магомедовна ткнула Асю кулаком под ребра:

— Давай, солнышко, неси скорее тазик с водой тепленькой, не горячей, градусов тридцать, сестринushка моя ножки омоет. Не может она так быть, надо ноги омыть, грязь смыть, грехи смыть... А ты потом эту водичку не выливай, послушай меня! Ми-и-и-и-ир тебе, ми-и-и-и-ир... Ты потом в чай ту водичку лей, в суп лей, везде лей, умывайся ею, ни одна болячка не пристанет! Ты давай, давай... И деньги давай, денежки. Сейчас инициацию делать будем, ми-и-ир, ми-и-ир, третий глаз Адочке откроем. Так она мечтала третьим глазом вокруг глянуть. Ми-и-и-р...

— Какой тазик? Какие деньги? Идите вы все отсюда! Как вам не стыдно, она же... — Ася толкнула животом Магомедовну, оттесняя ее к прихожей, но та ловко увернулась и юркнула за спину Бихзады Сияющей.

— Тазику! Давай-давай! Бисмилля-я-я... Ир-рахман-н... Ир-рахим....

— Денежку неси, неси! — подпевала Надежда Магомедовна. — Бихзада, золотая моя, солнышко ненаглядное, из Урумчи сюда ехала, спешила... Тебе надо дорогу ей оплатить! Так полагается, детка!

Ася озверела.

— А ну вон! Вон отсюда! — она кинулась к бабам, рванула обеих за плечи. — Валите отсюда! Ой! — внизу живота что-то жутко дернулось. — Ой, мама!

— Вай! Вай! Шайтан! — Бихзада со звоном заломила ручки.

— Доченька, что ты, что ты! Ты зачем ее хватаешь, нельзя ей лицо обнажать, она двадцать лет в Мекке молилась, нельзя ей лицо показывать! — завизжала Магомедовна, но Ася в приступе слепящей боли крепко ухватила чадру и из последних сил дернула ее.

— Пусти, дура! Эй, пусти меня! — безо всякого акцента потребовала толстенная усатая девочка, оказавшаяся без чадры. — Тетя Надя, чего она дерется? Ай!

В следующую секунду вопили уже все трое.

— Ахтунг!! — в дверях, набычившись, стоял Славян.

— Славка, гони их! Ой, мамочка...

— Солнышко! Ай! Ми-и-ир! Отдай сумку! Сумку отдай!

Аделаида вдруг приподнялась, протянула дрожащую руку и угасающим голосом прошептала:

— Ася... Ася... Слава... Дети... Китай... Светло... Ромаш-шки... Про...

Картина 8

Лида в сапогах вбежала в комнату, сдирая с себя пуховик. Посреди комнаты, на полу, неподвижно сидел Славка, пустыми глазами глядя в окно.

Ася безучастно повторяла:

— Все уже, все, Славочка... Славочка, все.

— Аська! «Скорую» вызвали?

— Да... Нет... Надо вызвать... И полицию...

Лида заметалась по дому, нашла трубку:

— «Скорая»? У нас, это... Мама умерла. Адрес какой, Аська?

— Тринадцатый микрорайон... Дом пять... Квартира... Ох! — Ася дернулась в кресле, схватилась за живот.

— ...Квартира семнадцать! — прокричала в трубку Лида. — Ась, ты чего? Началось?!

— Нет... Нормально все...

— Ася, кому позвонить надо?

— Не знаю... Слава, ей глаза надо закрыть. И подбородок... Как-то... Подвязать? Ой, пена у нее изо рта... А может, она жива еще? — странным голосом сказала Ася, наклоняясь над Аделаидой.

— Н-н-н-е... м-м-могу... — проблеял Славик и закачался, обхватив голову.

— Она еще теплая, Славка... Я сейчас рехнусь... Мне кажется, она дышит...

Лида зажала рот руками.

— А-а-а-а... — Славка, как огромный таракан, на четвереньках побежал за кресло.

— Ася, это, что делать-то?

Ася, потирая поясницу, побрела на кухню. Пискнули клавиши мобильного:

— Женя... Мама умерла... Мама! Женечка, приезжай! Я совсем с ума схожу... В Женеве? Ты — в Женеве? Да... Понятно... Больше не буду... — Ася уронила трубку на пол.

Лида подбежала к ней.

— Что? Что, Ась?

— Ничего. Спасибо, Лидка, что приехала. Вот видишь...

— Аська, ты-то сама как?

Протренил дурацкий дверной звонок.

— Я открою, — Лида ринулась в прихожую.

С порога пыхали холодом двое дородных полицейских-азиатов. Первый сурово произнес, перетопывая сапогами и роняя на пол здоровенные ломти снега:

— Кто родственник?

— Я... — бледная до синевы Ася вышла в коридор.

В разговор включился второй полицейский:

— Кто будете труп?

— Дочка... — клацнула зубами Ася.

— Пройдемте, заполним протокол, — хором проговорили полицейские и в ногу зашагали внутрь квартиры.

Залитая скудным электрическим светом, укрытая блескучей шалью, на диване лежала мертвая Снежная Королева. Лицо ее было значительным и строгим — Лида подвязала ей подбородок и вытерла клочья пены из уголков рта. Славян, отводя в сторону затуманенные глаза, пристроил на ее голове свалевшийся парик «Помпадур».

Первый полицейский угрюмо глянул на покойницу, присел к столу и достал бланк протокола.

— Фамилия... Имя, отчество...

Ася опустила в кресло, принялась путано отвечать.

Второй полицейский с любопытством оглядывал обстановку и цокал языком.

В дверь снова позвонили. Лида побежала в прихожую.

На лестничной площадке обнаружился очень приличный молодой человек в затемненной оправе, стильном коротком плаще, с аккуратной папочкой под мышкой. Молодой человек интеллигентно кашлянул и негромко произнес:

— Какое горе... Соболезную.

«Сосед, что ли?» — Лида пожала плечами.

— Да уж... То есть... Это... — и вдруг заплакала.

— Очень-очень соболезную, — молодой человек проник в прихожую, прикрыл за собой дверь и взял Лиду под руку, не переставая журчать: — Такая утрата. Такая утрата. Да. Однако сейчас вам надо крепиться. Крепитесь. Очень-очень советую. Вы кем приходите покойной?

— Знаете, я... — всхлипывала Лида, невольно вдыхая дорогой парфюм незнакомца, разморозившийся в теплой прихожей, — в смысле, я подруга дочери... Покойной дочери... То есть как бы подруга дочери покойной. Я...

— Неужели? — проникновенно произнес молодой человек. — А могу я с покойной дочерью... Тьфу ты! С дочерью покойной поговорить?

— Да... Проходите. Ася! Это! Тут к тебе пришли!

Ася выглянула и ошарашенно уставилась на незнакомца.

В воздухе вновь заплясали алябьевские трели. Лида покорно пошла открывать. Молодой человек тем временем извлек из папочки какие-то буклеты и церемонно вручил их Асе:

— Позвольте предложить вам услуги нашего агентства ритуальных услуг. Автобусы, венки, ленточки — в широком ассортименте. Устраиваем и отпевания, и поминки... И конечно же проводы по мусульманскому обычаю. Скидочка предусмотрена... Вот, ознакомьтесь.

— Вы чего это? А? — спросила Ася, тупо разглядывая глянцевого буклета с разноцветными гробами. — Еще «скорой» не было. А вы — уже?

— Ася, это, там врачи.

— А вот и «скорая», — закивал мастер ритуальных услуг. — Так будем делать заказик?

— Что тут у вас? — вклинился недовольный бас доктора.

Ася, роняя на пол буклеты, пошла в зал.

— Знаете, мама теплая еще...

— У вас какой срок? Какой срок, я спрашиваю? — кривясь, вдруг спросил доктор.

— Она умирала три дня... А, может, она живая еще?..

— Я не о ней спрашиваю, — хлопнул себя по ляжке доктор и повернулся к Лиде: — Дайте ей воды. Какой срок, не знаете? Рожать скоро?

— Да, то есть нет, не знаю, а что? — промямлила Лида, косясь на ритуального служащего.

— Ну, туда-сюда, приключение, — громко пробормотал доктор. — Ладно, где больная, то есть покойная?

Полицейские, покончив с протоколом, промаршировали на выход. Доктор за кухонным столом, что-то бурча в бороду, писал длинные справки.

— Так что насчет заказика? — включился молодой человек.

Ася громко сказала:

— Лидка, прикинь, это ритуальные услуги. Приехали уже. Быстрые какие. Агрессивный маркетинг называется. «Скорая» адреса сливает... Наверняка.

Агент очаровательно улыбнулся.

— Вы это... Визитку дайте, — рассудительно сказала Лида. — Мы, может, на самом деле, позвоним потом.

С визгом задернув молнию на папке, молодой человек испарился.

Лида присела на пуфик рядом с креслом, взяла Асю за руку:

— Аська... Ты это... не бери в голову. В смысле, ужас какой-то...

— А Славка где, не знаешь? Опять смылся. Сволочь...

Внезапно со стороны дивана донесся стон, потом что-то булькнуло. Асина рука механически дернулась. Лиду бросило в жар.

— Лидка... Лидка, — обморочно зашептала Ася. — П-п-посмотри...

Лида с трудом повернула голову. И ей сейчас же показалось, что Мертвая Королева кривит губы надменной улыбкой и подмигивает ей. И грудь ее... Вздывается...

— А-а-а-а!! — не своим голосом взвыла Лида, падая с пуфика.

Вбежал доктор:

— Что? Что?

— Она... Дышит... Смотрит... На меня... — ползая по полу в поисках очков, стенала Лида.

Ася мелко тряслась, вжимаясь в кресло.

Доктор раздраженно буркнул:

— Господи, да не дергайтесь вы! Это газы, газы, девушка... Ладно, я тут все написал. На столе лежит. Будете оформлять свидетельство о смерти — справки не забудьте. И проветрите помещение обязательно, — заторопился доктор, косясь на Асин живот.

— Ой, Ася... Пойду я... Страшно мне-е-е... — причитала Лида, сидя на затоптанном паркете.

— Лидочка, не бросай меня! Славка, он же... Никакой он! Мне же ее хоронить придется! Деньги... Договариваться... Что делать? Ой! Ой! Мама! Мама!!

— Началось? Аська, у тебя началось? Да? — Вскочила Лида. — Где этот гад бородатый?!

— Воды отошли... — меланхолично сообщила Ася.

— Доктор! Это самое! «Скорая»! Подождите!! Эй!! — завопила Лида в распахнутое окно.

Мертвая Королева испустила еще один длинный тонкий стон.

Картина 9

В квартире царил вечерний уютный полумрак. Из окна лился, дробясь о вертикальные зрачки сосуллек, inferнальный свет молодой луны. Лида спала на диване, обняв початую пачку памперсов. Между письменным столом и диваном стояла детская коляска. Вдруг коляска вздрогнула, послышалось хныканье младенца.

Из спальни, зевая, вышла Ася. Наклонилась над коляской, взяла на руки ребенка, потом, воркуя, уселась в мамино кресло.

— Баю-бай, баю-бай... Кушай, маленькая... Черт, ни одной колыбельной не помню. А ведь пела Славке. А что пела — не помню, хоть убей. Баю-баюшки-баю, не ложися на краю, придет этот... Как его... Гос-споди... Серенький бычок! И ухватит за бочок. Бычок или волчок?

Укачивая дочку, пересела на диван, сказала шепотом:

— Лидка, а Лидка, вставай! Тебе домой пора.

— Что?! А? Это самое? — проснулась Лида. Села, сладострастно почесала лохматую голову. — Да. Надо... Ась, слушай, дай поддержать, а? Я, это, осторожно буду.

— На. Своего чего не заводишь?

Лида, не отвечая, осторожно прижала к груди теплый чужой сверточек. Крохотный ротик улыбнулся, глазки закрылись. И Лида вдруг ощутила, как приливом пошла от онемевших пальцев ног — вверх, с коленей — на бедра и выше, по животу, через грудь — и до самого горла жаркая волна..

— Смотри, заснула.

Помолчали. Лида, боясь спугнуть счастье, замерла. Ася спросила каким-то размагниченным голосом:

— Лидка, а ты не помнишь, серенький волчок или бычок?

— Чего?

— Ну, в песне. Бычок или волчок?

— Бычок, конечно. То есть волчок.

— Ну, ты даешь... — Аська тихонько засмеялась. — А у меня, знаешь, после наркоза крыша конкретно съехала. Памяти никакой. Ладно, давай мне девочку.

Ася унесла дочку в спальню. Пошебуршала там некоторое время и вернулась, осторожно прикрыв за собой дверь.

— Спит. Ну как, пойдешь, что ли? Жорик твой ругается, небось?

— Ругался, если б дома был... Он, это, к матери в Ташкент поехал, — она спрыгнула с дивана, потянулась. — Аська, слушай! Это! Как пирога с капустой хочется! Давай, испечем, а?

В прихожей звякнул замок.

— Славка! — Ася выскочила в прихожую, уткнулась в пропитанную табачищем куртку. — Славка! Сволочь ты! Где пропадал?!

— Узнаю сестрицу, — добродушно проворчал Славян. — Ну почему сразу «сволочь»?

— Дурак ты... Дядя Славян... Где шлялся три дня? Телефон хоть подключи! Думала в полицию звонить...

— Бугага... Как племяшка поживает? — раздеваясь, спросил Славян.

— Нормально. Лидка вон помогает, дай бог ей здоровья. Няньку надо брать, конечно, да работу искать. Пошли в зал. Слушай, ты где был-то?

Славка плюхнулся на диван. Не сразу заговорил:

— Аська, ты на меня не обижайся. Я переехать решил. Не могу я здесь жить. Газенваген прям какой-то...

Ася помолчала, потом холодно сказала:

— Слушай, тебе этот албанский не остофигел еще? Уже не модный он, Славян. И вообще — спустись на землю. Сколько можно? Тебе уже двадцать три, а ты все как ребенок, ей-богу...

Славя помолчал, усмехнулся:

— Да ладно тебе. Я здесь... — Он вдруг всхлипнул. — Когда тебя увезли... Я с ней... Знаешь, я ведь так виноват... Я ведь... Ждал... Пока она... А когда это случилось...

Ася вздохнула, присела на подлокотник, обняла кудлатую голову брата:

— Хватит. Не парься. Ты все-таки молодец. Маму похоронил, поминки устроил чин чинарем. А где жить-то будешь?

— У Лорки, — повеселел Славка. — Мы поженимся, наверное. Мамаша ее, конечно, убей себя ап стену...

— Мы вот что сделаем, — Ася встала, потирая руки, прошлась по комнате. — Мы, как наследство оформим, сразу же эту квартиру продадим и купим две однушки. Тебе и мне.

Славка пожал плечами:

— Давай пока просто — жить, медвед. О'кей?

Ася замерла, прислушалась:

— Да нет, показалось... А как там твоя палатка? Самсятная?

— Да ну ее... Мы с Ахметкой решили стать собачьими заводчиками. Фирма «Белый клык»!

Ася лишь закатила глаза.

— В Бабруйск, животное! — тут же отреагировал Славка.

В кухне возилась с посудой Лида. Громко тикали часы.

— Слушай, систер, я комп возьму? — небрежно спросил брат, вставая.

— Бери...

Славка скрылся в своей норе, что-то уронил, ругнулся. Девочка заплакала.

Вбежала Лида, вытирая руки о юбку:

— Я сама укачаю, ладно?

— Да она голодная, наверное, опять...

— Я тебя позову, если что!

Ася опустилась на мамин трон. Славка вынес из комнаты коробку с компьютером.

— Аська, я пошел?

— Уже? Ладно, давай провожу. Монитор не берешь?

— Завтра зайду.

— Да что ты бежишь, хоть пожрать дожись! — Ася вышла в прихожую, прислонившись к стенке, наблюдала, как Славка одевается.

— Ахметка ждет... Завтра приду на подольше.

— Славка, а помнишь, я тебе песенки пела, когда ты маленький был?

— Не помню... Я модем тоже взял, тебе зачем, — деловито сказал Славян, обматывая худую шею шарфом. — Песенки... Вот как ты меня в ванной запирала темной и как скалкой колотила — помню.

— Да когда такое было! Ты что, обалдел?! — возмутилась Ася. — Да я ж тебя любила! Пеленки стирала, попу мыла! Сволочь ты неблагодарная!

— Аццкий сотона! Опять я — сволочь? А забыла, как ты с подружками печенье мое горчицей мазала?

— Вот, придурок, это ж мы шутили!

— Ничего себе шуточки... — пропыхтел Славка, завязывая шнурки. — А как я тебя по полночи со свиданок ждал? И как мне Нурик твой по шее дал?

— А ты не подглядывай! Ой! Тихо! Проснулась, что ли?

Славка давно ушел. Ася покормила дочку и тоже задремала в спальне.

Лида поставила идеально круглый, смазанный желтком пирог в духовку, вымыла стол, посуду, заварила чай. Вытряхнула пепельницу. Потом отчистила бок холодильника от почерневшей жвачки, вытерла мушиные следы с плафона. Занавески бы надо постирать. И побелить хорошо бы. Она выключила свет, открыла окно и с сигаретой присела на табурет.

Внизу раскинулся пересеченный кривыми дорожками, как пучком артерий с анатомического атласа, пустырь. На нем сгрудилась отара поросших курчавым снегом иномарок. Пейзаж казался уже родным, как запах этой квартиры, как чужие обстоятельства, как новые заботы, как старые летние мозоли.

Луна пропала. Азиатские звезды колюче посверкивали, как осколки разбитого троллями зеркала. А потом, заслоняя звезды вздувшимися темными парусами, строго на север проплыл в обморочной вышине громадный парусник, и с его борта блеснуло странно знакомое слово, сложенное из кусочков льда.

Мария Фарги

Только б не казаться — быть!

* * *

Я не умею шить. И предавать.
Как бабушка, я застелю кровать —
Ни складочки и легкая фата
(О, боже мой, какая красота!)
На двух подушках, белоснежно взбитых,
Из нежности и слов, давно забытых.
И желтая печаль уйдет сама.

Сизифов труд — таких, как я, ломать.

* * *

Ночь глубока и печальна.
Гасит шаги тишина.
Обречена изначально —
Тень, отголосок, жена...

Славься, пречистая тайна
Солнечного волокна!

Выросла теплая пальма
В черном квадрате окна.

Господи! — сердце на части —
Вымолила благодать
Сладкого женского счастья —
Мужа заблудшего ждать.

Как все

Когда сказал ты обо мне: — «Вы все...»
Все те, что — из ребра и что — из грязи.
Я не клялась. Я согласилась сразу.
Жила, смеясь. И плакала во сне.

Мы все любили, верили и гибли.
Нас предавали, продавали, стригли
И забывали, что всего страшней.

В конце смогу, как все, без лишних вздохов,
Сказать, перекрывая сердца грохот:
— Сегодня ветер. Не забудь кашне.

* * *

Точка. Рядом дышит дочка.
До последнего листочка
Не смогу тебя забыть.

Люди, кто меня осудит?
Утром солнышко разбудит...
Только б не казаться — быть!

Здесь училась я любить.
Собираюсь понемногу
В дальнюю дорогу. К Богу.

Цепи золотой арбы.
И венком терновым строчка —
Рядом дышит дочка. Точка.

Фарги Мария — автор поэтических сборников «Тбилисская зима» (1990 г.) и «Время потерь» (2009 г.). В переводах М.Фарги опубликованы стихи Галактиона Табидзе, Тициана Табидзе, Паоло Яшвили, Лии Стура. Печаталась в журналах «Дружба народов», «Литературная Грузия», «Русское слово». Живет в Тбилиси.

* * *

Все будет хорошо, любимый...
 Прозрачный взгляд куда-то мимо.
 Обещанное выполнимо,
 Наверно, лишь на небесах.

Прости мне черное проклятье
 На свадебном, на белом платье.
 Последний волк сегодня плачет
 В покинутых луной лесах.

* * *

Прощай. Твой виноватый взгляд
 Участием мне сердце рвет.
 День без надежды — стыл и клят,
 И горек — поминальный мед.

Но кто посмеет мне помочь
 Над бездной, что меня влечет!..
 Как микеланджелова Ночь,
 Целую я свое плечо.

* * *

Молчи, любимый! Это сберегу
 Одна, на том, на дальнем берегу.

Я с именем — нельзя шепнуть в бреду —
 Тропинками окольными бреду.

Соврал февраль, миндаль расцвел не в срок...
 Кого винить — погоду или рок?

* * *

Почему мне так грустно?
 Вишни светятся вкусно...
 Люстра прячет искусно
 Ржавый крюк в потолке.

Почему мне так грустно?!
 В доме чисто и пусто.
 И озноб от капустной
 Кочерыжки в руке.

* * *

Столько нежности мне не вынести!
 Стану сны хранить и венки плести.

Потеряла я в переулочке
 Ключ от полной чудес шкатулочки.

Было? Не было? Только помнится,
 Что заветное — не исполнится.

Время все быстрее — месяц к месяцу...
 И, когда в окне звезды светятся,

Чую венами и аортою —
 Не живая я, и не мертвая.

Завтра

Завтра я тебя увижу.
 Знаю — невозможно ближе,
 Если небо рядом дышит.

Завтра — невообразимо! —
 Розы на воротах Рима
 Скажут мне, что счастье — зримо.

Завтра — будущего бремя,
 Где, подтягивая стремя,
 Прорастет разлукой время.

* * *

Скошенным жалким перстом
Лоб осенив, ловлю я
Воздух покрашенным ртом —
Смилуйся... Аллилуйя...

Как равнодушна высь
К колоколам престольной.

Боже, прошу, нагнись
И посмотри — мне больно!

Ты, нас учивший любить,
Вещь мне скажи простую:
Смог он меня позабыть
И обнимать другую?

* * *

Как больно резать по живому?
И запоздало понимать
В одном шагу с обрыва в омут:
Я — не жена, не дочь, не мать.

Я — птица малая. Ассарий —
Цена мне. Я вам буду петь

Обрывки из небесных арий.
На кровлю дайте мне взлететь!..

И с этой высоты убогой,
Предельно напрягая клюв,
Я попрошу живого Бога
Хранить вас. Ибо вас люблю.

Сонет

И снова горестен мой хлеб.
Скудна вода. И я устала
Упрямо начинать сначала.
И стих мой темен и нелеп.

Мне быть счастливой не пристало.
Ты прав. Накину черный креп.
Весна украсила вертеп
И соловьем, и розой алой.

А рядом, в этом мире странном,
На солнце тихо греет раны
Змея, влюбленная в мангуста.

Жизнь распадается, как атом.
Зачем же радостно и свято
Я верила тому, что пусто.

* * *

Открыты ворота — беда с поворота!
Пустых огорчений веселая рота.

Висят неотвязно, долдонят о разном,
Прислушаться — жизнь прожила я напрасно.

Во сне не летала, любила несмело,
Тебя под венец подвести не сумела.

Венера остыла, Венецию смыло,
И шило никто не менял мне на мыло.

Но снова, как в детстве игрушку — у мамы,
Пред вечностью Бога прошу я упрямо

Оставить мне то, о чем суетно пела,
И теплую тяжесть любимого тела.

* * *

Уже на самом краюшке
Забытый голос бабушки:
— Баю-баюшки, баю,
Не ложися на краю...

Как любила, как хранила!
Загодя предупредила.

Только зря все это было.
Вверх, хватаясь за перила,
Не карабкалась — парила.

Повторилось, как ни билась.
Так же, как она — разбилась.

Вдребезги.
В бред. В пески.

И вдруг в пустыне, на краю,
Я слышу: — Баюшки-баю...
Горько плакать — сладко спать,
Завтра будет день опять...

* * *

Узнала ткань цыганской шали
Жестокость колкого жнивья.
Меня вели и утешали
Четыре пьяных муравья.

Я все на свете потеряла,
Тетрадочку стихов храня.
Как славно мне ее читали
Четыре пьяных муравья...

А сердце плакало о счастье,
И что оно — не для меня.
И в этом приняли участие
Четыре пьяных муравья.

Мы пели, прыгали, летали
От полновластья бытия!
Под вечер от меня устали
Четыре пьяных муравья.

* * *

Время распустилось, как цветок,
Обозначив грани увяданья.
Я похоронила три желанья
Под горой. Ногами на восток.

Не домашним было то задание,
Но пришлось мне выучить урок:
На Земле всему назначен срок,
Бесконечно только — ожиданье.

Константин Москалец

С ангелом на плече

Рассказ

С украинского. Перевод Елены Мариничевой

Кто-то в сумраке ночей
При Господней при свече
Брел по свету одиноко,
Только ангел на плече.

Шел, возврата не хотя,
Шел лелейно, как дитя, —
Жизни маятник бесцветный
Гонит, в спину колотя...

(Иван Малкович,
«С ангелом на плече»*)

Бамбула жил с того, что разрисовывал пасхальные яйца и продавал их на Подоле. Делал он это искусно, с утонченным артистизмом; буйные, фантастические узоры на писанках никогда не повторялись, а хрупкость гусиных яиц добавляла им ценности. Одно неосторожное движение — и вместо шедевра на ладони жалкие скорлупки. Глядя на эти хрупкие модели мироздания, можно было подумать, что рисовала их мечтательная панна с прозрачными от анемии и тонкими, как ее кисточка, пальчиками. Бамбула был верзилой весом более полутора центнера, запросто гнул подковы, мог бы побороть обоих братьев Кличко зараз, но не делал этого, потому что был Творец, а не.... А еще у Бамбулы во Львове был родной братик Бампер. Об их с братиком бурной молодости до сих пор гуляли по Львову такие ужасающие легенды и мифы, что даже Юрко Винничук боялся их описывать. Бамбула ненавидел Львов и жил то в Киеве, то под Киевом, имея собственную хату и мастерскую. А это уже немало.

Костик приехал к Бамбуле за помощью. Стуча зубами, он выскочил из насквозь промерзлой электрички и, оскальзываясь, побежал по улицам погружавшихся в вечерний сумрак Беличей. Помимо Бамбулы в Беличах обитали рэкетиры, сутенеры, проститутки и бывший рабочий класс, который благодаря нежданной им «незалежности» превратился в деклассированный элемент. Элемент с радостью снимал с прохожих шубы, куртки и шапки, вытряхивал из их карманов злополучные бумажные деньги и мелочь, снимал часы и кольца, а после бросал жертвы под электричку или

Константин Москалец — известный украинский поэт, прозаик, музыкант, бард, родился в 1963 г. в селе Матиёвка на Черниговщине. Окончил Литературный институт им. А.М.Горького.

Автор четырех поэтических книг, пяти сборников прозы, литературной критики и эссе. Последняя книга — «Опыт коронации» признана на Украине «Книжкой года—2009». Произведения Москальца переведены на английский, немецкий, польский и др. языки.

Живет в Матиёвке. На русском печатается впервые.

* Перевод с украинского Татьяны Савченко.

отпускал живыми, в зависимости от настроения и атмосферного давления. В конце концов, в те времена так было не только в Беличах, но и по всей Украине и, следует добавить, России и Белоруссии.

Он обрадовался, увидев яркий свет в окне Бамбуловой кухни. Небольшой домик стоял в глубине заснеженного сада, по утоптанной тропке бегал Черник, вынюхивая свежие заячьи следы. Черник почуял чужого и залился лаем.

Костик долго не мог снять старый кожаный плащ, который превратился в ледяные доспехи средневекового рыцаря, трещал, хрустел и мог поломаться. Потом Бамбула отпаивал гостя крепким горячим чаем. На улице совсем стемнело, стояла, а может, лежала зима, раскидистая яблоня подступила поближе к освещенному окну и на синих сугробах густо обозначилась ее ажурная тень. *Деревья тени натрясли, а яблоч нет*, зато пахло масляными красками, новогодней живицей растворителей, жильем художника. Наконец Костик пришел в себя. Боль от холода и дрожь растаяли в дружелюбном тепле кухни, зеленый чай с жасмином напомнил про Китай, весну, про то, что на свете существует «Книга Перемен» и ей можно верить, а значит, вернулся к Костику и коварный дар богов, речь, его язык отмерз от нёба и он вполне разборчиво сказал:

— Теперь, старик, слушай меня внимательно, хочу попросить тебя кое о чем.

— Проси, — великодушно позволил Бамбула. — Только не очень много.

— У меня вышел второй сборник стихов.

— Чего же ты молчишь? Поздравляю! А ну, покажи.

Костик достал из плаща, от которого все еще несло Антарктидой, книжку, молча положил ее на стол.

— Клево! Чувак, ты какой-то невеселый, это дело надо немедленно обмыть. А из какой это отвратной бумаги обложка? В моем клозете похожая висит.

— Началось.

— Бумага страшненькая. Ну, ничего, ничего... Подпишешь мне экземплярчик.

Костик нацарапал несколько строк.

— Спасибо, старик. Сейчас сходим, возьмем бутылку...

— Бутылку возьмем в другой раз, — понуро сказал Костик. — Я насчитал там больше двадцати опечаток. Но это еще ничего. Старик, они не заплатили мне ни гроша.

— Сейчас никому не платят, — пожал плечами Бамбула. — Радуйся, что издали за так.

— Да. Но они отдали мне *весь* тираж!

— Ну и что? Трагедия! Продашь, станешь крутым, купишь Чернику косточку.

— Да подожди ты, косточку! Знаешь, сколько экземпляров такого дерьма они наштамповали?

— Тысячу.

— Три тысячи!

— Опа-на... — Бамбула схватился за голову.

— Андрей, я должен их забрать и немедленно. Там нужно освободить место, потому что из типографии уже везут новые тиражи и их некуда складывать.

— Ренессанс просто какой-то начался, гляди-ка... Ага! — Бамбула все сразу понял. — И ты хочешь все эти бестселлеры свезти ко мне. НИ-КОГ-ДА!

— Но куда же мне их деть? Положи в мастерской, пусть побудут там до весны.

Потом я их по частям заберу. Старик, ты моя последняя надежда.

— Осталась лишь только надежда одна... — Бамбула подумал. — В мастерскую не положу, — сказал он. — Ты ведь знаешь, у меня уже был пожар. Можно в летнюю кухню. Но там сыро, она не отапливается. До весны они понабрыкают.

— Пусть. Ты представляешь, сколько будет стоять отправить их ко мне домой? За триста километров? Это же машина нужна.

— За машину с тебя триста баксов и слупят. Бензина нигде нет.

— То-то и оно...

— Ладно, договорились. Привози. Только Расскажи, как ты влип в такую фигню?

Костик сделал несколько глотков чаю.

— Всех деталей я еще не знаю. В целом сюжет такой: когда прозвучало должное для некоторых слово «свобода» и мы сбросили колониальное иго, растроганная украинская диаспора Америки подарила — нашей «Спилке¹» — издательский центр. С компьютерами, ксероксами, факсами и прочими прибабасами. «Вот, нате, — сказала диаспора, — чтоб и вы были не хуже других наций, чтоб не тосковали по рабству египетскому, сиречь московскому. Мы слышали, что много молодых писателей в Украине не могут издать свои книжки. Поддержите их. Влейте свежую кровь, сиречь, молодого вина современной поэзии и прозы в новые мехи. Создавайте, холера, державу! Создавайте, сиречь же таки, новую литературу!!! И пусть вам Бог помогает и любовь к родному материнскому слову, а вот вам еще сто тысяч долларов на бумагу и, сиречь, на фуршет».

— И все?

— «Спилка» вежливо поблагодарила, поклонилась диаспоре в ноги, в руки и еще кой-куда, забрала издательский центр и с пением гимна пошла...

— ...и загнала этот центр в Россию.

— Нет, Россия нам теперь по барабану. А вот на киевских развалах начали массово появляться дешевые во всех отношениях детективы и порнографические романы. На русском языке, естественно, наш такого еще не выдерживает.

— Вот мудаки.

— Ни много ни мало, а три лета клево пролетели, но тут диаспора возьми да и спохватись. Ибо начали поговаривать, дескать, то есть сиречь, будто бы у молодой державы в ее хилых институциях какая-то там коррупция завелась. Что ж, с кем не бывает. Но неужели такая мерзопакость могла коснуться совести нации? Ее песенной, барвинковой, соловьиной даже, холера, души? Не ровен час здесь москальская провокация. Украинские писатели столетия и тысячелетия боролись за свободу слова и прочую фигню, а слово теперь строго стоит на страже. Будь ты белый как снег и чистый как лед, а обмолвят с головы до ног. И все же! И все же едем, панове, и удостоверимся. Приезжает Диаспора на Банковую, а «Спилка» ей говорит...

— ...ваш центр уже давно скоммуниздило Русское Национальное Единство?

— Нет. Не забегай вперед. «Хотели бы мы, простите-извините, посмотреть на ваши наработки», — с материнской ласковой улыбкой молвит Диаспора. А «Спилка» ей отвечает: «Щас». Выбежала Спилка за угол, а там поэтов ползает видимо-невидимо. Стихи читают один другому, голытьба, про вечность, красу и славу, и про юную непокоренную отчизну, да, кстати, все скопом размечтались, кто из них будет первым нобелевским лауреатом — выясняют. Рвань, одним словом.

— И среди них ты.

— И я среди них, где же мне еще быть, как не среди своих? Спилка поймала нас штук десять в жменю, занесла в кабинет и говорит — мне, допустим: «Хочешь книжку? Безгонорарную, зато выпустим за так. Часть тиража тебе отдадим. Подаришь своим крейзанутым, а они — тебе. У тебя уже пять лет книжки не выходили, а ты, как-никак, мой член. Соглашайся, бард, пока не поздно, а то передумаю». Чего ты ржешь?

Бамбула ползал по кухне.

— Если Спилка — она, то как ты можешь быть ее *членом*? — простонал он.

— У тебя одно на уме. Вот насшибала Спилка стихов и выдала все сразу за считанные дни. А Диаспора сидит, ждет. Спилка приносит ей кофе и гору вот такого убожества: «Прошу полюбоваться, это наша новая поэтическая серия. Вот Костик, вот Петро, а Лышега отказался, ему, видите ли, не понравилось оформление на нашей туалетной бумаге. Перебирать уже стали, видите, литературный процесс пошел и пошел... обещал вернуться. Да, кстати, дайте нам еще сто тысяч. На оформление, а то художники забурели, не хотят больше «за так» публиковать свое творчество на обложках. Ренессанс, кароч. Облилась Диаспора горячими и обильными, поцеловала Спилку в... Андрей, в лоб она ее поцеловала, а не туда, куда ты показываешь, еще сто тысяч и рушничок вышиваный из Филадельфии на счастье, на долю, блин, дала, после чего скрутила fuck you враженьке на северо-восток и, поправив

¹ «Спілка письменників» — Союз писателей (укр.).

лапшу на ушах, полетела на свою чужбину. А Спилка — зырк в окно, за которым мощно гудит самолет в Нью-Йорк, словно приговаривая «карр...карр...», хватить телефонную трубку и говорит мне: «Слушай, казел, забирай эту рвань, чтобы завтра и духу здесь ее не было, нам «Эммануэль Арсан» негде складировать».

И вот я у тебя. Ох и дубарь же на улице...

* * *

От Бамбулы Костик позвонил в Киев.

— Фил? Добрый вечер.

— Рад тебя слышать.

— Сейчас твоя радость пропадет.

— А ты где?

— В Беличах, но уже еду в Киев. Фил, у тебя есть «кравчучка»¹?

— Теперь у каждого порядочного украинца есть «кравчучка». А что?

— Наверное, я непорядочный украинец. Фил, у меня вышла книжка.

— Так это же здорово! Поздравляю! Подаришь мне одну?

— Я тебе подарю тысячу. Или две, сколько захочешь. Фил, у меня к тебе большая просьба. Не мог бы ты взять «кравчучку» и подъехать с ней к нашей «Спилке»? Мне нужно забрать там несколько пачек книг. Остальное расскажу потом.

— О чем речь! Конечно, могу. Через час буду.

— И я через час там буду. Спасибо, старик. Одевайся теплее, а то такой мороз, что птицы падают.

Фил был одним из самых надежных друзей Костика. Его доброта и интеллигентность не имели границ. Он, потомок славного аристократического рода, окончил физико-математический факультет киевского Политехнического и ковал броню на «Арсенале». Среди неисчислимых его достоинств было и то, что он не писал стихов. Зато любил поэзию и бардовские песни, неплохо рисовал, и у него имелась прекрасная коллекция старого рока. Когда Костик навещался в Киев, он почти всегда останавливался у Фила. Они допоздна сидели за гитарой, кофе и рюмкой, обмениваясь мыслями по поводу интересных событий в искусстве; нигде ему не было так хорошо, как в этой просторной квартире, где Фил жил вместе со старенькими родителями и приветливой, милой, всегда улыбающейся сестрой-художницей; где за окнами стояли стройные тополя, достигавшие своими верхушками восьмого этажа, где было множество редкостных вещей, привезенных Филом из его летних археологических экспедиций — монеты-«дельфины», фрагменты амфор, рога сайгаков и шкуры мамонтов, подковы динозавров и перья из хвостов птеродактилей, жар-птиц и археоптериксов, рукояти мечей и глиняные казацкие люльки. Фил, к слову, держал целый ящичек обкуренных трубок с длинными мундштуками, у него всегда кстати оказывалась пачка пьянящей «Амфоры», да к тому же он непревзойденно варил кофе.

Бамбула проводил Костика на электричку, опасаясь, что местным рэкетирам не понравится либо сутулая двухметровая фигура поэта, либо его очки. С него нечего было содрать, но это уже само по себе заслуживало смертной кары. Стоял лютый январский мороз, и снег аж свистел от их шагов, то и дело вспыхивая сорокаградусным огнем. Вверху сияли холодные руны, выложенные колючим светом звезд, и низко провисали под тяжестью густой шерсти инея провода. Они договорились, что завтра Костик найдет машину, а Бамбула подъедет к семи часам в Союз писателей и поможет погрузить книжки.

Костик боялся холода больше, чем какой-либо рэкетни. Он вбежал в жарко натопленное здание Союза писателей, непослушными пальцами на ходу расстегивая грубый, кустарного пошива черный кожаный плащ, стаскивая с головы серую кроличью ушанку и снимая очки, которые мгновенно запотели. За несколько безумных дней, прошедших после выхода его книжки, вахтеры уже привыкли к сутулой фигуре «бедного родственника издалека», к его заполошной беготне и вели себя с

¹ Хозяйственная сумка на колесиках — такие повсеместно вошли в обиход на Украине времен распада СССР и президентства Леонида Кравчука.

ним приветливо, чуть ли не панибратски, предлагая даже передохнуть и выпить с ними, скажем, чаю. Костик забежал в туалет, сунул окоченевшие руки под холодную воду и замер, со страхом прислушиваясь к ледяным перекатам внутри своего тела. Особенно ломило от мороза пальцы под ногтями — у него аж слезы на глазах выступили от боли. Эта красно-лазурная кожа чужих и неживых рук о чем-то ему напоминала, через минуту он уже понял, о чем именно.

— Холера, — вслух сказал Костик, близоруко щурясь на свое отражение в зеркале — это было пятнадцать лет назад. Мы с Вовчиком развели костер в парке, среди снегов, и пили крепленое вино на жутком морозе, а вокруг, на зимних деревьях, сидели сотни замерзших, окоченевших птиц. И тогда Вовчик возьми да и скажи: «Когда-нибудь мы вспомним этот день. Лет через двадцать. Тогда все будет иначе». И мы пророчествовали, что Украина станет свободной, а мы наконец открыто напечатать свои стихи. И вот, наши пророчества сбылись так быстро, и я приехал забирать вторую книжку, и желто-синий флаг трепещет над Верховной радой, и куда ни плюнь, везде он трепещет, хотя в те времена такое не могло даже присниться, у нас не было ни малейшего представления, как он выглядит, этот флаг, где там синее, а где желтое... Пророчества сбылись, но в моем сердце нет ни капли радости, потому что такой нищеты мы не могли с тобой предвидеть, Вовчик, как и того, что эти стихи окажутся абсолютно никому не нужными, ни мои, ни твои, и ты будешь по ночам собирать окурки возле ресторана, потому что не сможешь заработать на коробку дешевых сигарет, не предвидели мы и того, что эти чертовы руки могут так нестерпимо болеть от холода.

Он насухо вытер руки носовым платком, протер и снова надел очки. Обычное лицо. Пророки выглядят совсем иначе. Пошли, пророк, в вестибюль.

Через четверть часа прибыл Фил, сияя голубыми глазами и соскребая иней с каштановой бородки. За собой он тянул «кравчучку», напоминая школяра, который допоздна катался на санках и забыл выучить уроки на завтра.

— Привет, — сказал Фил. — Так где тут жемчужины мировой лирики?

У Костика отлегло от сердца. Он повел Фила в один из кабинетов на первом этаже, в нескольких словах рассказывая историю злополучной радости, нежданно-негаданно свалившейся ему на голову. Слова в основном были односложные. Фил усмехался в усы и молчал.

— Все будет хорошо. Не переживай ты так. Заберем мы твои книжки, ты их постепенно продашь и купишь себе...

— ...«кравчучку».

Кабинет был заставлен до самого высоченного потолка пачками с книжками. Между ними приткнулся крошечный письменный стол, за столом кемарил подвыпивший клерк в таких же, как и у Костика, очках.

— Это все твое?! — ужаснулся Фил, увидев бумажные Гималаи.

Клерк, очнувшись, подхватил:

— Нет-нет, только эти двадцать восемь пачек. В каждой — по сто экземпляров. Одну сотню мы отдали в «Поэзию», еще одну — в «Сяйво»¹. Больше нигде не берут.

— Я знаю, — раздраженно сказал Костик. — Их продают по цене коробки спичек. Продавцы смотрят на меня так, словно я им предлагаю откровенное описание группового секса. С цветными иллюстрациями.

— Э-э, не скажите. Если б вы им предложили описание группового секса, эти бы книжки с руками оторвали. Даже, хе-хе-хе, в «Академкниге».

— Вам лучше знать, — не удержался Костик.

— Распишитесь-ка здесь.

— Но я сегодня не могу забрать все книжки, только несколько пачек.

— Вам же было четко сказано: забирайте немедленно, из типографии везут тиражи других книг! — обозлился клерк.

— А где я возьму машину?

— Это ваши проблемы.

¹ «Поэзия», «Сяйво» — книжные магазины в Киеве.

Фил невозмутимо складывал пачки с книжками на «кравчучку». Поместилось пять пачек. Книги были отпечатаны на тонкой, чуть ли не папиросной бумаге, крест-накрест перевязаны шпагатом.

- По дороге могут разорваться, — встревожился Костик.
- Ничего, как-нибудь доведем. Главное, чтоб в метро выдержали.
- Еще две я в руки возьму.
- Но у тебя же нет перчаток! Возьми мои.
- Не стоит, спасибо, не надо.

Не попрощавшись с клерком, они вышли из Союза писателей и направились к метро. Колесики «кравчучки» жизнерадостно запищали на всю Банковую. Костик хотел оставить несколько сот книжек в Киеве: вдруг тронется умом какая-нибудь из заведующих киевскими книжными магазинами или случится что-нибудь еще счастливо неожиданное. Может, устроим творческий вечер... Не гонять же каждый раз в Беличи. Фил согласился сложить несколько сотен книг у себя в квартире.

Первая пачка треснула, как только Фил поставил «кравчучку» на эскалатор. Сто книжек весело юркнули вниз по ступенькам, под ноги уставшим людям, возвращающимся с работы. Сначала это вызвало волну интереса и общего оживления. Все подумали, что это два иеговиста или кришнаита придумали оригинальный способ распространения божественной литературы. Но увидев, что это всего-навсего какие-то песнюшечки на малопонятном языке, все тут же скисали.

На Фила все это не произвело никакого впечатления. Костик же нервно шарил в карманах в поисках валидола.

— Инженерное мышление, — Фил постучал себя пальцем по голове, обтянутой шерстяной шапочкой. — Я это еще дома предвидел.

И достал громаднейший пластиковый пакет. Костик поставил свои пачки на ступеньки эскалатора. Перекатывая языком во рту таблетку валидола, он побежал вниз, собирая книжки.

* * *

— Нет, увольте, я терпеть не могу украинские вирши, — высокая блондинка в роскошной длинной шубе не скрывала брезгливости.

— Но отчего же? — Костик с удивлением взглянул на ее золотые волосы.

— Да, пожалуй, оттого, что от них за версту разит кустарщиной. Вот как от вашего плаща, — уточнила она.

— Бедность не порок, — нашелся Костик.

— Нет, милый друг, теперь, — она произнесла «циперь» — теперь это порок. Вы бы делом занялись, вместо того, чтобы шататься с этой тачкой, нагруженной макулатурой. «Мамо», «тоскно»... Ставлю сто долларов против ста купонов, что в вашем сборнике есть слово «мамо».

Костик покраснел и ничего не ответил.

— Вот видите! Вы должны мне сто купонов! — обрадовалась блондинка.

От нее пахло изумительными духами и коньяком. Обычно такие в метро не ездят. Он молча достал сто купонов и протянул красивой змее. Ее перчатки тоже были из змеиной кожи. Или, может быть, из девичьей, — гибкие, душистые, ладно обтягивающие узкую ладонь с длинной тонкой кистью.

Блондинка аккуратно разорвала купон и бросила клочки вниз. Теплый воздух, которым дышало метро, подхватил оранжевые обрывки, закружил их миниатюрной вьюгой; один лоскут, тот, что с трезубцем, сел на рукав кожаного плаща, оранжевый январский мотылек.

— Оранжевый январский мотылек, — произнес он зачем-то вслух и сощелкнул бумажку.

— Недурно. Неужели вы и впрямь настоящий поэт? Но ведь ваш язык... Ваш надуманный язык, созданный в кабинетах, он просто ужасен. Как можно быть поэтом в *таком* языке? Он мертвый, он книжный... В нем триста совершенно загадочных правил, которые исключают именно те слова, которыми все пользуются на самом деле и которые всем понятны без словарей... Вы никогда не скажете по-человечески: «занавеска», вы непременно будете вешать эту польскую «фиранку», не чувствуя ее

этимологии и связи со всей корневой системой языка. И так с каждым словом, на каждом шагу. Вы будете заимствовать из польского или немецкого, любого другого языка, лишь бы заимствованное слово не имело даже тени подобия с языком русским. Но ведь это совершенно головная идея. А потом вы удивляетесь, что никто не хочет читать стихи на этом волапюке. Хорошо, давайте я куплю ваш сборник. Сколько вы хотите? — снова ошарашила она медленно вскипающего Костика.

Они сошли с эскалатора и остановились. Костик вынул из пакета мокрую книжицу со свежим следом крупного мужского сапога на белой обложке.

— Я писал эту книгу пять лет, — задумчиво сказал он, — во многом, очень во многом отказывая себе. Поэтому думаю, что сто долларов за экземпляр будет вполне приемлемой ценой.

Блондинка вспыхнула и, сняв обе перчатки, достала из крохотной сумочки несколько зеленых банкнотов.

— Вот вам сто долларов. И купите себе сносное пальто.

— Меня вполне устраивает мой плащ. Мы с ним уже так сроднились за эти годы, что он стал мне чем-то вроде брата, — отдавая книжку, сказал Костик. Глядя ей в глаза, он аккуратно изорвал стодолларовую бумажку на мелкие части и бросил их в блестящую металлическую урну.

— Надеюсь, вы никогда не будете сожалеть... об этом, — блондинка опустила глаза и, пожав узкими плечами, исчезла в толпе.

* * *

Рассыпались на ветру — и висят случайные, неумолимые карты судьбы. Но сквозь дым, что поднимается из урн, где жгут мусор, — разве разглядишь их? Да и короли все — голые. И сам ты не лучше: внутри тебя не в шутку соорудили себе метро сомнения и страхи — избранники могущественных сил. Но знаешь ты: еще не перемешали равнодушные руки эти равнодушные карты, и олух зреет в каждом из здесь присутствующих.

До Политехнического они с Филом доехали без приключений, но когда подошли к трамваю, разорвалась следующая пачка. Фил опять достал из кармана пластиковый пакет, и Костик собрал свое непослушное богатство. Чтоб уберечься от дальнейших неожиданностей, Фил купил еще два пакета в ночном киоске, обвешанном для красоты рубиновыми и сапфировыми огоньками. Это был верный шаг, потому что, когда они выходили из трамвая, у двух предыдущих пакетов оборвались ручки, а третья пачка высыпалась прямо на трамвайные рельсы. Вечерняя публика наслаждалась бесплатным шоу: два интеллигента ползают по заплыванному шелухой от семечек снегу и собирают книжки, не обращая внимания на отчаянные звонки трамвая. В конце концов вагоновожатый не выдержал и, не переставая звонить, направил трамвай прямо на Костика. Костик поскользнулся и упал на рельсы. Фил выхватил его из-под колес в последний момент и посетовал, отирая пот со лба:

— Что-то к вечеру стало жарко.

— Чтобы я... еще когда-нибудь... после всего этого... писал стихи, — задыхаясь, сказал Костик, — да никогда в жизни! Ты — свидетель!

— Успокойся, — утешал его многотерпеливый Фил. — Все хорошо. Главное — остаться в живых и добраться до «Героев Севастополя». Может, со временем эту улицу переименуют в нашу честь — «Героев Самиздата». Вот если бы ты писал исторические романы, мы б их наверняка не довели. Подожди здесь, я схожу за бутылкой какой-нибудь анестезии. Праздник, как-никак.

Фил пошел в подземный переход, где был киоск, а Костик остался с «кравчукой» и тремя пакетами, кое-как набитыми книжками.

Возле него сразу выросли два милиционера.

— Ты что тут продаешь?

— Ничего.

— Рассказывай. Мы видели, как вон тот брал у тебя сдачу. Лицензия есть?

— Это мой друг, я дал ему деньги на сигареты.

— Ага. И где вы нап...или столько книг? Пропаганду распространяем... А ну,

показывай! Кароч, влипли вы! Щас пройдем в отделение, составим протокол. Переночуете там, утром вызовем следователя...

Один взял Костикову книжку и стал листать.

— Тю, да это ж стихи!

— Какая разница? — сказал другой. — Где-то склад обчистили. Эти четырехглазые знают, что брать.

Костик достал удостоверение Союза писателей и давай объяснять, кто он такой и почему у него так много книг. Ему нисколько не хотелось идти в отделение, где сидели пьяные бомжи и больные спидом проститутки, а милиционеры, забыв обо всем на свете, до утра играли в подкидного дурака. Ему хотелось доползти до дома Фила, выпить немного московского антидепрессанта, чего-нибудь съесть и согреться хоть один раз за весь этот сумасшедший день.

— А, дак это писатель, — догадался один из милиционеров и вернул свидетельство. — Дурак всегда с писаной торбой ходит, а писатель — с книжками.

Они захохотали и пошли прочь, лузгая семечки.

★ ★ ★

Дома Фила и Костика встретили так, как и следует встречать настоящих героев. Сохраняя комичную важность, Фил рассказывал отцу и сестре про ледовый поход и дорогу жизни, полную испытаний и соблазнов, про множество опасностей, угрожавших на каждом шагу их свободе и достоинству.

— И тогда Костик, высоко подняв голову и гневно сверкая глазами, говорит ей: «Украинские поэты так дешево не продаются, мадам!». И рвет купюру на тысячу мельчайших центов!

— А она?

— А она... а она весь вечер будет сидеть грустна¹. Заговорила на свою голову с романтиком. Будет теперь читать для разрядки Костикову книжку. А потом на нас напал трамвай...

Они сидели в комнате Фила и слушали старый добрый «Пинкфloyd». Фил щедро угощал гостя, рассказывая о тонкостях воспитания молодых собак. Его Джесси, внимательно слушавшая речь Фила лежа под столом, переводила взгляд на Костика и он, втайне от Фила, — ибо тот как раз приводил пятнадцатый несокрушимый аргумент в доказательство того, что чужие не должны кормить молодых необученных собак, — бросал ей очередной кусочек котлеты.

Потом они долго думали, где взять машину, чтоб отвезти книжки в Беличи, и наконец вспомнили про Сашку.

Сашко был однокурсником Костика по Литературному институту. Они вместе ездили на сессии в Москву, вместе слушали лекции и прогуливали их, ходили в музеи и на выставки, живя в одной комнате общежития. Собственно говоря, Сашко-то и познакомил его с Филом. Однажды Фил, ездивший в командировку в Невинномысск, застал обоих в Москве как раз во время сессии и задержался в литинститутском общежитии на двое суток. После чего целый год уверял киевлян, что побывал в раю. Ему показали такой бурный литературный процесс, что потом все хвalebные отзывы о «Московиаде» Андруховича не вызывали у Фила ничего, кроме сардонической ухмылки.

— Бледная копия, — надменно говорил Фил. — Андрухович подслушал сомнительные слухи, которые кое-как сублимировались на его седьмой этаж. А я, я сам! — ходил за водкой в таксопарк в третьем часу московской ночи. Что же он там пишет, этот ваш Андрухович? Будто бы люди падают с седьмого этажа и разбиваются, потому что их не выпустила из общежития вредная москалька-вахтерша? И сразу закатывает истерику: ах, как вы можете жить в такой стране, где люди гибнут среди ночи от тоталитаризма и абстиненции, ох, почему же вы так провонялись несвободой?! Сам создает проклятые вопросы ваш Андрухович. А я — я! — должен предостеречь, что все это — художественный вымысел, фикция и коварная инсинуация против золотой

¹ Строчка из широко известного в Украине шлягера «Вона» на стихи К.Москальца.

души — бабы Киры. Она один раз не пустила Андруховича за водкой — и вот тебе, получай! — он на двух сотнях страниц строчит оскорбления и приговор всей Империи. А к бабе Кире нужно подходить умеючи. Мы с Сашком и Костиком сумели подойти к бабе Кире. Мы сказали ей: «Бабушка, голубка, ты всем помогаешь; у нас тут горе, может, угадаешь?» В ответ на это баба Кира произносит ритуальную фразу: «Ребята, у вас опять закончилась водка; но я вас никуда не пущу, идите спать, вам же завтра на занятия». Но это ПАРОЛЬ! И нужно знать ОТЗЫВ, иначе она пошлет вас туда, куда и Андруховича послала. Надо наклониться вот так и прошептать ей на ушко, заросшее седой щетиной: «Бабушка, но ведь мы же и вам нальем!» И — все! Никаких проклятых вопросов, все двери — настежь, и вся Москва, готовая благодаря сердобольной бабе Кире предоставить вам КИР среди ночи, покорно ложится к вашим ногам! Свободы в Москве столько, что в ней можно утонуть, недаром же есть поговорка: «Не зная броду, не лезь в свободу!» Мы с Сашком и Костиком ходили за свободой трижды! А под утро баба Кира нам еще и огурчиков соленых вынесла.

За годы после института Сашко стал заправским киевским буржуа. Он женился на хорошенькой бойкой девушке, основал собственный культурно-искусствоведческий журнал, где печатал Костиковы произведения, не забывая платить гонорары, а еще носил очки с круглыми стеклами, галлюцинаторно напоминая Миколу Зерова, и его утонченные стихи так воспроизводили и будто дополняли дух живой неоклассики, что Костику не раз приходило на ум: что если это действительно Зеров в своем новом воплощении? Зеров, вернувшийся в Киев, чтобы продолжить то, что оборвала пуля энкавэдэ?! Сашко отмахивался: «Нет, я не Зеров, я другой, не навязывай мне раздвоение личности».

И вот они позвонили Сашку, передали ему привет от бабы Киры и выложили суть дела. Сашко подумал и сказал, что попросит машину у отца.

— Зачем тебе сто долларов, если у тебя есть сто друзей? — улыбнулся Фил. — Я же говорил, что все будет хорошо.

* * *

Среди ночи Костик внезапно проснулся. Сначала показалось, что его разбудил шум электрички и знакомое, характерное, ритмическое колыхание бессознательно-го, когда образы и предложения выталкиваются и подходят уже готовыми, только успевай записывать, пока это еще длится, и он уже пожалел, что нет под рукой авторучки и чистого листа бумаги, — и то и другое он всегда держал дома недалеко от кровати как раз для таких случайных неотвратимостей; и разозлился на себя за то, что он не дома, а таскается по чужим городам и людям, какими бы приветливыми и гостеприимными они ни были. Но, прислушавшись к себе, он понял, что это не стихи, во всяком случае не *его* стихи, — это пульсировал ритм долгожданной оттепели, мечтательное раскачивание, точные и размеренные вспышки капель, звучащие отстраненно, сами по себе, — они не были предназначены ни Костику, ни кому-либо еще, — узнаваемые и ничьи, ни о чем, и в то же время ощутимые и чувственные, как касание. *В осінні вечори, у вечори студені, непевне все якесь, як ворожбистський віск...*¹

Фил всегда уступал свою комнату гостю, а сам ночевал в комнате родителей. И все же Костик чувствовал, что кроме звуков капли в комнате есть еще кто-то. Это его удивило, потому что комната Фила была такой же спокойной, как и ее хозяин; тут никогда не снились кошмары, не прогуливались привидения и даже скрип паркета не раздражал. В то же мгновение, как он это подумал, паркет и заскрипел. Костик, не выдержав, подхвратился на постели, нащупал в изголовье на стене выключатель.

Возле кровати, высунув длинный красный язык, сидела Джесси, которую с вечера забыли выпустить. Костик вспомнил вчерашнюю лекцию Фила и подумал, что собака, видимо, хочет пить. Еще бы! Столько котлет съесть! Ее мисочка с водой была на кухне. Придется вставать. Костик осторожно открыл дверь и позвал молодую необученную собаку за собой. Джесси так жадно приникла к воде, что ему тоже

¹ В осенние вечера, в вечера студеные, все какое-то неясное, как гадательный воск.

захотелось пить. Он взял стакан и открыл кран. Воды не было. Тогда он заглянул в холодильник и увидел молоко. Джесси тоже хотела молока. Костик поделился с ней, шепотом пожелал ей спокойной ночи и вернулся в комнату.

Но сон уже пропал. Он сел на подоконник и стал глядеть на застывшие острые верхушки тополей, на занесенный снегом пустой тротуар, на неподвижный и поэтому кажущийся призрачным свет единственного зимнего фонаря. Услышанный ритм, отметил он про себя, все еще пульсировал — *при місяці гладкім висвічує легені карпатський (іздалека почагарілий) ліс*¹ — и вспомнил, что ему снилась лодка. Вместе с покойным соседом, пастухом и заядлым рыбаком, они переплывали Сейм... да, Сейм тек вспять, с Запада на Восток, а лодка была стеклянной! Костик замурлыкал себе под нос «The Crystal Ship» Моррисона и сразу затряс головой — нет, это не тот ритм. *Ба й ти на цім даху, нудьги і жаху повен, почагарів, примерх, вино допив давно...*²

Где я, черт побери, мог видеть ту блондинку? О, началось. Нигде. Постоянно ты ищешь подобий, схожестей, корреляций, как допотопный гадатель находишь соответствия и связи между созвездиями и названиями трав, между фигурами растапливаемого воска и случайными прохожими, придаешь значение соседству вещей и мест, символике снов и проекциям подсознания, а как же, рот — это Венера, нос — кадуцей Меркурия, познание как пророчество, герменевтика следов и шифров, ослепленных лукавым и неуловимым трансцендентным для тебя одного, палата номер шесть, постисторическая шизофрения, слышали уже, поехали дальше.

Но я ее видел.

В кино.

Нет.

Где я ее видел?.. Как легко она отдала деньги. Наверное, для нее они не представляют ценности. И такой же неживой свет, синеватый или оранжевый, равномерный, как у этого фонаря, как падение капель на металлический отлив за окном, равномерный стук и мертвенное, нечеловеческое освещение, как в метро, как в ...

Костик похолодел.

— ...в подземном переходе! Как же ты меня обдурила! А перед этим в баре на Нимфенбургерштрассе!

Ты поднялась по ступенькам из подземки, длинные золотые волосы отливали призрачным звездным сиянием и холодной сверкающей пылью оранжевых фонарей, ты подала мне руку, помогла подняться, и я встал в полный рост, я ощутил себя высоким, а вокруг спал Мюнхен и стояла **адски** поздняя осень, и ворота Нордфридгофа были закрыты, потому что еще рано, сказала ты, и отвела меня в украинский Дом, и угостила гроздью темно-синего винограда, и говорила ты тогда на украинском, а мне еще никто не поверил, когда я рассказывал про эту встречу, никто, кроме Оксаны, бывшей жены Фила, она поверила, но сказала, что ты была моей смертью; смерть, что водит за руку? смерть, которая угощает виноградом? зачем ты меня обманула на этот раз?

Костик встал с подоконника, потянулся и, не сводя глаз с одинокого фонаря в его ночном сиротстве, дочитал вслух:

Хоча тут гарно мріяти про човен,
А надто якщо в нім скляні облявки й дно³.

А потом лег и заснул, не просыпаясь больше до самого утра, когда Фил приоткрыл скрипнувшую дверь и в комнату вбежала веселая Джесси, сразу бросившаяся облизывать его щеки мокрым жестким языком.

¹ При полной луне высвечиваются легкие карпатского (издалека — словно заросшего кустарником) леса.

² Глянь, и ты на этой крыше, печали полон и страха, зарос кустарником, поблек, вино допил давно...

³ Хотя здесь хорошо мечтать про лодку, Особенно, если у нее стеклянные борта и дно.

* * *

В шесть часов вечера Костик переступил порог Союза писателей. Там уже стоял абсолютно «готовый» Бамбула и организовывал братание с вахтерами. Держа в правой руке литровую бутылку израильской «Стопки», а в левой — чашку, из которой Костика позавчера угощали чаем, Бамбула строго спрашивал одного из вахтеров:

— Брат?

Испуганно озираясь вокруг, тот по-заговорщицки тихо отвечал:

— Брат.

— Пей, брат.

Он наливал очередную чашку. Бутылка была наполовину пуста.

— А вот и ты. Брат?

— Тамбовский волк тебе брат, — сказал Костик, выпивая жидкость, отдающую смородиной. Он снова продрог до костей да еще и ноги промочил. — Где ты взял эту гадость?

— Тамбовский... — задумался Бамбула.

— Сашка не было?

— Сашка не было. Был Мушкетик. Был Дрозд. Был Драч. Был Панас Мирный. И Леся Украинка была.

— И ты всех угощал?

— Нет, чуваки не захотели. Сказали, что сейчас вызовут «Беркут». Я подумал... — постой, что я подумал? Ага, я подумал, что «Беркут» приедет на машине и мы договоримся с чуваками, чтоб они отвезли твои книжки ко мне. Но «Беркут» не приехал. Может, они бастуют. Драч ушел. Потом Дрозд. Потом Леся Украинка. Потом Мушкетик. Последним ушел Панас. И я остался один. Как тамбовский брат. Твою мать, Костик, куда ж это ты меня втянул! Я еще ни разу не видел так много классиков!.. Пей.

— Скоро приедет Сашко, мы погрузим книжки, отвезем в Беличи и ты ляжешь спать. Все будет о'кей, — успокаивал Костик.

— О'кей не будет. Блин, как у меня тяжело на душе, старик. Леся Украинка! Я же ее еще в школе изучал. Когда жизнь пролетела? Я-то думал, она давно умерла. А этот чувак, — Бамбула кивнул на вахтера, — говорит мне: «А вон пошла Леся Украинка». Он тут всех знает. Стоп, анекдот вспомнил. Приходит чувак на озеро ловить рыбу. Сделал прорубь, закинул, ждет. А тут — бульк! — из проруби высовывается карась, обоими плавниками держась за голову. «Мужик, у тебя выпить есть?» — спрашивает карась. Чувак ему — «Нету». «А шо ты здесь вапще делаиш?» — «Ну как это шо?! Вот сижу, жду клева», — говорит мужик. — «Е-е...» То есть не так. «Э-э, — говорит карась, — сиводня клева ни будит, клево было вчира». А вот и Сашко. Пей, Сашко.

— Добрый вечер, — поздоровался Сашко. — Едем?

— Едем! — обрадовался Костик. — Старик, я тебе этого никогда не забуду.

— Поблаговаришь моего отца. Машина с его работы.

Клерк, к которому незадолго до того заходили Бамбула и «Стопка», тоже был братом. Он широко раскрыл куцые объятия и кинулся помогать носить книжки. Их складывали в багажник «Жигулей», а потом на заднее сиденье. Несколько пачек разорвались еще в кабинете клерка, две в коридоре, одна на пороге черного хода, к которому подъехала машина. Всюду валялись сотни Костиковых книжек. По ним ходили, их пинали ботинками, они валились в грязь, образовавшуюся из-за оттепели, их собирали, их проклинали.

— Мы же недавно изучали «Лесную песню»! Я сочинение на «отлично» написал! Я тоже мог стать поэтом! И так сразу постарел; когда это случилось? почему? — громко причитал Бамбула, таща на себе четыре пачки сразу.

— Что это с ним? — испугался Сашко.

— Он сегодня встретил здесь Лесю Украинку. А это, сам понимаешь, не проходит бесследно. Но он не буйный. Пока что, — уточнил Костик и подписал бумажку, с которой за ним по пятам бегал клерк. Итого он получил на руки две тысячи восемьсот экземпляров своей книжки.

Сашко сел возле водителя, они с Бамбулой втиснулись на заднее сиденье. Водитель не скрывал раздражения — за это время он мог бы неплохо заработать,

мотнувшись по Киеву, а так должен жець государственный бензин за фу-фу и, исполняя распоряжение шефа, тащиться в Беличи безо всякой надежды, что эта голь, он уже все про них понял, ему заплатит. Он демонстративно опустил стекло со своей стороны, чтоб не дышать Бамбуловым перегаром. Выехали со двора и повернули направо; Костик успел увидеть, как перед парадным входом затормозил военный «газик» и из него выскочили трое громадных парней в черных бушлатах с белыми буквами «Беркут» на спинах. Они метнулись в здание Союза писателей, но Бамбула их уже не фиксировал, он сладко храпел, обнимая могучими лапами пачки с утонченной поэзией.

Киев торопливо промелькнул за окном машины разноцветными огнями, и автомобиль выскочил на пустую трассу. Кое-где жались к обочинам одинокие спекулянты бензином. Сашко сидел впереди и, обернувшись, рассказывал про свои невероятные приключения на позавчерашнем приеме, устроенном шведами («я пришел оттуда Абсолют-ным шведом!»), вокруг лежали темные снега, пролетали молодые сосновые посадки, машину слегка водило, — начинался гололед, и Костику всего уже было достаточно. Достаточно книжек и откормленных союзписательских функционеров, хамоватых шоферов и рогатых быков-милиционеров, а также садистов из «Беркута»: его одинаково мutilо и от добродушных союзписательских вахтеров и от бездушных беличанских рэкетиоров; *намарні люди, котрих навіть Бог не в змозі пригадати на обличчя*¹; он хотел вернуться домой, отоспаться и отогреться, с головой нырнуть в Глубокую Провинцию, в священный, как говорил Элиот, лес и оказаться среди Своих. Он рассказал Сашку о дороге жизни, которую они вчера прокладывали от Союза писателей к дому Фила, и убеждал друга в том, в чем тот сам был абсолютно уверен: поэты не должны волочь собственные книжки на «кравчучках», поэты должны получать заработанные ими гонорары и не покидать кельи и уединенные кабинеты ради бездомных блужданий по городам в поисках потенциальных покупателей и продавцов своих произведений; а потом проснулся чумной Бамбула и открыл ворота, и они снова таскали ненавистный груз, теперь — в летнюю кухню, где стояла разваленная печь и висели покрытые инеем нити паутины; книжки сваливали на грязный пол, и снова рвались пачки, и снова они рассыпались на снегу как случайные карты судьбы, и электрический свет бил в глаза, и психовал водитель, и разрывался от лая Черник. В ту же ночь Костик надолго, на всю зиму уехал из Беличей, оставив Киев, а Бамбула, накрыв мешковиной бесформенную груду, которая напоминала ему новопреставленного покойника, закрыл на ключ летнюю кухню, покормил Черника и отправился спать, горько всхлипывая: «Ни доли, блин, ни воли нет у меня; как же так? как же это так?! — Осталась лишь только надежда одна: блин, что же там дальше, Леся?».

¹ Напрасны люди, которых даже Бог не может вспомнить в лицо.

Павел Антипов

Живет такой Леха

Рассказ

Денису Дробышеву

1

— Девушка, где у вас кровати?

— В середине зала, — продавщица смотрела сквозь Мишку и сквозь витрину на улицу.

Мишку это совершенно не корбило. Во-первых, он знал, что продавщица не девушка, а сорокалетняя бабища, крашенная хной, во-вторых, он не встречал еще продавщиц, которые бы вели себя по-другому.

Мишка пошел в центр магазина, покрутился между кроватями и вернулся к продавщице. Хлопнула дверь: вошел еще один посетитель.

— Девушка, а детских нет? — спросил Мишка у продавщицы.

— Чего детских?

— Кроватей.

— Вы что, сами не видите?

— Сам не вижу.

Продавщица перевела взгляд на Мишку и повысила голос:

— Раз не видите, значит, нет!

Тут неожиданно в разговор вступил недавно вошедший парень, на вид Мишкин ровесник.

— А если кровати все-таки есть, но Михаил не видит?

Мишка обернулся на знакомый голос:

— Леха!

— Мишка!

— Не ожидал, не ожидал! — приговаривал Мишка, тряся Лехину руку.

2

От Лехи много чего не ожидали. Первый сюрприз в жизни Леха преподнес своей маме, когда вместо девочки родился он. А мама уже и имя придумала... Во время прививок и уколов, на которые обречены все мы в начале своей жизни, Леха не плакал, как это делаем мы, а смеялся. Ну не хохотал, конечно, он ведь не сумасшедший, но уж, как минимум, улыбался, что очень пугало врачей, и те советовали Лехиной маме свозить ребенка на обследование в психоневрологический диспансер.

Антипов Павел родился в 1981 г. в Минске, учился в экономическом университете, затем в Белорусском колледже и на ВЛК Литературного института. Работал аранжировщиком, главным бухгалтером, упаковщиком, курьером, журналистом. Рассказы напечатаны в журналах: «Дзеяслоў», «Паміж», «Студия», «День и ночь», «Монолог», «Илья»; сборниках: «Групавы партрэт з бабай Броняй», «Новые писатели», «Святая праўда ды іншыя казкі». Финалист белорусских и российских конкурсов, участник Форума молодых писателей в Липках. Живет в Минске. В «ДН» печатается впервые.

Школу Леха не любил. Не раз бывало, что вместо занятий он шел в гости к Мишке, родители которого рано уходили работать на радиаторный завод. Когда Мишки дома не оказывалось, Лехе приходилось слоняться по улице и ждать, пока его мама не уходила в фотостудию. Мать Лехи была фотографом, хотя он предпочел бы, чтоб она работала на заводе, где не такой гибкий график.

Про успеваемость Лехи можно было бы сказать, что она «оставляет желать лучшего». Лучшего, правда, никто не ждал, поэтому, когда он вдруг ни с того, ни с сего поступил в лучший вуз страны, его одноклассники долго возмущались: это же ни в какие ворота, чтоб троечник выкидывал такие штуки. Действительно, как-то не слишком вежливо со стороны Лехи, и он, видимо, это понял, потому что университета так и не закончил, вылетев на третьем курсе.

Потом в жизни Лехи возникали и исчезали разные работы, куда он легко нанимался и которые еще легче бросал. На момент встречи с Мишкой Леха был телефонным монтером: прокладывал кабели, прибивал телефонные провода, ходил по вызовам граждан, которые жаловались на аппараты или отсутствие гудков.

После этого отступления попробуем вернуться в комиссионный магазин. Только не так-то это просто теперь сделать. Ретруха есть ретруха. Словом, тот день начинался для Лехи довольно-таки необычно, как и все в его жизни. Леха встал необычно рано и, как следствие, раньше чем надо вышел из дому. Нет, если бы он хотел прийти в телефонный узел к началу рабочего дня, то именно тогда и надо было выходить. В том-то и дело, что Леха не любил приходить вовремя.

Чистым и немного прохладным летним утром Леха вышел на бульвар имени украинского поэта. Шел не спеша, тихонько покачивая рабочим чемоданчиком, внутри которого было все, что может понадобиться телефонному монтеру: кусачки, с легкостью перекусывающие толстые телефонные кабели, не говоря уже о тоненьких двужильных проводках квартирных телефонов; небольшой молоток; спичечный коробок, где вместо спичек куча маленьких гвоздиков и отвертка с оплавленной пластиковой рукояткой, — память о том, как Леха перепутал телефонный щиток с электрическим. И вот все это тихо покачивается в Лехином чемодане, а перед Лехой прямой линией лежит бульвар.

Слева машины, справа машины, а в центре пешеходная зона со скамейками, дубами, кленами и изредка елками. На скамейки уже начинают выползать первые красные рожи бульварных завсегдатаев. Точно в центре бульвара — перекресток. Там же — по углам перекрестка — находятся четыре магазина: овощной, хлебный и два гастронома. Так что это не просто центр бульвара, но также культурный и экономический центр Лехино района. Здесь собираются, чтоб постоять в очереди, пообщаться и, если повезет, купить того-сего — вспомним те времена.

Конец бульвара упирается в кинотеатр имени украинской столицы, куда культурный центр района перемещается по вечерам. В одноименном сквере вокруг кинотеатра гуляет молодежь, слышны гитары, а иногда случаются драки. Но это по вечерам: утром тут можно встретить только старых бабок, которые бессмысленно сидят на скамейках вдоль дорожек, осматривают прохожих, не решаясь последовать за своими дедками.

Сколько Леха себя помнит, его район никогда не менялся. И долго еще не изменится — все те же тихие утра, те же красные лица вечных пьяниц, те же скамейки на асфальте, через который пробиваются травка и молодые деревца. По этой причине многие будут приходить в этот «заповедник» поностальгировать о прошлой жизни — такой невыносимой, когда ты ей живешь, и такой прекрасной, когда она минула.

Кстати, напротив сквера, чуть в стороне от бульвара, находится комиссионный магазин, где всегда можно купить уцененную кровать, или стол, или пианино, или комод, или табуретки, или кресло-качалку, или там есть подержанные радиоприемники и телевизоры. Леха никогда ничего не покупал, но частенько заходил в комиссионку, вроде как в музей. Вот и сейчас желание оттянуть начало рабочего дня завело его сюда. А тут — Мишка, который трясет его руку и приговаривает:

— Не ожидал, не ожидал!

3

— Это я не ожидал, что ты детскую кровать искать будешь. Ты что, в детском саду завхозом работаешь? — спросил Леха.

— Не, я, как родители, — на заводе. На радиаторном, — широко улыбался Мишка.

— А зачем на завод детские кровати?

— Не на завод. Нам с женой. Ребенок у нас скоро будет.

— Жена? Ребенок? Как же тебя угораздило?

— Ничего меня не угораздило, — Мишка продолжал улыбаться. — А ты как? Что с институтом? Закончил? Где работаешь?

— Не напоминай мне, пожалуйста, про институт. Я теперь телефонный монтер — и баста, — Леха два раза хлопнул в ладоши, зачем-то присел, а когда поднялся, достал из кармана рабочее удостоверение, которым он повертел перед носом у Мишки.

Тут в разговор вмешалась продавщица, которую начало раздражать это дружеское общение.

— Телефонный монтер, вы покупать что-нибудь будете? Если нет, то разговаривать — на улицу. Здесь покупают, а не болтают. Устроили тут встречу выпускников.

— Как же у вас покупать, если тут даже детских кроватей нет? — поинтересовался Леха.

— Да, — поддакнул Мишка.

— Будете хамить, молодые люди, вызову милицию, — пообещала продавщица.

— Извините, пожалуйста, мы на самом деле вежливые, просто вы нас не так поняли.

— Вы покупать будете?!

— Нет, — сказал Мишка.

— Да, — сказал Леха. — Покажите, пожалуйста, вон тот приемник.

Продавщица недоверчиво уставилась на Леху.

— Тот, что за вами на второй полке стоит. Будьте любезны, дайте взглянуть.

Продавщица медленно двинулась за приемником.

— Леха, зачем тебе приемник? — Мишка наконец перестал улыбаться.

— Это не мне. Тебе.

— Мне?

— Ну, не тебе, а твоему ребенку.

— А ему зачем приемник?

— Мишка, что ты глупые вопросы задаешь? Вот родится у тебя ребенок, чем ты его развлекать будешь? Сказки ему читать, что ли? Думаешь, я не помню, что у тебя на книги аллергия еще со школы? А так поставишь радио рядом с кроватью, а там — радиоспектакли или известные актеры сказки читают.

— Во-первых, у меня еще нет кровати, а во-вторых, у меня есть телевизор. С телевизором и мне не скучно, не то что ребенку.

— От телевизора слабоумие начинается, а радио фантазию развивает...

— Берете?! — зло спросила продавщица, которая стояла с приемником у прилавка.

— Берем, берем. Заплати, Мишка. Потом еще мне спасибо скажешь.

— Чего заплати? У меня денег с собой нет. Жена мне деньги не доверяет.

— Как же ты за кроватью пришел?

— Я выбирать пришел, а не покупать.

Тут продавщицу прорвало.

— Что вы мне тут голову морочите? Нарочно пришли мне работу срывать! Чтоб вам пусто было. Все настроение с утра испортили...

Друзья пошли к выходу, а продавщица еще долго ругалась. И должно было пройти некоторое время, чтобы она смогла настроиться на рабочий лад и вновь смотреть сквозь витрину на улицу.

4

На улице выяснилось, что Мишке на завод во вторую смену, а Леха все еще опасался прийти в телефонный узел вовремя и пригласил друга на пиво.

Друзья сходили в культурно-экономический центр бульвара и вернулись в сквер. Выбрали скамейку напротив одной из бабок и открыли бутылки.

Бабка была не очень рада появлению молодых людей с пивом. До их прихода она сосредоточенно пересчитывала наличность, которую выручила от сдачи стеклотары, то есть пустых банок и бутылок. Рядом с бабкой лежал расстегнутый кошелек, а в подоле юбки — несколько кучек мелочи, которую она систематизировала до прихода Лехи с Мишкой. Теперь она прикрыла кучки денег руками и настороженно смотрела на противоположную скамейку, где друзья вспоминали молодость, шумные компании, поездки на дачу.

Мишка припомнил Лехе, как тот однажды разбил витрину в магазине. Был такой случай. Как-то после хорошего времяпрепровождения Леха возвращался домой в приподнятом настроении. Ощущая в себе невыносимую легкость и необъяснимую свободу, он, проходя мимо магазина, в экстатическом порыве бросил в витрину камень. Сторож спустил собаку. Леха побежал. Собака за ним. Ну, все как в анекдоте. Леха, поняв, что собака бежит быстрее, остановился. Собака тоже остановилась. С минуту они смотрели друг на друга. Затем Леха пошел к себе домой, а собака — к себе.

Вспомнили еще, что раньше Леха как напивался, то заявлял, что идет на танцы. Один раз он заявил это на даче, где в радиусе километров двадцати вряд ли можно было найти что-то похожее на танцы. Как Леху ни удерживали, а все-таки он пошел на поиски. Вернулся под утро и ничего не помнил. Мишка с друзьями тогда подложили спящему Лехе в карман пробку от шампанского. Мишка еще походил по грядкам в отцовских сапогах. А размер ноги у Мишкиного отца, надо сказать, был не самым маленьким. Когда Леха проснулся, сказали, будто он привел с танцев гигантскую пьяную женщину, пил с ней шампанское, целовался, а потом она пошла искать туалет и истоптала весь огород. Пришлось ее прогнать.

Про Мишку не вспоминалось ничего интересного. Как утверждал сам Мишка, по-настоящему интересные вещи с ним начинаются только теперь — после свадьбы.

— Страх как интересно: жена, ребенок, работа на заводе, — сказал подвыпивший Леха.

Мишка немного обиделся.

— Мне — очень интересно, — ответил он. — А вот тебе, Леха, я не завидую.

— Действительно, что мне завидовать? У меня жена деньги не отбирает, чтоб я приемник сыну не мог купить.

— Леха, у меня телевизор есть. И жена есть, и ребенок есть. Почти есть. А у тебя этого всего нет. И вообще, — Мишка немного подумал, что «вообще», и продолжил: — Пользы от тебя нет.

— Это от меня нет пользы? Да если я захочу, я вот сейчас этими кусачками, — Леха порылся в чемодане, — пойду и тебе телефон перережу, хочешь? Тогда и посмотрим, от кого какая польза.

Мишка притих и посмотрел на кусачки. Леха тоже стал смотреть на орудие своего труда. Уж до чего хорошие кусачки! Сразу за кусачками открывался вид на скамейку. Этим видом Леха заинтересовался после того, как налюбовался на инструмент.

5

— Мишка, тебе не кажется, что здесь бабка с деньгами сидела?

— Ну, сидела и ушла.

— Ушла, а деньги остались.

На скамейке действительно лежал кошелек. Леха взял его и вернулся к Мишке. Было жарко. Сквер опустел. Леха раскрыл тугой кошелек. Тот был полностью набит

денежной массой. Мятые рубли лежали в одном отделении, копейки — в специальном кармашке.

Леха посмотрел по сторонам и, обнаружив, что бабки нигде нет, торжественно произнес:

— Ну, Мишка, это судьба!

— Ох и напьемся! — обрадовался Мишка.

— Сразу понятно, кто из нас чаще телевизор смотрит. Нет, Мишка, мы идем покупать тебе приемник.

— Приемник, — грустно повторил Мишка.

6

— Девушка, здравствуйте еще раз, можно вас отвлечь?

Продавщица комиссионки настороженно посмотрела на Леху.

— Что вам еще надо?

— Заверните, пожалуйста, этот приемник.

— А кто платить будет?

— А платить будет, опля, — Леха два раза хлопнул, присел и выпрямился с удостоверением в одной руке и кошельком в другой, — телефонный монтер Алексей!

Продавщица поставила приемник на прилавок, нажала на кассе несколько кнопок и назвала цену.

Леха расстегнул кошелек и вывалил его содержимое на прилавок.

— Это что? — спросила продавщица.

— Это деньги, возьмите.

— Это деньги? Это не деньги! Что ты мне мелочь суешь? Ты где-нибудь видел, чтоб таким расплачивались? Шли бы вы отсюда, выпускники, пока я милицию не позвала! Чтоб я вас здесь больше не видела!

— Так, давайте жалобную книгу, — завелся Леха. — Сейчас я вам напишу все, что я о вас думаю.

— Вы только посмотрите на него! Жалобную книгу ему подавай. Только утро началось, а он уже нажрался и работать мешает. Жалобную книгу! В милицию тебя, а не жалобную книгу! — продавщица направилась к телефону и сняла трубку.

Жест продавщицы немного утихомирил Леху. Он задумался, что придется показывать милиционеру удостоверение монтера и как-то объяснять, почему он еще не на работе. Мишка в это время распихивал мелочь по карманам.

— Девушка, все в порядке, мы уже уходим. Уходим, — а Лехе Мишка приговаривал: — Это судьба, ну точно, судьба, против судьбы не попрешь.

— Жалобную книгу! — Орала продавщица. — Нету у меня для тебя жалобной книги.

7

На улице Мишка утешал раскрасневшегося Леху.

— Успокойся. Ничего страшного. Судьба. Пойдем выпьем.

И они снова сходили в культурно-экономический центр бульвара, а затем вернулись на свою скамейку.

Теперь разговор шел в основном о Мишке.

— Ну, с утра мы просыпаемся, смотрим телевизор, пьем чай, — объяснял Мишка.

— А вечером что? — интересовался Леха.

— Вечером мы едим, смотрим телевизор, ложимся спать.

— А в выходные?

— В выходные мы просыпаемся попозже, пьем чай и смотрим телевизор. Выходные я очень люблю.

— Кто их не любит. Это ж и на работу ходить не надо.

— Такое ощущение, что тебе никогда работать не надо.

— В том-то и дело, что надо. Посиди-ка, я пока позвоню, скажу, что задерживаюсь, — Леха оставил Мишку и пошел искать телефон.

8

Ближайший телефон-автомат находился около комиссионки. Но не к нему направился Леха. Он начал колошматить по витрине магазина, закрытого на обед, пока на стук не вышла старая знакомая продавщица.

— Девушка, а ну откройте. Я по работе!

— По какой еще работе?

Леха два раза хлопнул в ладоши, зачем-то присел, а когда поднялся, достал из кармана рабочее удостоверение, которым он повертел у витрины.

— Видали? Мне нужно срочно позвонить.

— Ну все, ты у меня доприседался, — продавщица резко развернулась и унесла свое большое тело в глубь магазина.

9

Сначала Леха думал запустить в витрину камнем. Однако, вспомнив похожий эпизод из своей жизни, он решил действовать как профессионал. Благо и профессия у Лехи теперь была не какая-нибудь.

«Доприседался!» — думал Леха, огляывая магазин. — «Это я-то доприседался! Это ты у меня доприседалась». К задней двери комиссионки тянулись провода. Много проводов. Толстые, тонкие, черные и светлые, замотанные изолентой и совсем новые. Лехе не составило труда вычислить среди них телефонный.

Леха поставил на землю чемоданчик, посмотрел по сторонам — никого. Достал кусачки, которыми недавно хвастался перед Мишкой, и щелк-щелк.

— Позвони мне, позвони, — напевал Леха по пути в сквер, — позвони мне, ради бога.

10

Мишка сидел скрючившись и какой-то красный. Леха плюхнулся рядом. Мишка всхлипнул. Леха посмотрел на друга и увидел, что это вовсе не Мишка, а какой-то мужик. Причем мужик уже немолодой и небритый: седая щетина торчала из щек на сантиметр.

— Мужик, а где тут только что Мишка был?

Мужик посмотрел на Леху и промолчал. Из правого глаза у него выкатилась слеза.

Леха забеспокоился.

— Мужик, ты чего плачешь? Из-за Мишки, что ли? Да не беспокойся ты за него. У него все в порядке. Жена есть, ребенок скоро будет. Приемника, конечно, нет, зато есть телевизор.

Леха подумал и продолжил:

— Ты бы лучше, мужик, из-за меня плакал. Это у меня ни жены, ни ребенка, ни телевизора. И пользы от меня нету.

— Есть польза. Есть, — сказал лжемишка. — Дай мне рубль, вот и будет польза.

Леха выгреб из карманов оставшуюся мелочь, отдал краснолицему мужику с седой щетиной. Тот ушел, а Леха стал перебирать в уме события дня.

11

Со стороны бульвара в сквер вошел милиционер. Около Лехиной скамейки он остановился. С минуту они смотрели друг на друга. «Сейчас я пойду к себе на работу, а он к себе», — подумал Леха. Но милиционер никуда не пошел.

— Гражданин, ваши документы, — обратился он к Лехе.

Делать нечего, Леха поднялся, два раза хлопнул в ладоши, затем, само собой, присел, а когда выпрямился, то достал из кармана что-то, оказавшееся рабочим удостоверением телефонного монтера.

— Так, так, так. Понятненько, — сказал милиционер, даже не посмотрев на корочку. — Пройдемте в отделение.

— Вообще-то я на работу опаздываю, — попробовал сопротивляться Леха.

Представитель власти взял Леху под руку и повел составлять протокол.

Проходя мимо комиссии, Леха посмотрел на витрину и увидел чудо: счастливое лицо продавщицы.

12

На работу Леха вышел только через две недели и один день. И все это время по скверу ходила бабка, ища то ли свой кошелек, то ли пустые бутылки. Ходила она по скверу и после того, как Леху выпустили. И сейчас, говорят, на скамейке, где она оставила кошелек, можно встретить ее призрак. Призрак пересчитывает деньги, позвякивая монетами, похрустывая купюрами. Правда, теперь уже не рублями, а долларами или евро. Издали не разглядишь, а близко подходить страшно.

13

Хотя насчет призрака, конечно, в точности не известно. Так, слухи.

То же и про Леху. Кто-то говорит, что он потом занялся бизнесом и прогорел. Кто-то — что не прогорел, потому что бизнесом не занимался. Кто-то говорит, что он уехал в другой город, а может, и в другую страну. А кто-то просто молчит. То ли оттого, что не знает, то ли оттого, что Леха ему незнаком. Такие тоже встречаются.

Ну, а про Мишку известно еще меньше. То есть практически ничего.

Мария Ряховская

Рассказы

На Щучьем озере

В конце сентября на берегу северного Щучьего озера скопилось десятка полтора паломников. Приехали к праведнику и заступнику Николаю Курьянову.

Курьянов жил посреди озера, на острове. Как сказочный остров из русских заговоров, он был продуваем всеми ветрами и вполне мог называться Буяном; как и на острове Буяне, мы должны были оставить на нем свою грусть-печаль и вернуться обратно в свою жизнь обновленными. Только вот доступа в заветный домик старца — одно окошко, струпья зеленой краски на стенах, помет сизарей на гнилых штакетилах забора — мы так и не получили. Его прислужница, старая монахиня, раз за разом отказывала нам в приеме: отцу Николаю перевалило за девяносто, он хворал и незадолго до нашего приезда вовсе слег. Мы покинули остров и вернулись в деревню.

На берегу мы держались кучкой — трое нас, родителей, и при каждом его умственно отсталое дитяtko. Дети наши по годам были уже немолоды — двое мужиков — Василий и Артур — и Ксюша, крупная телом тетка, с мясистым носом на плоском лице.

Ехали мы к отцу Николаю за советом — оставить детей при себе или создавать фонд. Объединяться с десятками людей нашей судьбы и закладывать поселение для детей и им подобных, где бы они выживали с помощью волонтеров. Много лет наши дети прожили в таком поселении под названием «Жаворонки». Была земля, пашня, огород, выгон, чистенькие дома с горячей водой, своя котельная, пекарня, ферма, и волонтеры, чаще иностранцы, и финансовая поддержка европейского движения в пользу людей с аномалиями хромосомного набора. Весной нынешнего года «Жаворонки» были разорены: власть позарилась на землю, на коттеджи, иностранных волонтеров выжили — не продлили визы, и все.

Мы с сыном ночевали на сеновале и под утро чесались так, что пришлось спускаться. Пытались вытрясти сенную труху из свитеров, спустились к озеру. Сидели на ящиках, я курил, он куда-то глядел. Я спросил у Василия: видит ли он, что с появлением солнца озеро посветлело, и дальний берег оказался полосой темной воды. Василий, как обычно, рассмеялся, и его монгольские глаза стали и вовсе щелочками. Когда он родился, все мои улыбки перешли к нему, а вся его будущая хмурость — ко мне. Теперь он всегда радовался, а я был обречен тосковать.

— Где ваши конфеты? — прервала мои раздумья пензенская Тамара и протянула пакет. — Собираю вот гостинцы для отца Николая.

Мария Ряховская родилась в Москве. Окончила Литературный институт имени Горького. Публиковалась в журналах «Юность», «Октябрь», «Сельская молодежь», «Простор», «Прича» (Белград). Автор многих передач для радио «Свобода» в жанре «радиопрозы». Участница Международного литературного фестиваля имени Волошина, Девятого Форума молодых писателей России в Липках. Живет в Москве. В «ДН» печатается впервые.

Рыжая Тамара обошла нас, наполнила пакеты гостинцами и уложила в нанятую лодку-казанку. Она была паломница со стажем. Первым ее паломничеством была поездка к могиле Цоя, тогда, в начале 90-х, у свежей могилы, она продержалась шесть вахт. Объект поклонения был завален полугнилыми цветами и увенчан гитарой, едва различимой сквозь мутный от влаги полиэтилен. Шел мокрый снег, вахтовые во все дни пили с приезжающими со всей страны фанатами, спали в тощих синтепоновых спальниках и драных палатках. Ватные штаны добыли себе авторитеты, бравшие по три бутылки «за прописку», то есть за право поставить свою палатку возле могилы.

К отцу Николаю Тамара явилась изможденная и простуженная, обвиняла органы в гибели Цоя. Курьянов лечил ее травяными настоями и словом, а перед ее возвращением в Пензу предупредил о встрече с неминуемым злом. Тамара, окончившая два курса гуманитарного вуза и слушавшая историю религии, заимствовала уловку у патриархальных народов: надела белый кудрявый паричок и в таком виде надеялась обмануть ищущее ее зло. Добиралась домой она автостопом, и в ночном лесу фура встала. Шофера Тамару связали, забросали ветками и сверху придавили колесными скатами. Приняли за плечевую проститутку, заразившую обоих шоферов сифилисом. Поднесли зажигалку... Тамара задыхалась в черном дыму, пыталась выпростаться, — и ее парик слетел. Дальнобойщики отпустили незнакомую огненно-рыжую девку.

В измятую и облезлую дюралку казанки влезла и разлеглась поверх пакетов с гостинцами Ксюша, она вздумала ехать с Тамарой. Совладать со здоровущей «дуркой», иначе в деревне дауна Ксюшу не звали, тщедушный лодочник и не пытался. Ее мать Марина устало стояла в отдалении.

По возвращении с острова Тамара отчиталась. Старуха-монахиня, бывшая при отце Николае, приняла гостинцы тайно от него: вовсе стал плохой и людей просил не пускать.

Между тем Ксюша отпихнула старуху, вошла во двор и далее в дом и там склонилась над отцом Николаем. Его сухая борода колола Ксюше лицо и походила на веник. Ксюша подхватила старика и посадила к стене.

Их отдельные слова терялись в междометиях, смехе, шевелении пальцев в воздухе. Ни старуха, ни Тамара не понимали, что намаячили друг другу старик и Ксюшка и отчего старик вдруг ожил...

В подтверждение рассказанного Ксюшка улыбалась во весь рот, отчего ее лицо делалось еще шире, и показывала птичье гуано на своем рукаве.

— Голубь — птица Божья, — шепелявила она, — дед голубей любит, разводит он их. Я тоже голубей люблю. Вот один мне насрал на рукав, Тамара говорит, на счастье.

Паломники взвыли — особенно после рассказа довольной Ксюшки.

Накопленная за дни сидения в деревне усталость и раздражение дали о себе знать. Мало того, что Бог отягощает нашу жизнь страданиями — он еще и знать нас не хочет! Ори в небо — не доорешься!

— Мы тут застыли, сопли распускать начали! Сколько можно!

— Деньги кончились, даже на билеты не остается!

— Старик к себе не пускает — а дурка запросто махнула к нему за благословением!

Каждый что-то орал, и обида мешалась с завистью.

Мы с матерью Артура, Ольгой Алексеевной, переглянулись и пошли по берегу. Было сумрачно, грустно, пахло прелыми березовыми листьями.

— Ваш Василий крепкий, весит, наверно, килограммов сто... — говорила Ольга Алексеевна. — И дружелюбный такой...

Ольга Алексеевна посмотрела с некоторой завистью на Василия и Ксюшку, сидевших на бревне возле причала и начавших вдруг весело пихаться...

— ...А мой Артур до трех лет чего-то лепетал, а потом совсем перестал. Как мы с мужем узнали, что у него аутизм, купили фильм «Человек дождя» и по многу раз вечерами смотрели его. Артур заснет — мы включаем. Все пытались что-то понять про него. Вскоре муж ушел, и это дело стало только моим. Ни минуты не свободна от

мыслей о нем. Я работаю с техникой в астробиологии. Неужели в его вселенной такая же тишина и одиночество? Нет связей, нет голосов. В «Жаворонках» он отвечал за крольчатник. Теперь сиднем сидит в комнате. Ночью просыпаюсь, его не слышно. Его вообще никогда не слышно... Он вдали — как протопланта, глухая и немая. Но, знаете, — Ольга Алексеевна просветлела лицом, — пару лет назад я нашла у него в комнате листки. Гляжу: стихи, и какие!.. Месяцев семь уговаривала его поехать со мной, отчаялась уже. А когда сказала ему, что Курьянов тоже стихи пишет, согласился.

— Первый год не знали, что у Василия синдром, — сказал я. — Помню, он заболел, кашлял ночами, мы так измучились. Потом оказалось — это было счастье... Пришел на дом старичок в круглых очках и говорит: инфекции всегда будут к нему липнуть, у него же синдром Дауна. Как синдром? Какой синдром? Весь день проплакали с женой, наутро встаю, иду в ванную бриться — гляжу, а у меня правая половина головы седая...

На другой день, поддаваясь один за другим доводам пермяка Дедюхина, бывшего военного, паломники подписали два обращения.

Первое к отцу Николаю, должное воодушевить его, поднять для служения страждущим. Второе обращение также предполагалось зачитать перед воротами отца Николая — оно предназначалось областной Думе. В нем содержались просьбы укрепить и поддержать старца силами отечественной и зарубежной медицины, потому как народ страдает, а он принимает раза два-три в год, и то только VIP-персон, Пугачеву, Орбакайте и Бабкину. Так пишут в газетах. Что это за демократия такая?

Копия обращения для Госдумы имела, и Дедюхин намеревался ее тотчас по возвращении отослать — вне зависимости от исхода дела.

Вновь ходили в другой конец села к Семену, сыну Курьянова, уговаривали перевезти на остров и похлопотать за нас.

— Рад бы, других-то вожу, и лодка на ходу, — говорил рыжий Семен и тотчас краснел лицом. — Только отца не могу просить. Я отца лет двадцать не видел, он и детей моих смотреть отказался. Называет меня «блудный сын», а какой я блудный? Бывает, по три раза туда и обратно на остров гоняем. Мы тут все на нем только и зарабатываем...

— А чтой-то у вас за куртка такая фирменная? Это по-каковски написано? — спросил я.

— По-польски, — ответил Семен. — Я катаюсь на заработки в Польшу.

В раскрытые ворота ребягня загоняла овец и коз. Семен отбежал, галоши на босу ногу. Помог загнать скотину в сарай, вернулся. Мы сидели на шаткой длинной лавке во дворе. И эта лавка, и цемент во дворе, и ступени, ведущие в дом, — все было загажено. Хозяева держали трех коз, четырех овец, барана и козла. Еще птицу — гуси, куры, утки. Зачем им столько живности?

Семенова жена прошла с ведром, улыбнулась.

— Меня первый раз мама родила, второй — отец, — рассказывал Семен, как видно, гордившийся отцом, несмотря на обиду. — Я лет пяти в полынью провалился, глаза открыл: вода зеленая. Отец выдернул меня из-под льда за конец лыжи. Откуда он взялся? Я один был, километра за два от дома.

Из рассказа Семена выходило, что охлаждение к сыну у отца Николая началось с пустяка. Тогда ему с другом заплатили двумя бутылками самогона за перевозку дров. Парни по пути к дому бросили в болотине свой «белорусец» и заночевали в стогу. Газетные затычки из бутылок вылетели, содержимое бутылок вылилось. Ночью парни заколевали, выдирали из-под себя облитую самогоном солому и сосали. С отвращением отец выслушал рассказ Семена и сказал: сам-то блеять не станешь, а на сына перекинется. И в самом деле, первенец Семена стал заикой. Куда уж его ни возили — и по врачам, и по бабкам-«шептуньям», толку — чуть. Жена Семена кинулась в ноги к не желавшему знать непутевого сына свекру, помоги! Тот только щелкнул пальцами над головой внучка: говори! Тот заговорил...

Семена уговорили. Три цены дали. Семен с дружкой взяли сvezти паломников на остров.

Лодка была нанята длинная и широкая, в таких в путину забрасывают невод, в сезон возят сено и дрова. Лодочники оба в пятнистой затертой униформе, привычной в России после чеченских войн.

В лодке уместилось четырнадцать человек. Рядком на сиденьях и на днище, где толсто навалено сено. Здесь были две учительницы с дочками-подростками, жительницы отравленного химическими отходами городка на юге Челябинской области. Был пугавший натужным сипением мужчина в кожаной куртке — он только что перенес операцию по поводу рака горла. Была маленькая глухая женщина, она тянула головку и все время оглядывалась. С ней егозливая девчонка с куклой, которую девчонка без конца то целовала, то кусала. У пластмассовой бедняги не было уже половины волос на голове. Видимо, девчонка их съела.

В центре важно сел Дедюхин, с мегафоном на ремне. В руках он держал ядовито-зеленую папку со своими воззваниями. Рядом с ним притулилась жена, мечтательно глядя на волны озера. Очевидно, они напоминали ей морские волны в Крыму, откуда была она родом. Однако то и дело возникал муж и спугивал иллюзию, хватал ее за плечо, и вовсе не из потребности коснуться жены — а чтобы не вывалиться за борт. Лодку заметно качало.

И несмотря на качку, Дедюхин встал и стал ходить по лодке, задавая кому-то различные вопросы и уточняя очередность посещения старца, установленную накануне на общем собрании. Видно было, что вне роли лидера ему не прожить ни минуты.

— Да отстанете вы, наконец! — раздраженно сказала ему бритая наголо большеглазая девушка.

В ее ноздре поблескивало колечко, и на губе тоже. Накануне тетки уговаривали ее снять свои папуасские украшения, но она отказалась: если он святой — он примет меня такой, как есть.

— Выдрючиваешься — вот и получила! Сама виновата! — строго сказал ей Дедюхин и погрозил папкой.

Она опустила голову и поджала губы. Видно было, что она сожалела о рассказанном накануне.

Ее жизнь покатила под откос после одной из телепередач, где служила она штатным сценаристом. Заказали написать тексты для двух персонажей: гея, лесбиянки и их соседей. «Гей» нашелся быстро — его сыграл безработный студент, «соседей» тоже нашли среди технического персонала «Останкино», а вот лесбиянку брать было неоткуда. Редакторша давила и, в конце концов, срывая злобу на сценаристке, выпихнула ее в студию. Иди — или уволю! Девчонка была без комплексов и сыграла легко, можно даже сказать, проявила актерский талант — себе на беду. Тем более что текст писала сама. Только вот после этого начальник, плейбой, не продлил ей контракт. Да и любовник под каким-то предлогом свалил от нее. Совершенно внезапно — посреди месяца — выгнали с квартиры хозяева, посмотревшие передачу. И что самое страшное — родители из далекого городка, всю жизнь работавшие на производстве, тоже поверили в ее лесбиянство. В родном городе девчонка сделалась местной знаменитостью — так что и носа не кажи.

Нелепые, совершившие много ошибок, озлобленные и временами святые, мы сидели в лодке, прижавшись друг к другу, чувствуя сквозь одежду тепло тел. За бортом дул ледяной ветер, пространство озера было пусто и чуждо всему одушевленному. Здесь, на большой воде, осознавалось, что мы прижаты друг к другу давлением враждебной жизни. Верующий человек сказал бы: соединены самим Господом, но я верю только в то, что есть люди мудрее меня. И один из таких, может быть, этот отец Николай. Может, он поможет нам, нашим детям, которые сидят сейчас у нас в ногах...

Слева от меня пристроились двое немолодых, только что соединившихся людей. Он и она, оба в прошлом инженеры, а теперь продавцы бог знает чего, — она москвичка, он тамбовский, черпали вдохновение в учении индийского «живого Бога» Саи-Бабы. Они были совершенно уверены в том, что Баба — воплощенный Бог, и приехали лишь затем, чтобы эта истина еще раз воссияла над миром. Точнее, над Псковской областью. Местная газетенка, дескать, писала: с семьдесят первого по

семьдесят пятый Курьянов пропал из поля зрения земляков — может, он был в Индии?

Позавчера вечером, когда они подошли ко мне знакомиться, женщина стала восторженно что-то выкрикивать про Саи-Бабу, и видно было, что она ждала и боялась отпора со стороны православных, — оттого говорила резко, нервно и очень быстро. Я вытерпел лишь несколько минут. Вот и теперь ее ядовито-оранжевое сари, торчащее из-под куртки, кричало о Саи-Бабе вместо нее и раздражало глаз, привыкший к свинцовым водам озера, серому небу, призраку острова впереди.

Рядом с бабистами сидела пожилая женщина во всем сером, на ее лице лежала печать усталости и безысходности. За те четыре дня, что мы ждали приема Курьянова, она не сказала ни слова. Но мы поняли из телефонных разговоров: ее муж умирает от редкой формы склероза, и она каждые полчаса звонит кому-то, кто может связать ее с хорошим специалистом по этой болезни. По общему согласию, к Курьянову она должна идти первой.

Дедюхин важно перемещался по лодке, давая кому советы, кому указания, и внезапно наткнулся на сиплого больного с трубкой в горле. В этот миг лодку качнуло, и его мегафон, а затем и папка упали в воду.

— Помогите! Остановите! — возопил Дедюхин. — Заявления! Мегафон!

Лодка взревела, замедлила движение и дала задний ход. Семен прокричал товарищу: «Якорь!», и мы стали на месте.

— Вы что, в самом деле решили зачитывать старцу бумагу для Думы? — нервно спросила бывшая фанатка Цоя.

Мнимая лесбиянка корежилась от смеха. Вслед за ней и другие стали похихикивать.

— Ну правда же, — примирительно сказала Ольга Алексеевна, — хватит. — Вы с Богом через мегафон решили поговорить? Едем! Замерзнем все.

Внезапно бабист, то ли желая покрасоваться перед столичной невестой, то ли всех нас желая обратить в свою веру, произносит свою тарабарщину — ом-поп-хохом, скидывает куртку и сари и обнажается до трусов.

Женская половина ковчега пришла в ужас, увидев его дистрофическую йоговскую худобу. Жилы и кости!

Он булькнул в воду, поплавал, выловил листки и разложил их по борту.

Мы сидели в молчании: гуще и плотнее стал холод, над водой потянулся ранний осенний туман. Затем наш тамбовско-индийский гость шумно потянул воздух ноздрями и исчез в воде. Дедюхин стал громко и четко считать, будто отдавал команды.

На счет «сорок пять» мой Василий поднялся с зажатым в кулачище куском сена, перешагнул скамью и ударом сбросил Дедюхина за борт.

Люди повскакивали, кричали, лодка заходила под ногами.

Лодочники орал: сесть! Сесть! Мотор взревел. Люди попадали, легли, присмирили. Василий свесился через борт, тянул руку к бьющемуся в воде Дедюхину. Я обхватил его сзади. Господи, в роду таких не бывало, больше центнера! Ксюша сердито тащила Васю в лодку за ноги.

Ольга Алексеевна в обнимку с сыном барахтались на днище. Артур спрятал голову на груди у матери.

Лодка с выключенным мотором обошла вокруг Дедюхина и тамбовско-индийского гостя. При всеобщем молчании они медленно перебирали руками и ногами на одном месте. Дедюхин с листом бумаги во рту и бабист с матюгальником в руке.

Когда Дедюхина извлекли из воды, он сообщил о потерянной ботинке, что вызвало восклицания и хохот паломников. Потом вытащили и бабиста. Губы у пловцов были черничные. Дедюхину предложили плащ, бабисту — две женских кофты. Третью сняла с себя подруга бабиста, кофта была у нее под курткой. Сняла кофту — под ней было режущее глаз оранжевое сари, из него торчали зеленоватые костлявые руки.

— Ну, йоги! — хохотал Семен с дружкой. — В койке, наверно, такую стукотню поднимаете!

Очищенный от ила матюгальник разразился шипеньем, а затем громогласно заговорил:

— Обррращаемся в Государственную Думу! Копия в Администрацию президента! Российская медицина работает с низким ка-пэ-дэ! Просим создать достойные! Материальные и общественные условия! Народному! Целителю! Николаю! Допустим! Ивановичу! Курьянову! И обязать его принимать! Явившихся! К нему! Паломников! Ура!

— Долгих лет отцу Николаю! — подхватили женщины.

— Ура! — заорали Василий и Ксюша.

Лицо Артура исказилось болезненной гримасой, — он не переносил людей, а тем более орущих, Ольга Алексеевна расстегнула куртку и засунула его голову к себе за пазуху.

Под возгласы и крики лодка подошла к мосткам. На берегу расхаживала привязанная за кол коза, стояли две немолодые женщины.

Они сообщили нам о смерти отца Николая.

Мы некоторое время стояли на пристани, а потом пошли к дому Курьянова.

Зеленый домик в одно окошко, в облезлой зеленой краске, обнесенный гнилым некрашеным штакетником, стоял сиротливо, поодаль от других.

Старец предусмотрительно поселился напротив кладбища, и теперь, когда он скончался, кладбищенские березы скрипели и стонали на все голоса, будто приветствуя старца у себя.

Мы стояли кучей возле дома, не решаясь войти в калитку. С той стороны пришла старуха-монахиня, молча сняла проволочное кольцо, соединявшее столбик и калитку, и пропустила Семена. Затворила калитку решительно, и все поняли, что туда нам ходу нет.

Мой Василий опустил на землю и прислонился к штакетнику. Гнилой столбик треснул, и прогон забора повалился на грядки с коричневой картофельной ботвой. Ксюша кормила помойных сизарей, которых во множестве прикормил старец, раскрошившимся печеньем. Глухая старушка стояла в нескольких метрах от ограды, не решаясь даже подойти, зато ее внучка взяла за волосы куклу, раскрутила и бросила на участок Курьянова. Старушкино лицо выражало ужас: так — со святыней! — но она только прижала внучкино плечо к себе.

Монахиня вернулась за Ксюшей.

— Проходи и ты, блажная, — сказала она, и Ксюша обрадованно загоготала.

Матери Ксюши, Марине, двинувшейся было вслед за ней, она сказала:

— Возвращайся на постой, Семен привезет девку.

Дедюхин стоял в стороне ото всех, озлобленно глядя на зеленый домик с белым окном.

К курившей лжелесбиянке подошла Тамара и попросила сигарету. Телесценаристка протянула сигарету, да еще дала отхлебнуть из фляжки, вынутой из нагрудного кармана.

— Ты думаешь, чего я обрилась? Вши заели. Ночевала на вокзалах, в подъездах. Забираешься на последний этаж, постелила газетку и... — она опять отхлебнула из фляжки, — ...шестой месяц без работы, — сказала она, — за шесть месяцев одно предложение по работе. Зовут в журнал для гомосексуалов...

— В «Квир», что ли? — спросила Тамара.

— Ага. Только и передохнула за эти полгода в больнице для психов. Хорошая больница, палаты двухместные, с туалетом. Попасть непросто. Места надо ждать, собеседование пройти. Пришла я на это собеседование. Сидят трое. Я зашла, сняла шапку, они видят — лысая, на губе пирсинг, в ноздре пирсинг. Даже не стали ни о чем спрашивать. Врачиха молча подает мне бумажонку — приходи, говорит, завтра с вещами. А я говорю, нет у меня вещей. Она позвонила в отделение, и меня тут же положили. Белые свежее, каши, телевизор, черт бы его подрал... Черт бы его подрал! — заорала она и побежала куда-то.

Затем неожиданно подпрыгнула и рванула в сторону сидящих на бревне Ольги Алексеевны и Артура, прокричала:

— Не выходи из комнаты, не совершай ошибку! Зачем тебе Солнце, если ты куришь «Шипку»?

Прыжок.

— За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья. Только в уборную — и сразу же возвращайся.

Прыжок.

— О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора! — она показала рукой на лодку. — Потому что пространство сделано из коридора — и кончается счетчиком! А если войдет живая милка, пасть разевая, выгони не раздевая...

Прыжок.

Она отошла к озеру, продолжала декламировать сама для себя:

— ...Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло! Что интересней на свете стены и стула? Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером — таким же, каким ты был, тем более — изувеченным?

И вдруг Артур отделился от матери и пошел за лысой девушкой, догнал ее у озера и, вынув из кармана записную книжку, стал читать ей стихи. Свои стихи...

Ольга Алексеевна оцепенела. Спустя минуту по ее онемевшему лицу потекли слезы.

Слово взяли ученики индийского пророка.

— Отец Николай не умер, — сказал костлявый тамбовский индеец-бабист, — как не умирал он и тогда, в семидесятых, когда исчез вдруг на несколько лет. Он просто взял и перенесся в Шамбалу. Это телепортация — не важно в теле или без!

— Так и есть, — подтвердила его подруга, — как бы он мог ежегодно принимать тысячи больных, если бы не восстанавливал свои силы в Шамбале? Там время останавливается, и человек не стареет и исцеляется.

— Так он, что ли, не умер? — спрашивали тетки у бабистов.

Подошел мрачно стоявший поодаль Дедюхин.

— Он не мог умереть! — сказал он хмуро. — Нас целая куча приехала!

Марина, мать Ксюши, взяла у него мегафон и пропела в него, запрокинув голову ввышину и будто ища взглядом Курьянова там:

— Оте-ец Ни-икола-а-ай!

Люди и желали, и не решались переступить магическую черту, отделявшую территорию святости от территории греха, бессилия, болезней. Теперь, когда Василий обрушил прогон забора, — эта черта была условной.

Вдруг забитая старушонка, та, что казалась глухой и держала за руку вертлявую девочку, протиснулась сквозь паломников и ступила на опрокинутый забор.

— Я за ним ходить буду... приставлена... — выговаривала она сиплым слабым голосом. — Он меня вызвал... приставлена... ходить буду...

Она пересекла участок и села на верхнюю ступеньку крыльца.

Услышав шаги за дверью, домашние закрылись на щеколду.

Историю старушонки я знал. Некая приезжая пара, как опекуны, выкупила ее у банка вместе с двухкомнатной квартирой и держала несколько лет безвыходно в зарешеченной комнате. Старушонка была обречена, и ее опекуны, как рассказывали во дворе, выкупленных стариков с квартирами «придушивали».

Про обреченную старушонку каким-то образом стало известно отцу Николаю, отказавшему в заступничестве московскому депутату, на чьей территории находилась старушка в своей клетке. Ее отняли у опекунов и освободили.

Внимание паломников привлекла полукруглая башня на огороде.

Приблизившись, я обнаружил, что она состояла из стекла. Пустые водочные или пивные бутылки были связаны старыми почернелыми рыбацкими сетями, проволокой, прихвачены кое-где веревками.

К башне, кажется, тянулись провода. Может быть, вечерами старик зажигал здесь свет, и башня светилась, как маяк, напоминая живущим, что выход есть всегда. Или демонстрацией стеклянной башни отец Николай напоминал народу о выпитом ими море отравы?

Бабистка расшифровала идею башни по-своему:

— Мое предположение подтвердилось, — важно сказала она, — эта стеклянная башня — копия ледяных пещер в Гималаях. Там в состоянии сомати тыщи лет

пребывают лемурийцы и атланты. В этой башне старец медитировал, готовился к встрече с Высшим разумом. И сейчас он лежит там, в доме, на кровати, — но он здесь. Надо только настроиться на его волну...

— Так он в доме или здесь? — спросила Ксюша. — Я его в доме видела. Но он мертвый.

— Он тут, — ответил ей бабист, — если хочешь с ним поговорить, тебе сюда.

Бабистка благоговейно зашла в башню, вынула из кармана куртки газету, постелила на землю и села в позу лотоса, закрыв глаза.

Спустя минут пять она вышла, произнесла важно:

— Кто хочет, пожалуйста.

Следующей зашла радостная Ксюша, села топтаться и озираться в поисках отца Николая. Не найдя его, она ушла в глубь участка. За ней последовал и мой Василий.

За Ксюшей в стеклянную башню зашла жена умирающего мужа, беспрерывно звонившая по мобильнику. Спустя четыре дня непрерывной телерадиосвязи она, наконец, отключила телефон и села на газетку в позу лотоса. Ее лицо расслабилось, и мне казалось, что она проехала сотни километров лишь за тем, чтобы сесть в эту башню. Она сидела минут десять и просидела бы еще час, если бы не явилась мать Ксюши, Марина, искавшая дочь и нашедшая ее.

— Работает! Работает! — почти закричала она, так что на нее зашикали. — Я нашла Ксюшку в курятнике отца Николая! Она скребла его так усердно, что вся взмокла! Это старец дал ей мысленный приказ! Пока она сидела здесь, в башне!

К башне выстроилась очередь. И даже глухая старушонка, сидевшая на своем посту у запертой двери, подошла и стала тянуть свою птичью головку, пытаясь разгадать, что происходит.

Бабисты шепотом рассказывали кому-то о генофонде человечества, скрытом в пещерах далеких Гималаев.

— Живые представители ушедших цивилизаций... — доносились до меня отдельные слова, — ... скрыты в пещерах, пирамидах и глубоких слоях воды... Арийцы, лемурийцы и атланты...

В башню зашла телесценаристка, села, скрестила ноги. За ней внимательно наблюдал Артур, вновь уцепившийся за Ольгу Алексеевну.

Просидев минут пять с закрытыми глазами, девчонка встала, провела ладонью по бритой голове, как будто снимая паутину неправильных мыслей, и произнесла громко:

— Поняла. Надо идти за судьбой, ведущей тебя. Мне предлагали работу в журнале «Квир», это журнал для гомосексуалов. И я приму предложение. Я хочу пойти туда работать! Это для меня! Это для них! Это для всех! Если ты не сопротивляешься — все происходит само собой.

Щелкнула щеколда, и из приоткрытой двери выглянула монахиня. Увидев, что народ больше не рвется в дом, а, наоборот, столпился зачем-то у бутылочной башни, она подошла к нам.

— Чего вы тут смотрите? Это он, батюшка, из бутылок сложил, да, он. Заботился обо мне очень. Говорил: когда помру, на что жить будешь? Понуждаешься — так спасибо скажешь. Бутылки во все времена принимают.

Люди оглядывались на монахиню с недоумением. Эти бутылки? Сдавать?

Затем, как по щелчку, недоумение сменилось общим унынием. Люди стали разбредаться кто куда. Казалось, им было совершенно все равно, куда идти, лишь бы подальше от этого места, принесшего им столько разочарований.

Явились лодочники, торопили с отплытием: ветер потянул, и побрызгивает с неба.

Отплыли. Тамара махала нам с берега: она оставалась на похороны отца Николая, старуха-монахиня знала ее и просила помочь.

Пока ждали автобуса, Ольга Алексеевна с Артуром и я с Васей пошли за Семёном, к его усадьбе. Ксюшка тут же ринулась в коровник и орудовала скребком битый

час, причем обнаружившая ее там Семенова жена с удовольствием сообщила, что она приходит уже в который раз — «доски скоро станут белые».

Марина глядела уныло: она вспомнила, что обхаживать коров и ходить через день в подпасах было обязанностью Ксюши все семь лет ее жизни в «Жаворонках», и дух старца здесь ни при чем. Теперь тамошняя земля отсужена властями, разрезана на участки и распродана, а Ксюшка лишена хоть малого смысла своего существования, как и Василий, стоящий рядом с ней...

Наш отъезд оставил Ксюшу равнодушной. У нее было распаренное румяное лицо, от нее пахло навозом, и затолкать ее в джип для Марины было делом нелегким.

Мы не успели отъехать от деревни и десяти километров, как автобус догнал джип и принялся сигналить.

Марина вытянула нас с Ольгой Алексеевной и детьми из автобуса и пересадила в джип.

Развернула машину, гнала и говорила:

— Да, я сподличала в «Жаворонках»! Денег хотела. Сами знаете, уговорить себя всегда можно. У меня кроме Ксюшки еще двое. Здоровых! Председатель нашего попечительского совета был вор. Люстру старинную у себя в институте и ту снял — и на дачу. Администрация района — грабители и нищие. Слюна ядовитая, клянусь! Но это теперь неважно. Семен берет наших детей. К холодам поставлю дом из бруса, у каждого своя комната.

— Что-то в нем есть такое... — начал я, — вы участок его видели? От говна уже ступить некуда. Зачем ему столько уток, гусей, кур, овец, коз...

— А это и надо! — обрадовалась Марина. — Запряжет наших! Будут ползать у него на грядках! Грести! Чистить! Косить!

— Чего радуетесь? — запротестовала Ольга Алексеевна и передразнила: — «Грести!» «Чистить!» Не скотина мы им. В поселении была горячая вода — а здесь? Будут ходить, как этот Семен, грязные, в резиновых сапогах зимой и летом. Вы видели — он портянки носит? Превратит наших детей в батраков. А жена? Какая там еще жена — неизвестно...

— Останови машину. Выйдем, — сказала Ольга Алексеевна, — мой Артур не переносит громких разговоров.

Мы вышли.

— Какая жена? — переспросила Марина. — А не знаю я. Какая ни есть — а за девятьсот баксов будет шелковая. К тому же они батрачить будут на нее.

— Девятьсот баксов? — ужаснулась Ольга Алексеевна. — Это по триста с носу? Я не потяну. У меня зарплата научного сотрудника.

— А иначе этот Семен будет в Польшу мотаться на заработки, — парировала Марина. — Нам это надо? Случись чего — а его нет.

— А горячая вода будет? — спросила Ольга Алексеевна. — Дайте мне сигарету. Еще не хватало за такие деньги раз в месяц в баню ходить.

Марина протянула ей длинную тонкую сигарету. Ольга Алексеевна закашлялась. Видно, не курила она лет десять.

— Котел поставим, не волнуйтесь, — заверила Марина, нервно прикуривая вслед за Ольгой Алексеевной. — Электрический котел. Лучше всего, конечно, газовый, но в селе газа нет.

— Жидкотопливный, — предложил я, — солярку залил — и все. По затратам сопоставим с электрическим, но электрический ставить нельзя. Знаете ж, какие у нас скачки напряжения в деревнях...

— Я боюсь, — сказала Ольга Алексеевна, — мой Артур, — она оглянулась на сидящих в машине детей, — он же бессловесный. А какой этот Семен, если от него даже отец отказался? Причем святой отец!

— Да ладно — святой! — поморщилась Марина. — К нему перли толпы больных, несчастных людей. И он никого не принял за последние два года. Кроме моей Ксюшки... А эта история с трактором «Беларусь»! Он же из-за этого наслал на своего внука заикание!

— Да что вы — наслал! — ужаснулась Ольга Алексеевна. — Ему были открыты

Божьи замыслы, — что, дескать, будет у ребенка заикание. Он пророк. «Норд-ост» предсказал... Скольким людям будущее предсказывал.

— Марина, — сказал я, — вы путаете святого и блаженного. Это блаженный кроток, а святой нет. Вспомните, как Сергей Радонежский...

— При чем здесь Радонежский, — прервала Ольга Алексеевна. — Мы про Семёна. Не сбивайте нас! Нам надо решить. Ваш Семен — обыкновенный деревенский алкаш...

— А что вы предлагаете? — напирала Марина. — Да, вот вы! Астрофизик или кто вы там. За всю жизнь ничего, кроме коммуналки, не нажили. И ваш сын будет сидеть в четырех стенах, пока не умрет. А здесь он будет пастухом. Сидеть один на поле, стихи сочинять. И проживет наверняка дольше, чем в этой задолбанной Москве.

Ольга Алексеевна опустила голову и молчала.

— Вы забыли про геном! — почти радостно сказал я. — У него же геном! Геном отца Николая!

— Черт бы побрал наши геномы! — Маринино лицо перекошилось, по щекам потекли крупные слезы.

— Когда мы поедем? — канючили Ксюша и Василий, высовывая головы из окна машины.

— Подождите, дайте поревесть... — отвечала Марина и пошла по дороге. Сигарета в ее левой руке крупно дрожала, в правую ладонь она пыталась спрятать мокрое лицо.

Я тоже куда-то пошел. Выпустил сигаретный дым в пустое осеннее небо. Стоявший справа и слева от дороги лес был тих. Слева приближался звук идущей навстречу машины. Справа, со стороны деревни, слышался протяжный скрип. Что это за звук, я так и не понял. Как будто раззявленная кем-то калитка, висящая на одной ржавой скрипучей петле, звала своего покойного хозяина назад, в усадьбу.

Дура фартовая

— Здорово! — в трубке раздался голос какой-то бабы. — У тебя есть фотка генерала Джарулы? Он там в камуфляже, в правой руке калаш, в левой — клюшка для гольфа. Не могу найти — ни в его архиве, ни в ЖЖ, ни на сайтах... Мы с Машкой искали-искали, ну знаешь, последняя его, рыжая такая пионерка. Помогает, помещение нашла для выставки.

Катя ничего не могла понять: пионерка? Выставка? Фотки? Но спросить не решалась. Баба явно не ошиблась номером и звонит ей.

— А этой фотографии у тебя нет — там лидер сербских националистов... как его? Ну как его!.. и мальчик с флажком, а?

— Воислав Шешель, что ли? — подала голос Катя.

— Ну да, Шешель и мальчик с флажком!.. Помнишь, он показывал эти фоты на сейшене в Царицыне, первого июня, еще пришел весь на отходняках, с Балкан только вернулся?.. Я тогда за водкой для него бегала, помнишь?

«Раз говорит про царицынскую поляну первого июня — значит, из хипповской тусовки, — поняла Катя, — но кто «он»?»

— Ты че-то не догоняешь. Ну, хоть ваши с ним командировочные фотографии у тебя есть? Полуголая герла в венке прыгает через костер, там, под Можайском, куда вы с ним ездили на Ивана Купалу?!

И тут комнату будто наполнили запахи весны и звуки бубна. Они с Володей Петренко шли на звуки по лесной тропе, и вокруг было все светло-зеленое, шумное, свежее. Он, огромный, с черными кучерявыми волосами, с печальными цыганскими глазами, впереди. Она за ним не поспевала. Потом, в потемках, вереница двигалась по ночному лесу, мужчины с факелами, женские глаза призывно мерцали из-под тяжелых венков. На поляне горят костры, в середине торчит идол, вокруг него в хороводе сплелись десятки влажных рук. Толпа становится коловратом и вращается, при-

зывая солнце подняться в светлое небо. Быстрее! Быстрее!.. Дорога каждая минута этой весны, надо прожить ее, а не проспать! Жрец — бородатое лицо обрамлено дубовым венком — просит у богов полной жизни, долгой молодости. Но он ничего не может, может только Петренко. Он щелкает и щелкает своим «Кэноном», в складках его майки залегла влага, он, как титан, непрерывно и в одиночку борется с Хроносом, перемалывающим нас с равнодушием машины...

— Не успеем, наверное, к сорока дням... — голос из телефонной трубки трещал и трещал, мешая Кате предаваться грезам о прошлом.

— К сорока дням? — переспросила она. — К каким сорока дням?

— Как это — к каким? — на том конце провода зависла пауза. — Ты что, не знала, что Володька умер? Ах ты, паразитка! Декоративное растение! Как он меня тогда локтем в бок толкнул на поляне в Царицыне, когда я к нему полезла! Думала, ребро сломал, так вдарил. Обломайся! Пошла вон, не мешай клеиться к Катьке. А ты только глаза на него пучила свои здоровенные. Зачем глаза пучила, тебя спрашиваю?

— Так он что, интересовался, что ли, мной? — обалдело произнесла Катя, но звонившую все равно не вспомнила. — В каком году это было? Ну, наш сейшен на поляне?

— В девяносто девятом... Фартовая ты девка, но дура! — прокричала тусовщица. — Лучший московский стрингер за гроши претя с тобой в какую-то дыру, как его... самый маленький город России... полторы тысячи человек... Я еще бегала в ларек и покупала газету с твоим репортажем и его фотографиями! Ну, городишко этот, еще назван в честь какого-то расстрелянного партизана!..

— Чекалин... — произнесла Катя и опять отключилась.

...Большой и грустный, как ньюфаундленд, Петренко сидит напротив настоящего чекалинского храма. Его цыганские глаза мерцают из полумрака. В храме пусто, ходят косые лучи. За окном буйствует летняя зелень. Глаза священника пусты, он рассказывает, как его дочь затащили в машину приезжие хулиганы, а местные стояли невдалеке и молчали. Как две недели ремонтировал полы в церкви, но доски крали каждую ночь, и он сдался. «А-а, — поп махнул рукой, — все равно никто не зайдет». И позвал за свечной прилавком, там и распили бутылку. Петренко быстро напился, и Катя злилась на него. ...После ходили в местную богадельню, бывшую прежде корпусами больницы. Для молодых оставили две койки, остальное заняли брошенные детьми старики. Дед с бородежкой жаловался на голод, дескать, его четыре тысячи забирают, а кормят от силы на полторы. Петренко насовал ему за пазуху мятых сотенных, наверняка, все командировочные спустил... Права, видно, тусовщица эта. Ради чего ему, именитому фотокору, стрингеру с баснословными гонорами, нужно было тащиться с ней на перекидных в такую даль?.. Пятьдесят баксов заплатили тогда ему за снимок...

Катя поднесла трубку к уху, у ее собеседницы, видно, был радиотелефон, который она взяла с собой в туалет. Струя билась о стенки унитаза. Прошумел слив.

...Потом были в похоронной конторе, единственном доходном месте в городе, — там рассказали, что в год умирает чуть не полсотни, а рождается два-три человека. Одно слово — Лихвин... Так назывался Чекалин до революции. С дореволюционных времен в городе остался острожный замок. Здешний дачник, академик, как-то предложил сделать из него гостиницу для богатых чудаков. С тех пор лихвинцы верят, что однажды явится кто-то добрый и богатый и отстроит замок, и поедут к ним туристы, и разбогатеют все так, что каждый сможет построить себе зимний нужник с унитазом...

«Так вот и я думала, — сказала про себя Катя, — что раздастся вдруг звонок и явится кто-то за мной и уведет в другую жизнь. Звонок — и обязательно утром... А вдруг это и был Петренко? Он и явился. Только не домой, а в нашу редакцию, к другу... Да ладно! Что за чепуха! Он был обычным фотокором, алкашом, неопрятным, грубым матерщинником. С попом тогда напился. На последнюю электричку опоздали. Пришлось мерзнуть, ловить попутку. Потом пересаживаться в другую, третью... Не бог весть какой был кавалер»...

— Он пытался спасти наш ГЛАВЖЛОБСБЫТ! — кричала хиппушка. — В одиночку!

— Чего спасти? — не поняла Катя.

— Ну, ни во что не въезжаешь! ГЛАВ-ЖЛОБ-СБЫТ! Страну спасти! Страну! — кричала тусовщица, и телефонная трубка звенела от ее визга. — Горби на Форосе записал видеопослание к международной общественности. Каким-то макаром кассета попала в Москву, в программу «Взгляд». Но взглядовцы не могли переправить ее на Запад. Повез Володька! Это хоть знаешь? Он рисковал! Он мог так накрыться! Он тогда работал в датской газете. Сел в поезд Москва—Хельсинки. И передал кассету в корпункт Си-эн-эн! Буржуи ему тогда хорошо отвалили. Купил флэт в центре. Потом продал, чтобы развязаться с чеченцами. Ему даже пришлось ховаться от них в Абхазии, он там два года землю пахал. Тогда как раз Грузия бомбила Абхазию. А ты знала, что Володька единственный из российских фотографов снял Ахмад-шаха Масуда?

Катя молчала.

— Фартовая ты герла, но дура! Такого мужика могла отхватить! А как он поехал на войну в Югославию — тоже не знала? Ну, ты дерево! Ему немцы съемки заказали. И у него не было ксивы! Они вдвоем с другом за ночь сделали ему удостоверение спецкора «Правды». Просто купили в ларьке газету и отсканировали... ну, эту... верхушку газеты...

— Шапку, — тихо поправила Катя.

— Да, шапку, с орденами! Слепили печать. На принтере! А как он прошел в Буденновскую больницу!

Хиппушка шумно вздохнула.

— Тогда по ящику показали его портрет. По приказу главара боевиков Салмана Радиева расстрелян фотокорреспондент Владимир Петренко. Я в нокауте, мне «скорую» вызвали. Володька сам потом рассказывал! Он с другими журналюгами бухал в Нальчике, подъехал бомбила, говорит, могу подкинуть в Буденновск. Другие труснули. А он поехал! С ним еще один писака. Влили в себя пол-литра — и двинули. Входят к Радиеву, тот в кабинете старшей медсестры. Говорит, фу, от вас несет кафирским напитком! Потом Володя пропал. Его спутник выбрался за кордон — и сразу телевизионщикам: Петренко убит.

— Так ведь он уцелел... — робко, со вздохом проговорила Катя.

— Помню, — не слыша Катю, проговорила бабенка, — думала тогда — любимый мужик погиб. Хотя у нас с ним ни фиги не было, все равно любимый! И вообще последний в России мужик! Для чего жить? Я в Текстильщиках на вписке. Ночь, зима. Пошла, легла на рельсы. А электрички нет. Ночная дыра в расписании. Заколела — насилу потом разогнулась. Дома в ванну, стучу зубами и реву. Вся на изменах. А потом кореш позвонил, живой, говорит, твой Петренко! Володька мне сам потом рассказывал, пошел на пятый этаж, сел на койку, заснул. Сколько выпил-то! Утром выбрался. Нет, ты подумай — люди близко подходить к больнице боялись, — а он спит там как младенец!

Катя не знала про Буденновск. Не знала и про то, как Петренко передавал горбачевскую кассету на Запад. Про то, как Володя снимал талибов, — слышала. Рассказывал в ее застолье. Она пригласила его на день рождения, он пришел пораньше и помог ей с готовкой. Ловко разделал рыбу, потер на нее сыра, залил майонезом, поставил в духовку. Еще салат какой-то мудреный сделал, с морепродуктами. Там были креветки, морская капуста... «Господи, — поразила самой себе Катя, — как это возможно? Помню состав салата, но не помню про его поездку в Буденновск? Не знала про кассету с горбачевской записью? Ничего о нем не знала?! Как это?»

Все вокруг знали, а она — нет? Какая необычайная глухота, тупость, полудрема, в которой она существовала, могла до такой степени скрыть от нее мир? От ужаса перед этой мыслью Катя замерла. Так праздная, темна и тяжела, во мне душа безликая бродила... И целовалась у язычников с каким-то белобрысым красивым мальчиком, залезли в кусты, ходила потом окропивленная... А на Петренко даже внимания не обращала. Ну, щелкает фотоаппаратом возле, и все!..

А когда все ушли с бездника, остался помыть посуду. Утопил в жирной кастрюле свой мобильник, он у него на груди висел. Вся телефонная база пропала! Шутка ли — для фотокора? Вышли на балкон, смотрели в ночное небо, он говорил, что ему сорок, а семьи, ребенка нет. Кому все оставить? Рассказывал, как отделявает новую квартиру, на даче канализацию сам мастерил... «Так я его даже не оставила, думала,

приставать будет, зачем мне? Поперся, в дым пьяный, к себе в Измайлово, через всю Москву, в третьем часу»...

Вернуться к реальности! Отогнать этот морок! Катя изо всех сил прижала к уху телефонную трубку. Слушала детский рев.

— Это дети, что ли, твои? — проговорила Катя занемевшими губами.

— У меня двое. Мне вот не попадалось таких мужиков, как твой Володя. Фартовая ты герла, фартовая. Я-то родила от своего хиппаря...

«Твой Володя». Катя болезненно поморщилась.

— Как только вырастила — не знаю. Машка кричит от голода — ей даешь грудь, а она все равно орет — молоко-то пустое. Потому что последний месяц я ела один рис. Говоришь своему: устройся куда-нибудь, а он: ты, мещанка недоделанная, не лезь ко мне со своими ничтожными просьбами. Я пишу великую книгу о роли человека в мироздании! Что делать? Ребенка за спину закинула, взяла дудочку — и в переход, собирать на хавку. Еще его, засранца, кормила... Ему сороковник стукнул — а он все волосатый ходит, с феньками по локоть. Я сижу дома с больным ребенком — а он идет проведывать, в него девочки семнадцатилетние влюбляются... Писатель! Опубликовал две статьи, и те в хипповском журнале. Одна называлась: «Роль травы в Библии».

— Какой травы? — не поняла Катя.

— Обычной. Каннабис. Анаша. Мол, там, где в Библии сказано про древо познания, — это на самом деле о траве сказано. Трава — это дерево, только ей вырасти не дают. Скуривают ее тут же... — собеседница кисло засмеялась. — На лето уезжали в Крым, жили на заброшенных дачах, без электричества. Муж семинары проводил по измененке...

— По чему?

— Ну, по измененке... Измененному состоянию сознания. Танатотерапию придумал. Кладут человека в спальник, в рот трубочку и зарывают на метр в песок. Песок сырой, давит на грудь, выбраться нельзя. Такой ужас! Сразу мозги на место встают. Даже от шизы помогает. Муж семинары проводит, умняки гонит, фрилавами занимается — а я, конечно, на набережную, аскасть, в одной руке дудочка, в другой ребенок... Соберу к вечеру мелочи — и в «Макдоналдс». Бывало, ребенок со столов недоеденные гамбургеры собирал. Осенью начинает ветер с моря дуть, дите хворает. Я говорю: пора ехать. А он: не хочу в Москву. Там не так работается, хочешь — ищи зимнюю квартиру. Мол, у одного из наших семинаристов здесь дом есть, с печкой. Мол, закрути с ним фрилав, может, позволит зимой у него пожить, все равно в Питер скоро укатит. Я говорю: как это закрути? А он: с резинкой — не считается. Ты с ним не соприкасаешься. Это как мастурбация.

Хиппушка замолчала.

— Второй раз решила покончить с жизнью под колесами машин. В последний момент спохватилась, что на мне мамыны трусы и драная майка. Меня ж в морге разденут! В другой раз не промахнусь! Придумала свой способ, верный. Он теперь на сайте самоубийц висит. И не где-нибудь, а в топе! Муж плел свою херню на семинаре по измененке, мне и влетело в голову. Инъекция бензина! Нет под руками — можно жидкость для зажигалок! Нет шприца — сойдет ингаляция! И мешок на голову, чтоб верняк. Легко! И обязательно в Крыму! Там и с Володей познакомились. Фестиваль снимать приехал. Увидела — сразу поняла: этот бы не позволил милостыню с ребенком просить. Мужик. Да на что я ему? Это ты у нас столичная журналистка, глаза как у коровы. А что толку? По ходу, ты только отмазы лепить умеешь. И чего он на тебя повелся?

Катя услышала щелчок зажигалкой, затем выдох. Звон стекла о стекло. Кашель. Опять звяканье.

«Пьет». И, наконец, вспомнила эту девку. Ходила за Володькой по царицынской поляне такая тощая-тощая, белобрысая и вся в прыщах. Подносила зажигалку, только он потянется за сигаретой. Бегала за спиртным. Расстилала ему пенку, когда он сгибал колени, чтобы сесть. А «лепить отмазы» Катя и в самом деле была мастерица. Все казалось, следующий будет лучше, и в итоге — одна.

Катя изумлялась вновь и вновь. «Мужик. Не позволил бы милостыню просить». Да, да! Именно. Может быть, он был единственным мужчиной, которого ей довелось

встретить. Выходит, прожила половину жизни, ничего в ней не понимая? А теперь одиночество, миомы, по утрам тоска такая, заброшенность, чувство обиды... что хоть... Бизнесмена бросила: он думал, что Первая мировая была где-то в девятистом году, а Рерихи еще живы. Тупой! Искусствовед, кстати, специалист по Рерихам, — только о своих Рерихах и трывдел — в жопу эгоцентрика! Музыкальный критик опять не угодил — бесчувственный, как мороженная треска, а еще с тонкими материями дело имеет! Геолог не купил белую сумку — жадный, физик не подал нищенке в метро — черствый. А вот живет же эта баба со своим... как же его? Это даже не человек, а хумбаба в чаще кедровой.

Катя смотрела через окно на падающий снег, как будто бы впервые видела его.

И опять реальность вдруг разрежали — будто ножницами блеклую обертку, и с небес потек густой желтый свет, как лопнувший яичный желток.

И память, не державшая обычно даже фактов, как будто, чтобы доставить ей еще больше утонченных страданий, предоставляла все больше деталей, слов, запахов, осязательных ощущений...

Вспомнила, как обозвала Петренко «вонючкой», когда он опрыскался спреем от блох у дверей приюта для бомжей под Новым Иерусалимом, и то, как, в ответ на ее упреки, он стал прыскать на нее, и как назывался этот самый спрей — «Барсик». Сказал, что всегда с собой его возит. Там, в километре от приюта, за лесом, виднелись купола знаменитого монастыря, задуманного патриархом Никоном как подобие Иерусалима Небесного. Они золотились на солнце, как обещание счастья, и только такие тупые бесчувственные существа, как приютские, — и она, она, Катя, — ничего не видели, не хотели замечать!

В одуванчиковом поле валялись грязные дети. Три тетки — чеченка, русская и армянка — сидели за дощатым заусенчатым столом и перебирали лук размером с грецкий орех.

Чеченка бодро командовала другими, но, как только Катя поднесла диктофон, тотчас же затянула с плаксивой интонацией профессиональной нищенки: «СВЧ-печку украли соседи, мешок картошки украли...». «Провода сельсовет отрезал...» — вторила ей русская так же заунывно и ровно, и было видно, что эти жалобы давно стали их единственной формой взаимоотношений с миром. В них звучало спокойное удовлетворение своей жизнью: да, нам плохо, но завтра будет не хуже, чем сегодня, и, значит, все идет хорошо. Армянка рассказывала, что в Москву ее вызвали сыновья, прижившиеся у москвичек. Москвичкам была не нужна свекровь, и она осталась здесь, хотя в Абовяне у нее был дом. «У меня в Армении и дом есть, и сад. Не знаю, почему не еду. Как-то привыкла здесь»... Деньги у содержателей приюта закончились, запал тоже, грантодателям все надоело, одни приютские были довольны. Собирали деньги по вокзалам, в метро.

Ступили на порог дома — доска на двух кирпичах. Сырое и темное обиталище дохнуло утробными запахами. Цементные стены, цементный пол с накиданными на него тюфяками. «У нас были нары, но мы их истопили зимой», — тянула чеченка.

Володя потрянул своими цыганскими кудрями в сторону леса, — он был в ста метрах от дома, — и выкатил свои черные глаза ньюфаундленда.

Видно, лес был также недоступен приютским, как и блиставший за ним Новый Иерусалим.

Чеченка вынула шишковатые ноги из разбитых мужских ботинок и поставила их на землю рядом с керогазом, где варилась пшенка. Петренко щелкнул кэноном.

Катя стала карабкаться вверх по сбитой из кривых нестроганных досок лестнице. Когда она обрушилась, Володя едва успел ее подхватить. Матерясь, он тащил Катю прочь и наконец кинул на одуванчиковый луг возле дома, как мешок. Она еще подумала, вот грубиян. Опустился рядом. Смотрели в небо.

«Дети тоже постоянно с этой лестницы падают, — канючили где-то сзади, — починить надо. Некому»...

Как же так? Она совершенно не понимала того, о чем сама писала! Вот обвинила приютских в душевной лени — а сама почему не осталась тогда с Петренко? Ведь, когда бегали вокруг монастыря в языческих рощах, вязали ленты на ветки, она уже чувствовала, знала... Или не чувствовала?

А потом из кустов появился ее будущий муж, Антон, как всегда, отслеживающий ее. Со всхлипами, выкриками, множеством лишних слов. Ей пришлось чего-то долго говорить, за что-то оправдываться... Она увязла в объяснениях. И, как обычно, уже вечером не могла вспомнить, что было причиной их дневной ссоры. Да, Антон не матерился бы, когда она свалилась с лестницы в приюте. Не напился бы в Чекалине, и им не пришлось бы всю ночь не спать, ловить попутки. Муж окружал ее заботой и лаской, но сама эта забота была какой-то липкой. Ей не хватало воздуха, свободы, самой жизни. Почему она не ушла тогда с Володей? Когда они стояли рядом, один большой и грустный, другой маленький, подвижный, шумный, в паутине слов, куда она вечно попадала — разве уже тогда она не почувствовала, с кем нужно быть? Из той же обреченности или лени, которая довлела и над приютскими, и над чекалинцами, она привычно потащилась за Антоном. Он все всегда делал за нее — наполнял содержанием их взаимоотношения, решал, куда они пойдут, будут ли жить вместе... С Володей надо было отвечать хотя бы за себя — ведь он ничего никогда не навязывал... Память на долгие годы похоронила этот майский день и другие поездки этого лета. Скрыла от нее все, что могло нарушить ее состояние анабиоза... Так праздная, темна и тяжела, во мне душа безлика бродила...

— Что, взывала теперь? — добивала ее белобрысая. — Ни себе, ни людям! Динамища, вот ты кто! — она перешла на крик. — Если бы ты не лупила! Свои коровьи глаза! У меня бы теперь была! Другая жизнь! А зачем ты лупила?! Зачем лупила? Сама не знала! По привычке!

— О-ой-ой... — Катя осела на пол кухни, все также сжимая в руке телефонную трубку.

— Я бы спасла его от раннего ин...фаркта! — Катина собеседница изрядно набралась и постоянно икала. — Мужик умер в й! сорок один й! год! От пьянки! Я бы не позволила ему пить! Й! Моему уже сорок пять! Й! А он только и может, что пилить вены в обезьяннике. А Петренко й! сделал за жизнь миллион кадров! Ми...й! миллион! М...ть... три ми! миллиона.

Катя зарыдала. Страстно, громко, с переливами.

Хиппушка ей подвывала.

— Ладно... — всхлипывала она. — Пригрузила я тебя. Прости меня... Й! Это я так... ничего бы у нас с ним все равно не вышло бы. На кой я ему?

Пришла спасительная мысль!

И Катя ему не нужна бы была! Он быстро жил! Сегодня Багдад, завтра Белград, послезавтра Грозный. И еще тусоваться успевал. Гостей принимал. Готовил хорошо... Он скоро бы понял, что Катя не поспевает за ним, и соскучился. Ничего не получилось бы.

Однако утешить себя не удавалось.

Не считала Петренко за мужчину потому, что он был толст, пил и матерился. Вышла за адвокатишку, чистенького, с правильной речью. А то, что он в детстве под стол прятался, когда отец мать избивал, и в расчет не брала. Мог ли он, такой, поехать в горные районы Афганистана, к талибам? Да ей это и не важно было. Главное, чтоб с ней сюсюкали. Антон был такой же бездарный, как она сама. А это и есть главное открытие сегодняшнего дня, а может, и всей жизни...

Петренко... Ну да, был грубоват, не церемонился с бабами. Ну а кто сказал, что мужчина должен быть таким, каким его хочет видеть женщина?

За полночь Катя перезвонила хиппушке:

— Нашла я твой способ на сайте. Нет больше его. Повезло, разыскала редактора.

— Тебе всегда везет, фартовая ты девка, но дура!.. Спасибо, сестренка.

Ганна Шевченко

Твои прекрасные глаза. Череда историй

Один час из жизни Ж

Ж вышла из подъезда и направилась к детской площадке. Не успела она сделать десять шагов, как перед ней появилась женщина с прозрачным пакетом в руке. В пакете лежали ботинки. Женщина щурилась, смотрела по сторонам, делала ладонь козырьком, пряча глаза от солнца. Когда она заметила перед собой Ж, спросила:

— Вы не знаете, где ремонт обуви? Я давно живу в этом районе, но ни разу не приходилось обращаться к мастеру. А сейчас такое... Время чинить обувь.

— Да, конечно, я знаю, — ответила Ж, — не раз к нему обращалась. Он хороший мастер, знает свою работу. Пройдите вон туда, за тот дом. А там еще один. Пройдете вдоль него и увидите дом, который стоит рядом. Обойдете слева и в торце увидите дверь с вывеской: «Ремонт обуви».

— Куда, покажите еще раз? — сказала женщина, сощурившись. — У меня плохое зрение.

Ж подошла к ней ближе и указала направление рукой:

— Вон туда, видите? Смотрите на направление моего указательного пальца. Видите?

— Плохо... — ответила женщина, — но я думаю, что найду. Спасибо...

Женщина с пакетом пошла в указанном направлении, а Ж продолжила свой путь к детской площадке.

Через пару минут ее обогнал крупный мужчина с собакой на поводке. Он взглянул на Ж и спросил:

— Можно сказать вам пару приветливых слов?

— У меня нет прописки, — ответила Ж.

Мужчина больше ничего не сказал и пошел дальше, придерживая собаку за поводок.

Когда Ж добралась до детской площадки, солнце было в зените. Недалеко от горки стояли трое качелей параллельно друг другу. Ж села на крайние и стала качаться. Прошло несколько минут, и на площадку пришли две толстых женщины с короткими стрижками. У одной волосы были светлые, у другой — коричневые. Они сели на двое других качелей и тоже стали качаться. Они сидели лицом друг к другу и разговаривали. Коричневая сидела спиной к Ж.

Шевченко Ганна родилась в 1975 году в городе Енакиеве Донецкой обл. Окончила МАУП (Межрегиональная академия управления персоналом, г. Киев). По образованию финансист. Пишет стихи, прозу. Публикации: интернет-журнал молодых писателей «Пролог», «Журнал поэтов», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Новая Юность», «Дети Ра», «Литературная газета», «Арион». В 2009 году вышла книга короткой прозы «Подъемные краны» в серии газеты «Книжное обозрение». Участник VIII и IX Форумов молодых писателей России в Липках, Волошинских фестивалей. С 2005 года живет в Москве. В «ДН» печатается впервые.

— Они стали по ночам выключать свет, — сказала коричневая.
— Вчера тоже, — согласилась светлая.
— А если у кого-то маленькие дети, — продолжила коричневая, — встанут ночью покормить ребенка, а света нет.
— Я проснулась сегодня в час, а вокруг темнота, — сказала светлая.
— Нужно позвонить в службу, — сказала коричневая, — у тебя нет городского телефона?
— Нет, — ответила светлая.
— А у вас нет городского телефона, — спросила коричневая у Ж, слегка повернув лицо.
— С собой нет, — ответила Ж.

На площадке появилась женщина с пакетом в руке. Она щурилась и смотрела по сторонам. Ж встала с качелей, сделала шаг навстречу женщине. Ботинки лежали в пакете.

— Не нашли? — спросила Ж.
— Я пошла, куда вы указали, и оказалась здесь.
— Вы сбились с пути, — сказала Ж.
— Все так сложно, — сказала женщина с пакетом, — я давно живу в этом районе, но ни разу не приходилось чинить обувь.
— Смотрите, вам нужно дойти до того кирпичного дома. Его угол виден за деревьями? Там еще один. Пройдете вдоль него и увидите дом, который стоит рядом. Обойдете слева и в торце увидите дверь с вывеской: «Ремонт обуви».
— Да, я поняла, я почти поняла, спасибо, — сказала женщина с пакетом и пошла в указанном направлении.

Ж решила вернуться домой и сделала несколько шагов. Вдруг толстая женщина с коричневыми волосами вскочила с качелей и плеснула помой на спину Ж из детского пластмассового ведерка, неведь откуда появившегося в ее руках. Ж почувствовала прохладную, липкую грязь и сказала:

— Все так сложно.
Когда она отошла от детской площадки, снова увидела крупного мужчину с собакой на поводке. Мужчина стоял на обочине, а собака писала под куст. Он заметил Ж и, видимо, забыв, что у нее нет прописки, задал тот же вопрос:

— Можно сказать вам несколько приветливых слов?
— У меня спина грязная, — ответила Ж.
— Это не страшно, — сказал мужчина, — духовное важнее материального.
— Все так сложно, — сказала Ж и направилась к своему подъезду.
Когда приблизилась, увидела на скамейке женщину с пакетом в руке. Она сидела, беспомощно свесив руки и опустив голову на грудь. Ботинки были в пакете.
— У вас снова не получилось? — спросила Ж.
— Я давно живу в этом районе, — ответила женщина.
— Он хороший мастер, он вам поможет.
— У меня плохое зрение, — сказала женщина.
— Подождите меня здесь, я помою спину и отведу вас, — сказала Ж и поднялась к себе.

Она помыла спину, вытерла полотенцем, оделась и услышала телефонный звонок. Ж подняла трубку.

— У вас есть свет? — спросил голос.
— Есть, — ответила Ж, положила трубку и спустилась по ступенькам вниз.

Коптильня

Это случилось дней десять назад. Очередь в кассу двигалась быстро. Передо мной стояла полная женщина в голубой блузе. В ее тележке лежала коричневая коробка с надписью «Коптильня». Она расплатилась и пошла к выходу.

Покупок у меня было немного: батон да бутылка кефира, поэтому через несколько минут я догнала женщину с копильней и снизила скорость, чтобы двигаться с ней синхронно. Шла, рассматривая ее широкую спину, вздрагивающие бедра и большую коробку в желтом пакете. Так мы дошли до моего дома, и я с удивлением заметила, что женщина с копильней входит в мой подъезд: раньше я здесь ее не встречала.

Когда женщина стала подниматься на мой этаж, я подумала, что она знакомая кого-то из соседей, но, когда она остановилась возле моей двери и, не дав мне опомниться, проникла в мою квартиру сквозь запертую дверь, мне ничего не оставалось, как открыть ключом, войти и спросить, что она делает в моей квартире.

— Я поссорилась с мужем, — ответила она, оглядываясь по сторонам и что-то выискивая глазами.

— Вы что-то ищете? — спросила я.

— Куда мне поставить пакет?

Я показала ей на угол возле двери. Она поставила пакет с копильней в указанное место.

— Я часто ссорюсь с мужем, — сказала она, — вы меня понимаете?

— Да, понимаю, — ответила я.

— Я сама провоцирую скандалы.

— Зачем вам это?

— Когда не ссоримся, мы ложимся вечером в постель, и он вынуждает меня делать это. Вы понимаете?

— Отчасти.

— Я не знаю, зачем ему это нужно. Понимаете?

— Не совсем.

— Мне кажется, гораздо логичнее лечь в постель и спать. Как вы думаете?

— Ну...

— А когда мы в ссоре, я ложусь, поворачиваюсь к стене и спокойно сплю. Ведь когда муж и жена в ссоре, они обычно это не делают. Так ведь?

— Наверное.

— На днях мы сильно поссорились, а я, вот, купила копильню. Боюсь, что он будет недоволен. Пусть она постоит у вас недолго, я помирюсь с мужем, подготовлю его, расскажу о копильне, а потом приду, заберу. Хорошо?

— Да, конечно, пусть постоит, — ответила я и не успела опомниться, как она вышла так же, как и вошла, сквозь запертую дверь.

Не знаю, помирилась ли та женщина с мужем, но за последние десять дней рядом с копильней появились фритюрница, миксер и складной мангал для шашлыка.

А еще я несколько раз пыталась пройти сквозь закрытую дверь, но у меня не получилось.

Пакет

— Во мне — сто двадцать четыре килограмма, — сказала она и села рядом.

Я подвинулась, а она немного поелозила по сиденью, чтобы устроиться удобнее, и замерла, положив руки на колени. Я оказалась зажатой между стеной и ее большим телом, в ладони моей блестела упаковка от съеденного мороженого, которую некуда было выбросить, и я решила, что мне не повезло.

— В соседний вагон зашел контролер, — сказала она, — сейчас побегут зайцы.

И действительно, внезапно через вагон хлынул поток зайцев. Они застыли, как чиновники в финальной сцене «Ревизора» и проплывали в однообразных позах, словно манекены на конвейерной ленте.

Вагон опустел, и, наконец, появился Контролер. Он подходил к оставшимся пассажирам с указкой в руке, как школьный учитель. Показывал на лицо человека, что-то говорил в пустоту, словно проводил экскурсию себе самому.

Вскоре он подошел к нам и указал на мою соседку:

— Посмотрите на этот экспонат, весит она сто двадцать килограммов.
— Сто двадцать четыре, — поправила женщина.
— Посмотрите на угол расположения ее морщин. Вот эти свидетельствуют о сварливости, а вот эти о полной беспомощности... А ее рот! Это же находка! Края обвисли, как ветви ивы, и вросли корнями в подбородок. Но, несмотря на то, что рот по форме напоминает подкову, эта женщина никогда не была счастлива...
— Еще бы, — сказала она, — тридцать лет с неудачником...
Контролер собрался уходить, но я окликнула его:
— Почему вы не смотрите на меня? Почему не машете указкой? Почему не смотрите направление морщин? — возмутилась я.
— Вам нужно избавиться от мусора, — сказал Контролер, — вот, познакомьтесь — это Пакет.
И тогда я заметила, что у его ног стоял зеленый целлофановый пакет с надписью «Гринпис». Он шевельнулся и, неуклюже переваливаясь, направился ко мне, используя нижние углы как лапы.
— Приятно познакомиться, — сказала я и бросила в него упаковку от мороженого.
Контролер направился к следующему пассажиру, а Пакет остался со мной. Теперь он сопровождает меня, куда бы я ни двигалась.

ЗОНТ

— Когда я замужем, я увядаю, — говорила она, сидя в глубоком кресле-ракушке, — черты мои стираются, взгляд меркнет, кожа тускнеет. А стоит развестись — расцветает, как роза, излучая мерцание сквозь поры лица.
Она протянула руку, взяла с тумбочки пилочку и стала подпиливать ноготок на мизинце.
— Зачем ты столько раз выходила замуж? — спросила я.
— Не знаю, — ответила она, — получалось как-то само собой...
Мне нужно было уходить, и я сказала ей, что пойду, что сама захлопну дверь, пусть она не встает, не беспокоится, подпиливает дальше свой мраморный ноготок.
Я вышла в прихожую, набросила на плечо свою сумочку и почему-то прихватила ее зонт. Маленький аккуратный зонт янтарного цвета с чуть заметными горчичными краплениями. Я не понимала, зачем взяла его. Я вышла, захлопнула дверь и, спускаясь по ступенькам, думала, зачем же я его взяла?
Вдруг щелкнул замок. Она показалась в дверях и крикнула:
— Ты случайно не видела мой зонт?
В это мгновение я подумала, что, если я скажу ей, что зонт у меня в руке, она спросит, зачем я его взяла, а я не найду что ответить. Что я могу на это ответить, если сама не знаю, зачем взяла его. Я крикнула: — нет! — и стала коряво и неуклюже прятать зонт под полу пиджака. Я подумала, что сейчас тихо унесу его, а потом принесу и незаметно положу куда-нибудь, например, под кресло-ракушку. А потом буду вместе с ней удивляться тому, как он оказался под креслом и почему раньше она его не заметила. К тому же мне не нужно будет придумывать нелепые объяснения, зачем я взяла этот зонт, а она не будет при этом смотреть на меня взглядом, от которого захочется умереть.
Но у меня не получилось как следует его спрятать, у меня дрогнула рука, из-под пиджака показался его краешек.
Она увидела его, посмотрела на меня тем самым, невыносимым взглядом и заговорила:
— Почему ты взяла мой зонт?! Зачем ты держишь его под пиджаком?! Для чего он тебе нужен?! Как ты объяснишь свое нелепое поведение?! Отчего ты молчишь? Что за вздор! В чем логика?!
И вдруг что-то жившее во мне и долгое время не находившее выхода выстрелило, как пробка от шампанского, исторглось, как пена его, как брызги:
— А как ты мне объяснишь то, что ты отбила у меня первого мужа? Скажи мне,

почему ты сразу после венчания соблазнила второго? Отчего я застала тебя в постели с третьим?! Почему ты тайно встречаешься с четвертым? Что за вздор?! В чем логика?! Отчего ты молчишь?!

Мои слова звенели и рассыпались по лестничным пролетам, а она стояла и смотрела на меня взглядом, от которого хотелось умереть.

Твои прекрасные глаза

Мой муж очень рассеян, он часто теряет части тела. В основном это пальцы. Подобрать им замену не так просто. Биологи выращивают, как правило, органы стандартной формы, и человеку с индивидуальными особенностями трудно подобрать себе подходящий. Когда муж потерял указательный палец правой руки, я долго бегала по магазинам биоматериалов и разыскивала длинный, как у пианистов, палец с продолговатым ногтем. Когда же я, наконец, нашла то, что искала, и принесла его домой, этот указательный палец оказался настолько длинным, что средний теперь был короче на полсантиметра. Но муж сказал, бог с ним, и мы прекратили поиски.

Этим летом в Ялте на пляже он потерял большой палец левой ноги. Вышел из моря — а пальца нет. В такое время в курортных городах в магазинах биоматериалов — пустые прилавки. Отдыхающие напиваются, теряют контроль над собой и вдвое чаще теряют части тела. Мы даже отчаялись вначале и решили, что он поедет в Москву без пальца, но случайно, в маленьком магазине на окраине, нашли большой палец левой ноги. На удивление, он оказался продолговатым и крупным, очень похожим на природный.

Но сегодня утром произошел случай из ряда вон. Я мылась в душе, а когда вышла, муж сидел на корточках посреди гостиной, не поднимая головы, и нервно шарил ладонями по полу.

— Что-то случилось? — спросила я.

— Случилось... — сухо ответил он.

— Опять что-то потерял?

— Потерял...

— Что?!

— Что...

— Посмотри на меня! Ты как-то странно разговариваешь!

— Странно разговариваешь...

— Посмотри на меня!

Он поднял голову, и я увидела, что у него нет глаз! Только розовые впадины с красными прожилками.

— Боже мой! Что случилось?

— Случилось... — ответил он.

— Где ты мог их потерять? Ведь десять минут назад они были на месте!

— На месте...

Я принялась искать его глаза по всей квартире. Заглядывала под столы и тумбочки, передвигала стулья, шарила веником за шкафами, рылась в комодах. Глаз нигде не было.

— Мне кажется, я смыл их в унитазе, — сказал муж, — когда я вышел из туалета, вокруг потемнело.

— В таком случае, нужно бежать в магазин за новыми глазами.

— Купи мне, пожалуйста, голубые...

— Но ведь у тебя были серые!

— Пожалуйста...

Я набросила плащ, бросила в карман кошелек и побежала в магазин биоматериалов. К счастью, недавно был завоз товара, и выбор глаз был большим. Я выбрала голубые, глубокие, чистые. Продавец в бело-розовой форме корпорации «БиоДетали» сказал, что глаза приживаются сложнее, чем другие органы, и могут быть побочные эффекты. Нужно первые несколько дней бережно обращаться с тем, кому эти глаза предназначены, постараться не волновать его.

Муж долго крутился перед зеркалом, рассматривая себя:

— Как я тебе?

— Хорошо, — ответила я, — только непривычно...

— Мне нравится, — сказал он.

Вся улеглось, я стала готовить обед, а муж, как обычно по выходным, взял пульт, лег на диван и включил телевизор.

Вдруг я услышала, что он ругается. Я испугалась и направилась в гостиную. Он сидел на диване, щелкал пультом и возмущался:

— Черт! Что это за мерзость! Как я раньше мог это смотреть! На всех каналах — одно дерьмо! Черт! Ведь я раньше смотрел это!

— Включи dvd, — предложила я.

Он подошел к полке, на которой стояли диски, и стал перебирать их. Потом яростно смел:

— Новые комедии... голливудские мелодрамы... блокбастеры... триллеры... Какая мерзость! Нечего смотреть! Нечего смотреть!

— Успокойся, пожалуйста, — сказала я, — приляг на диван. Сейчас я тебе сделаю чай с мелиссой. Возьми книжечку, почитай... успокойся...

Он поднял глаза, просмотрел книги, которые стояли на верхней полке.

— О, Боже! Да здесь же одна макулатура! У нас в доме ни одной приличной книги! Одни глянцево-рожи! Как мы живем!

— Пожалуйста, успокойся, — утешала я его, — сейчас я сбегаю в книжный магазин и куплю все, что ты захочешь.

Я побежала на кухню, налила в стакан немного воды и добавили двадцать капель корвалола. Вернувшись, протянула стакан мужу, но он оттолкнул мою руку, и лекарство выплеснулось на пол.

Я набросила плащ, взяла кошелек и вышла из квартиры. Он выбежал вслед за мной на лестничную площадку и повторял:

— Блие! Феллини! Гринуэй! Антониони! Бергман!

А когда я вышла из подъезда, он выскочил на балкон и кричал мне вслед:

— Борхес! Кафка! Пруст! Гессе! И Джойса! Джойса не забудь!

Мой мир и все, что в нем

Я почти не помню своего детства. Те редкие вспышки воспоминаний, которые возникают в сумрачной моей жизни, скорее похожи на кадры давно увиденного детского фильма. Себя я вижу как-то со стороны, отчужденно, и не могу вспомнить ни одной мысли, ни одной эмоции, которые трогали бы меня тогда.

Семья у нас была большая и бедная, замуж я вышла рано, и все четкие, осознанные воспоминания начинаются с того момента, как муж привез меня в наш уединенный дом. Супруг мой был философом и сторонником нового трансцендентализма. Он проповедовал возврат к природе и критиковал современную цивилизацию. Из книг в нашем доме был томик Генри Торо «Уолден, или Жизнь в лесу», собрание сочинений Жан-Жака Руссо и потрепанная подшивка напечатанного на тонких листах труда Диогена Лаэртского «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов».

В молодые годы мой муж вел разгульный, божественный образ жизни, но, пережив ряд потрясений и разочарований, решил навсегда уединиться в тихом доме на окраине цивилизации. Прежде, чем стать отшельником, он приехал к моим родителям и попросил моей руки. Отец, опасаясь, что молоденькая девочка из бедной семьи может не найти приличной партии или пуститься во все тяжкие, как многие из моих ровесниц, не долго думая, дал согласие на брак.

Так я совсем еще неопытной девчонкой оказалась под одной крышей с незнакомым мужчиной намного старше, в скромной деревянной избе на берегу тихого озера.

Жили мы скромно и тихо. Мой муж разбил возле дома большой огород и построил несколько сараев. К тому моменту, как я вошла в дом, он закупил цыплят и молоденькую рябую телочку. А вскоре у нас появились два поросенка.

Посреди кухни стояла большая русская печь. Дрова муж готовил все лето. Приносил из леса спиленные деревья, делил их на поленья, сушил, рубил и складывал под навес. Также все лето мы готовили запасы на зиму. Растили овощи на грядках, собирали в лесу грибы, ягоды, лечебные травы.

Порой он ходил в лес на охоту, иногда с удочкой сидел на берегу озера.

Свободного времени у нас почти не оставалось. С раннего утра мы занимались хозяйством, а поздно вечером, уставшие, ужинали и ложились спать. Разговаривали мы мало. На всякий мой вопрос он коротко отвечал словами Кратета: «Жевать бобы и не зная забот». Когда я заводила разговор об одиночестве, он говорил, что одинок тот, кто окружен льстецами. А супружеские обязанности исполнялись как-то стерильно, словно проводилась медицинская процедура.

В свободные минуты, которые мне выдавались, я сидела на берегу, на деревянной кладке, наспех сколоченной моим мужем, и смотрела на гладь озера. Иногда бросала камушки и считала круги, расходящиеся по воде. Когда хватало времени, плела венки из полевых цветов и пускала по глади озера. Зимой вязала или шила пледы из кусочков старых лоскутов.

Муж в это время обычно забирался на чердак и занимался «своими вертушками». Он конструировал установку для превращения энергии ветра в электрическую. В темное время суток мы использовали свечи, но он мечтал соорудить собственную, миниатюрную электростанцию. Весь чердак был завален приборами, катушками проводов, коробками с инструментами. Мы жили в тихом месте, окруженном сосновым лесом, и сильный ветер был для нас редкостью. Но муж был настойчив и день ото дня каждую свободную минутку сидел на чердаке и делал измерения.

От прошлой жизни у моего мужа осталась старая «Нива», которую он выгонял иногда из деревянного гаража и ехал в город. Я ни разу там не была, даже не знаю, как он назывался. Я несколько раз просила взять меня, но муж отказывал, говорил, что город агрессивен, что он подавляет и опустошает человека. Он загружал в багажник излишки нашего хозяйства и вез продавать на рынок. После покупал самое необходимое и к вечеру возвращался домой. Иногда он привозил мне какую-нибудь безделушку — зеркальце или бусы. Иногда нитки или пряжу для рукоделия.

Однажды, оставшись одна, я полезла на чердак. Уезжая, муж поручил мне оборвать липовый цвет, и, чтобы его высушить на зиму, я решила освободить немного места на чердаке. Забравшись туда с мешком липы, я аккуратно освободила небольшую площадь. Перекладывая приборы, я старалась сохранить порядок, в котором они лежали на полу, чтобы муж не ворчал на меня. Высвобождая место в углу под самой крышей, я обнаружила небольшую коробку, заваленную старыми тряпками. Открыла ее и достала небольшой телевизор с выдвижной антенной. Мой муж никогда не говорил, что купил его. Напротив, несколько раз уверял, что телевидение — это самое страшное оружие цивилизации.

Еще до замужества, когда я жила с отцом и матерью, я, конечно, иногда видела передачи. В основном мне позволяли смотреть новости. Порой краем глаза следила за сериалами, которые смотрела мать. Конечно, мне всегда хотелось остаться наедине с телевизором и насмотреться того, что душа пожелает. Я провела рукой по маленькому телевизору, найденному на чердаке, и нажала красную кнопку.

На чердаке я провела полдня. Чего я только не увидела за это время! Рекламу дорогих курортов на берегах лазурных морей, косметических средств, делающих кожу мягкой и бархатистой, современной бытовой техники, способной выполнять всю домашнюю работу и облегчить жизнь женщины. Узнала, что если брить ноги каким-то особенным лезвием, то шелковый платок, брошенный на гладкую поверхность ноги, юрко проскользнет по всей голени, нигде не зацепившись. Меня поразила передача, в которой дизайнеры интерьера приехали домой к зрителю и за считанные минуты преобразили его жилье. Мне даже во сне не снилась такая красота! Гладкие стены,

покрытые гипсокартоном, пол, застеленный ковролином, белые подвесные потолки с обилием встроенных лампочек!

Когда муж ближе к вечеру вернулся с рынка, сразу заметил во мне перемену.

— Что с твоим лицом? — спросил он.

— Ничего, — ответила я.

— Отвечай, — настаивал он.

Я молчала.

— Почему ты не хочешь со мной разговаривать?

— О чем нам разговаривать? — надменно спросила я.

— Ты нашла его! Я так и знал! Нужно было забрать его с собой! Ах, мерзкий, мерзкий ящик!

Я повернулась и направилась к дому. Он догнал меня и схватил за руку.

— Ты хочешь увидеть мир! Ты хочешь увидеть омерзительный мир! Ты злишься, что я прячу его от тебя!

— Да! Ты упрятал меня в эту тюрьму! Превратил в бесплатную рабыню! Держишь меня на привязи, как собачонку!

Он на минуту задумался, затем с силой потянул меня за руку и швырнул на переднее сиденье машины, которая все еще стояла возле дома. Сел за руль и завел мотор.

— Ну, держись! Сейчас ты все увидишь!

Около часа мы неслись по лесной дороге. После перед моими глазами раскинулась бескрайняя степь, выжженная солнцем. Дорога, по которой мы ехали, словно делила ее пополам, и вокруг был виден только горизонт. Еще один час пути мы провели в полном молчании. Муж, словно восковая фигура, держался за руль и смотрел перед собой. А я, вдоволь насмотревшись по сторонам, нервно комкала подол платья.

Наконец, впереди показалось какое-то сооружение. Издалека оно было похоже на яркий высокий бисквитный торт, выложенный на блюдо степи.

— Что это? — спросила я мужа.

— Супермаркет, в котором есть все! — ответил он.

Мне представлялось, что магазины являются частью города, и теперь это огромное сооружение, построенное посреди голого поля, казалось неестественным.

Мой муж остановил машину возле входа.

— Иди, — сказал он, — я буду в машине.

— Но у меня нет денег, — ответила я.

— Они тебе не понадобятся.

Я вышла, хлопнула дверью и пошла к магазину. Все его стены оказались стеклянными. Вверху, ближе к крыше, был вывешен ряд ярких рекламных щитов. Я остановилась на минуту, с нетерпением наблюдая жизнь, бурлящую за прозрачными витринами. Супермаркет был полон людей. Полки завалены товарами. Возле каждого отдела стояли продавцы в одинаковой одежде со значками на груди.

Я подошла к двери с надписью «вход» и дернула за ручку. Дверь не открылась. Я дернула еще раз. Снова то же. Я пошла вдоль прозрачной стены. В этом магазине было много-много дверей, и я дергала за ручку каждую из них. Я обошла по периметру все здание. Ни одна из дверей не открылась. Мне подумалось, что это какая-то ошибка и снова попробовала обойти все двери. Все входы были закрыты. Я в отчаянии прижалась к стеклу и стала бить кулаками. Никто меня не услышал, не повернулся в мою сторону.

И вдруг я увидела то, чего не замечала раньше. Все покупатели в магазине, все продавцы, все прилавки и тележки были сделаны из цветного картона. Они стояли недвижимые и комичные, как куклы на детской аппликации. Жизни в этом магазине было меньше, чем на старом деревенском кладбище.

Я отшатнулась от стекла и побежала к машине.

— Поехали домой... — попросила я.

— Нет, — ответил он, — я должен показать тебе город.

Начало смеркаться. Мы ехали по степи и все больше отдалялись от дома. Через час стемнело, и я боялась, что мы заблудимся. Наконец, впереди показались огни.

Большой, величественный сгусток огней. Я почувствовала волнение и трепет внутри. У меня вспотели ладони, участилось биение сердца. Мне казалось, что сейчас свершится неожиданное чудо, как в детском, святочном рассказе.

Муж остановил машину и сказал мне:

— Выходи.

— Почему? — спросила я, — мы ведь еще не приехали.

— Приехали, — ответил он.

Я вышла из машины и оглянулась. Мы стояли на пустынной плоскости, ярко освещаемой откуда-то сверху.

— Это город? — спросила я.

— Это город, — ответил муж.

Вокруг нас высились мощные, высотные металлические конструкции, густо усеянные яркими фонарями. Огромное, монолитное, стальное чудовище. Скелет города, украшенный огнями, как рождественская елка.

— Это город? — переспросила я. — Где же дома, больницы, школы? Где театры, галереи, гостиницы? Зачем ты меня обманываешь!

— Это и есть твой город, — ответил муж.

— Но ведь его нет! — закричала я.

— Все правильно. Его нет. Это иллюзия. И супермаркета нет. И продавцов нет. И школ нет. И больниц нет.

— Как нет? — не поверила я. — Я ведь все это видела по телевизору!

— Все это тотальный обман! Мощная, глобальная афера! Ловушка для таких дур, как ты! Смотри почаще телевизор! Они тебе еще не такое покажут!

— Но как же это... Я ведь знала людей, которые все это видели...

— Ложь! Все ложь!

Он развернулся и пошел к машине. Я пошла за ним, села рядом и взяла его за руку.

— А ты? Ты есть?

— Меня тоже нет! — ответил он. — Запомни, единственное, что у тебя есть, — это маленький деревянный домик на берегу тихого озера. Запомни это и возвращайся домой.

Это были последние слова, которые мне суждено было слышать. Я почувствовала, как исчезает из моей руки его ладонь, как проседает подо мной автомобильное кресло. Вскоре исчезла машина и сверкающие конструкции вокруг меня. Я лежала на спине посреди ночного, картонного поля. Подо мной был мягкий бархатистый ковролин, от которого пахло травой. А надо мной — бескрайний черный потолок с миллиардами миниатюрных встроенных лампочек.

Евгений Беве́рс

Рассказы

Сказки Крайнего Севера

Я сижу на солнце, сосу сосульку и улыбаюсь ветру. Думаю о хорошем — ни о чем: о солнце, на котором сижу, о ветре, которому улыбаюсь, о сосулке не думаю, потому что она кончилась. Думаю о близкой метели, но не перестаю улыбаться, потому что я еще маленький и ничего не понимаю. Я мальчик в костюме шайтана: шапка, перекрученная шнурком, искусственная шуба, штаны с начесом, натянутые на пимы, и варежки на резинках — это очень удобный костюм, но совсем не модный, поэтому я беден и поэтому я всегда один, именно поэтому, а не потому, что не выговариваю букву «р» — как говорит ворона, и не потому, что у меня текут из носа сопли — как говорит заяц, а именно из-за костюма — так говорят все.

Взрослые много пьют и попадают в желтокаменный дом, я очень боялся этого, потому совсем не пил и поэтому сперва попал в белокаменную больницу, а затем в сад. В саду тоже плохо, поэтому я люблю спать где попало.

Ксан-санна оглядывается, считает детей по головам и кричит:

— Где Шайтан?

Мадь-ванна зло выжимает тряпку, вытирает со лба пот ручьем и ворчит себе под нос:

— Опять где-нибудь спит, поглядите в унитазе или в помойном ведре!

У Ксан-санны ногти длинные, поэтому она воспитательница и поэтому добрая, а у Мадь-ванны короткие, поэтому она уборщица и поэтому злая. Когда-то давным-давно, дней пять или даже шесть назад, Мадь-ванна тоже захотела стать воспитательницей и сказала мне, что если я буду спать где попало, то в ухо мне залезет двухвостка и съест мозги. Я очень испугался и с тех пор начал затыкать уши тряпочками, я не перестал спать где попало, но совсем перестал слышать. Тогда Мадь-ванна получила от Ксан-санны нагоняй и пошла стричь ногти.

Теперь Сюрюга-зох находит меня и кусает за палец, тогда я просыпаюсь. Палец болит и кровоточит, а к вечеру пухнет, но я не могу не спать, потому что во сне ко мне приходят сказки и я должен их встречать, поэтому я не перестал спать где попало, но стал надевать наперсток.

Во сне Кэлэ переворачивает Сюрюгу-зох вверх ногами, втыкает головой в землю и хитро спрашивает:

— Вам ничего это не напоминает?

Ворона смущенно улыбается, заяц трясется от страха, тогда Кэлэ разрывает Сюрюгу-зох пополам, одну половину дает Ксан-санне, а другую Мадь-ванне, маленький Агвын-юк-ак весело смеется, и тогда все начинают смеяться. Только Сулус-звездочка не смеется, но она сейчас далеко — в стойбище, и поэтому мне совсем плохо и поэтому мне нужно лететь.

Евгений Беве́рс — прозаик. Родился в 1973 г. в Новокузнецке, окончил Кузбасский госуниверситет, опубликовал две книги: «Полупроводник» и «Горизонт», писал для мужского журнала «Профессионал». В 2008 г. переехал в Москву. Лауреат Международного Волошинского фестиваля (2009 г.).

Я бегу, я задыхаюсь, я плачу, сопли длинной зеленой скакалкой путаются под ногами, а потом замерзают и бьются, разлетаясь на тысячи острых осколков: больно! Только бы не опоздать в аэропорт! Но сил больше нет, очень хочется пить. Веселая мороженщица продает прохладительные, горячительные и простые напитки.

— Дайте мне, пожалуйста, газидовки.

— Пожалуйста. Персик — три рубля, вишня — три с половиной.

— Но у меня нет дублей.

Она перестает улыбаться, наклоняется и шепчет на ухо:

— Только для тех, кто летит в тундру, и только бесплатно — медвежья кровь.

— Тогда, пдошу вас, будьте так добды, налейте мне стакан медвежьей кдови!

* * *

Тяжелый транспорт «Сикорский-32-12-север» ядовито-оранжевого цвета с зеленой полосой чуть ниже выпученных окон медленно поднимается над снежной пустыней, своей неповоротливой мощью он напоминает майского жука. Внутри жука пахнет спиртом, нездоровыми зубами и мокрой шерстью, потому что напротив сидят геологи, рядом почтенный странник, а на полу собаки. Рыжебородый ковыряет в носу, поэтому морщится, смотрит на товарища, говорит громко:

— В прошлую вахту затесался к нам один писатель. Крутился-вертелся, а потом возьми да напиши рассказ «Медведь на буровой». Пригласил нас послушать, — геолог отвлекается, потому что вытаскивает из носа большую зеленую козу, убивает ее об штаны и продолжает. — Ну, мы как-то быстро все съели и говорим, что, дескать, народ здесь темный, на ухо тугой, поэтому с первого разу ничего не понимает, короче говоря, завтра придем, — рассказчик продолжает ковырять в носу, но теперь рвет оттуда волосинку, поэтому чихает, вытирает слезы и прячет руки за спину, чтобы не мешали говорить. — Ну, писатель все понял и на следующий день только чай поставил. Мы ему — вроде как «с чем пить будем»? А он: дескать, с удовольствием. Тогда доктор ему и говорит как бы невзначай: «Завтра прививку ставить будем». Писатель сразу обеспокоился: «А куда прививку-то?» — Рыжебородый улыбается, потому что в конце надо смеяться. — «А прививки-то на Севере все вдогонку ставятся».

Страннику скучно, поэтому он заглядывает мне в лицо и качает головой:

— Не слушай их, ведь они анекдоты, а тебе нет места в том мире. Послушай лучше сказку.

Я морщусь и кашляю, потому что воняет:

— Пдошу вас, не говорите, пока не дажуете эту жвачку, сказки не могут так плохо пахнуть.

Странник боится, что его не станут слушать, поэтому сильно жует жвачку и продолжает уже без страха, потому что теперь сказки пахнут морозной свежестью.

...Бежал однажды заяц от Кэлэ, а на пути ворона.

— Спаси меня!

— Ладно, полезай в яму.

Подбегает Кэлэ.

— Где заяц?

— Да я его на Луну отвезла. Видишь серое пятно с краю? Так вот он и есть.

Кэлэ в ту пору только что из города вернулась и говорит ей так:

— В общем, ситуация следующая: либо мы летим на Луну и я ем зайца, либо мы никуда не летим и я ем тебя.

Сговорились быстро. Посадила ворона Кэлэ на спину, и полетели они, высоко-высоко поднялись, а тут ворона возьми да и скинь Кэлэ вниз, упала та и воткнулась головой в землю так, что одни ноги торчат, поэтому с тех пор в том месте стоят черные ворота.

Я смеюсь и вдруг вижу, что две собаки грызут лапу третьей, а та молчит и улыбается, может, потому, что не хочет им мешать, а может, боится их и поэтому думает, что они ее пожалеют, а может, потому, что это сказка и ноги не жалко, так как вырастет новая и в следующий раз можно съесть чьи-нибудь другие ноги.

Самый большой пес злится и поэтому говорит:

— Не слушай их. Смотри: на ногах у рыжего геолога унты из бабушки моего

соседа, а у странника шапка из моей тети и вся одежда из нас. Где же тут справедливость? Одна радость в жизни — бежать по бескрайней тундре сквозь пургу на запах костра, но только я знаю, куда бежать, и сегодня самое время за все рассчитаться.

Вдруг вертолет начинает сильно качать, потому что близко черные ворота, из метели поднимается огромное женское лицо. Пилотам страшно, и поэтому они кричат:

— Что это?! — А потом еще: — Стреляй! Стреляй!

— Не надо! — ору я. — Это Кэлэ!

Машины трясет, качает, бросает куда-то в сторону, поэтому я падаю на пол. Собаки ласково накрывают меня своими пушистыми телами, все стихает, я успокаиваюсь и вдруг чувствую, как они грызут мою ногу.

— Нет, не надо! Не надо!

— Ну не надо так не надо, чего кричать? — говорит большой пес, потому что не выносит детского крика.

Странник уже рассказал сказку, поэтому встает, открывает дверь и прыгает вниз, собаки прыгают за ним.

Рыжий геолог выпил, поэтому говорит:

— Не слушай его. На свете все просто — начни работать и согреешься, а он это делает каждый раз, чтобы все сказали: о, да! Для нас за бортом — смерть, а для него — жизнь. Вот это круто — его собаки по запаху костра донесут до стойбища. Все думают, что он великий охотник, а он великий бездельник, его уже отовсюду гонят — тщеславная сволочь! — вот кто он, и дочка его Сулус-звездочка просто дурочка.

— Как? Неужели она его дочка? — кричу я, потому что шумно. — Неужели? — А потом уже кричу, потому что обидно. — «Где же тепедь искать Сулус-звездочку и как она будет плакать, если большой пес отомстит ее отцу за свою тетю? Сами вы дудочки, а он надодный сказитель, сданный Севеда, и почитают его везде и дады видеть!»

Я прыгаю вслед за странником и падаю за борт, падаю в пургу...

Беги, мальчик-шайтан: маленький снаружи и большой внутри — огромный как тундра, могучий будто Кэлэ, отчаянный словно Агвын-юк-ак. Беги сквозь бурю, раз нет тебе места в этом мире, быстрее зайца, быстрее вороны, мимо «черных ворот», мимо «китового камня» в неизвестное стойбище, где из белой яранги навстречу тебе выйдет Сулус-звездочка, добрая и прекрасная, как сама сказка.

Плацидия

Сегодня опять снилась плацидия — грязно-белая гадина в черных бородавках, такая медуза с человеческим лицом. У нее огромный лоб, переплетенный решеткой толстых варикозных вен, а ниже сразу верхняя губа, надменно изогнутая, падающая на массивный сальный подбородок, — редкостная тварь, скажу я вам, эта плацидия!

Да, именно плацидия, пусть даже я совершенно не представляю себе, что означает это слово — может быть, скользкого тысяченогого червя или красавицу-жену цезаря.

Толковый словарь угрюмо смотрит со своей дальней полки и, поднимаясь на цыпочки, выглядывает из-за плеча Гоголя. Безусловно, он готов развеять мои сомнения и почти уже раскрылся на сто какой-то там, неизвестной мне странице, но я не желаю помощи, которая лишит меня образа всех жизненных бед. Как однажды давным-давно некий учебник под той же самой редакцией сказал мне, что «пумба» — это нечто круглое и мягкое, а «зюга» — напротив, острое и колючее. И вот тогда я уже чего-то лишился, чего-то твердого и очень важного, но теперь я скажу тебе: «Нет, родной! Нет, с меня хватит!» Я отворачиваюсь и делаю вид, что не заметил благородного порыва.

Скрипнула балконная дверь, и зашла она, да, без всяких сомнений, это она — японская делегация. И говорит мне так учтиво, но в то же время ехидно, как будто шутит:

— Знаешь ли ты, премногоуважаемый, такие старые японские поговорки, — и перечисляет: — «Тише едешь — дальше будешь», «Умный в гору не пойдет — умный гору обойдет», а также «Поспешишь — людей насмешишь»?

Я слышу подвох, нюхом чую, нутром чувствую, но еще толком не могу понять, где он, и осторожно спрашиваю:

— Знать-то знаю, только разве же они японские?

Тогда самый главный делегат вынимает из-за своей делегатской пазухи мой старый школьный дневник, потрепанный не мной, но временем, и читает с выражением:

— «Странник бывалый путь долгий наметил, неспешно шагал он ущельем глубоким, второй торопливо в гору поднялся, надеясь на силу упругих коленей, солнце клонилось к закату, цвела сакура в домике у моря, лишь один из них ел суши и пил саке» — сами догадайтесь кто? — а потом и говорит: — если ты считаешь, что это японские танки, то почему тебя удивляют поговорки?

— Да, господи подери «Сикоку»! Это же сто лет назад было! Нашли что вспомнить!

Тем временем из ванной выходит Платидия, вытирает голову насухо и шамкает своими гнусными губами, из тонкой щели поблескивают кривые, но острые зубы, они трутся друг о друга: шир, шир-шир, шир, шир-шир.

Я вздрогнул и приоткрыл один глаз: звуки издавала метла дворника, подметающего остановку и неумолимо приближающегося к моему углу. Вот уже пять лет подряд каждое утро он гонял меня по всей площадке, настигая в любой точке этого пространства. Его метла оставляла на пыльном асфальте дугообразные концентрические полосы, при этом сама пыль в общем-то никуда не исчезала, а лишь перераспределялась. Однажды я попытался сделать ему замечание, но тут же об этом пожалел, так как был немедленно вытеснен с остановки, и пропустил первый автобус. Позже я пытался загладить свою вину смиренным видом и предупредительным перемещением. Но дворник только еще больше хмурился, сопел и сильнее налегал на метлу.

В тот день две собаки за моей спиной кончили одновременно и с аппетитом начали лакомиться свежим дерьмом, похожим на кучку гороховой каши, а потом из-за поворота показался медно-желтый автобус, опутанный паутиной глубоких черных трещин доедающей его старое тело коррозии. Тяжелый, слегка накренившийся вправо, он раскачивался на кочках и сильно вилял задом как непристойная женщина, мне кажется, он приседал на заднюю ось либо хромал на четвертое колесо.

Автобус начал резко тормозить лишь после того, как провалился хромым колесом в полуоткрытый канализационный колодец. Второе колесо притерлось к бортику, оставив на нем черный, пахучий след. Дворник взвыл, двери со скрипом открылись, и на асфальт выпали несколько человек, удерживаемых до этого момента створками. Получив вдогонку «нечаянный» удар метлой по ногам, я присоединился к «павшим». И мы, цепляясь друг за друга, совершаем некие сокращательные движения, на первый взгляд, совершенно неприличные, но необходимые, так как надеемся, что двери все-таки закроются. И это невозможное снова происходило, сегодня как вчера и как пять лет назад.

Дышать тяжело, а пошевелиться просто нельзя, зато можно поспать. Спят все, включая водителя. Остановок больше нет, дорога пустынная, ровная, автобус идет медленно, можно и прикорнуть, ничего страшного не случится. Через полчаса, когда пот выел глаза и накапал с носа на плечо соседу целую лужу, меня начали выталкивать вверх, я пытался за что-нибудь зацепиться и совершенно неожиданно схватил кого-то за яйца, но тут же отпустил, так как услышал гневный окрик: «Ой, бля!» Больше моему движению ничего не мешало, и я уперся головой в потолок. Через пару остановок, на которых никто не останавливается, автобус, наконец, затормозил и когтистая лапа, сжимавшая тело, бросила меня на землю. Мне не повезло, при падении я сильно ударился коленом, поэтому замешкался и немного отстал от бегущих впереди людей. Дыхание сбилось, ноги отказывались подчиняться. Еще немного, вот кирпичная будка — сто метров, шлагбаум — двести, водочка — еще пятьдесят, вот и все. С размаху бьюсь о каменную стену и прилипаю к ней. По дороге

я обогнал одного дирижера, еще одного композитора и двоих писателей. Если дирижер с композитором еще как-то сопротивлялись, то писатели — спортсмены так себе, народишко пьющий, потому физически слабый. А я сегодня восьмой, очень неплохо для моих сорока двух.

Плацидия совсем рядом, рукой подать. Кто ходит к ней недавно, тот по неопытности теснится прямо возле ее пасти, а я всегда вжимаюсь в стену немного справа, держась за еле заметный выступ, который я проковырял отверткой много месяцев назад. Это давало мне возможность остаться на месте, когда через час вновь прибывшая партия оранжевых начнет теснить толпу влево, и те, кто были первыми, окажутся последними. Но тогда был особый день, и я решил, что если она меня снова обманет, я с ней покончу, будь она проклята!

— Восемь человек на разгрузку цемента! — кричала плацидия.

Толпа редела, напирала сзади и поднимала меня над землей, в моей руке блеснул рожковый ключ на десять, один поворот, второй, третий, есть — сорвал.

— Два человека к ассенизаторам! — полный вакуум, я падал вниз. «Так здесь шуруп — нужна крестовая отвертка, готово».

Тринадцать на лесопилку! — снова мощный прилив. Я опять у стены. «Здесь не иначе как плоскогубцами, только бы дотянуться!»

— Все набрано, не держитесь за решетку! Накажу! — визжала плацидия. Меня отодрали от стены вместе с дюбелем.

Потянуло влево. Ага, это оранжевые. Пропустил одного, второго: все, пора! Толпа унесла меня ко второй щеке плацидии.

— На ликерку, — говорила она почти шепотом в самое ухо и добавляла уже громче: — Четверо.

Этого ждали все и где-то в глубине души боялись. Мне казалось, что лопнут мои ребра и вопьются в сердце, я обмочился, но из последних сил держался за железный уголок решетки, чувствуя, как начинают отрываться ногти, скребущие по кирпичу. Щелк — и я отлетаю от стены вместе с уголком, судорожно сжимаю руки и хватаю кого-то за яйца, но тут же отпускаю, и не потому, что услышал гневный окрик: «Ой, бля!», а просто жалко, ладно бы дрянь какая-нибудь, а то ведь хорошие яйца, да нет, просто-таки замечательные.

Спустя два часа я выполз из этого жуткого месива, осмотрелся и ощупал себя. Рукав был почти оторван, пуговицы отсутствовали все, кроме верхней, которая чудом сохранилась и висела на одной нитке, разбитая губа саднила, а вывихнутое плечо отдавало в шею тупой ноющей болью, зато в кармане шелестели сигареты. Я сел на горячую бетонную сваю, извлек мятую пачку, непослушными пальцами кое-как отыскал нераспотрошенный, а лишь только расплюснутый обломок сигареты сантиметра три длиной и с наслаждением закурил. «Опять обманула, гадина! Опять все впускаю!»

Тогда минуло без малого пять лет, как я потерял работу. На первых порах это выглядело незначительным и легко поправимым. Но потом оказалось, что все гораздо серьезнее. Сначала стало нечего есть, затем появились деньги на то, чтобы пить. Шабашка у полукруглого окна, обшитого по бокам грязно-белым пластиком и закрытого решеткой из сваренной арматуры, иногда давала заработать, но после одного дня такой работы два приходилось отлеживаться. Стала болеть спина и ныть кости. Пришли страх и неверие в завтрашний день. Все чаще посещали мысли, что однажды силы покинут меня. Я ненавидел это окно и надеялся на него, так как надеяться больше было не на что. Я стал плохо спать, появился образ «плацидии» как символ моих бед и воплощение моих страхов. Иногда наступало просветление, я брился, чистил зубы и шел к ней. Старался, бывало, везло, но все как-то не до конца, надежда ускользала прямо из рук. Постоянную работу найти никак не удавалось. Нередко под видом доверия и перспективы приходилось вкалывать целый месяц, чтобы в конечном итоге быть обманутым и остаться без гроша в кармане, с долгами и без всяких средств к существованию, тогда снова спускался мрак и возвращалась «плацидия». Однако чаще всего день проходил бесплодно: после двух-трех часов давки все успокаивались и погружались в томительное ожидание, которое сменялось ленивым безразличием и, наконец, переходило в отчаяние. За пять лет я изучил каждый винтик

в подоконнике и каждый дюбель, прикрепляющий решетку к стене. Я знал каждую трещинку и царапину на грязно-сером пластике, а также помнил, кто и когда ее оставил.

Но в тот день я был молодец! Я был Андрей! Я был Георгий! Я раздавил гадину! Сзади слышался грохот падения отвинченной моими руками решетки. И крик озверевшей толпы, рвущей в клочья обшивку-щеки и ломающей засаленный подоконник-подбородок.

Тогда я убил ее в себе, и все стало по-другому. Я уехал в центр, и мне повезло. Моя профессия вдруг стала востребована настолько, что пришлось говорить по-немецки и следить за своим здоровьем: ограничивать себя в еде и снизить потребление спиртного.

Но теперь, спустя многие годы, вернулся мой прошлый кошмар и мне снова пора в бой. Однако сейчас все гораздо сложнее, чем тогда. Плацидий стало так много и они настолько выросли, что если бы даже я выбрал из них самую главную, то при всем желании не смог бы ни сломать, ни разрушить ее.

Судьба и счастье в Автофигурах

Сильный ветер обнял Старого за плечи, высушил и отхлопал широкую рубашку, разметал седые волосы, заплел их в неровные косички, выбрал на затылке одно место где-то за левым ухом — и дует, и дует. Тихий ровный звон покатился из-под босых ног вдоль межи, прочь вместе с белым облаком взбитых одуванчиков, упал в овраг на краю поля и затаился. Пыльца ромашки ударила в нос, и он сморщился от приторного запаха, несколько раз быстро вдохнул, прежде чем смог чихнуть, да так сильно, что глухая и немая боль проснулась, заворчала и заворчалась в пояснице, рука дрогнула, и коса воткнулась в землю.

— Все, устал, — он вытер пот рукавом и согнал со щеки муху, которая нехотя пересела на спину, оглянулся по сторонам, вдохнул полной грудью земляничный воздух и крикнул.

— Как хорошо! — тут же спохватившись, закусил губу, плотно закрыл рот ладонью, присел, спрятавшись за высокой травой, и прислушался, но было поздно. Ветер жадно схватил его слова и, чтобы не простыла радость, перемешал их с тополиным пухом, понес прочь, приговаривая: сказано было тебе, Старый, — никогда и никому, а главное — себе не признаваясь, что счастлив. И как ни корил тот себя, как ни бил кулаками по глупой голове, ничего уже нельзя было сделать. Откуда-то издалека, сперва почти незаметно, потом все громче и громче послышались шаги, они быстро приближались — и земля стонала под ногами. Из-за горизонта тяжелой поступью в клубах гари и смрада надвигался Город, он шел, неся перед собой венец коммуникаций, золотую маску «деликатного приветствия» — фигуру номер один.

— Здорово, Старый! Бог в помощь!

Тот медленно встал, отряхнул коленки, сбил щелчком большого красного муравья и лишь затем мельком взглянул на гостя.

— Здорово. Что привело?

Город нахмурился, глаза его стали черными, он шагнул вперед, воздел руки к небу и тяжело выдохнул:

— Судьба!

— Судьба! Судьба! — вторило ему небо громовыми раскатами, в воздухе запахло грозой, и горизонт занялся ярко-желтым пламенем: фигура номер восемь — «покорность жизненным обстоятельствам».

— А ты в судьбу веришь?

Старый покачал головой.

— Здесь нет ее. Она в тебе: чуть задержался, опоздал на встречу, проскочил на красный — и вот она, стоит перед тобой. А у меня в деревне какая судьба? Что рано встал, что поздно — все равно: на дворе трава, на траве дрова, и никуда они не денутся... — он оборвал себя на полуслове. — Так что надо?

— Счастья дай, — быстро сказал Город, поправил фуражку с синим околышем, приподнял плечи, ссутулился, смял и выбросил в сторону недокуренную сигарету. Вокруг выросли толстые серые стены с чугунной решеткой на маленьком окне, потянуло подвальной сыростью, раздавленными сверчками и псиной, а в углу зашуршала ручная крыса. Потом вдруг разом все стихло до боли в ушах — и только свет лампы в глаза, и только три слова: «Я тебе заплачу» — фигура номер четырнадцать: «скрытая угроза».

Старый, изо всех сил пытаясь не показать страх, усмехнулся в усы и махнул рукой.

— Деньги не нужны, у меня теперь другая зелень: лук да салат, а условные единицы — ведро да бидон. Когда живешь натуральным хозяйством, волей-неволей начинаешь мерить жизнь пучками и мешками.

Незванный гость добавил три четверти, и фигура от этого приобрела настойчивость.

— Дай, родной, не жидись, мне очень надо.

Старый спрятал руки за спину и пожал плечами.

— Так нет его.

Город разделился надвое и зашел с обеих сторон, потянулся к сжатым ладоням: фигура номер десять — «недоверие».

— А там что?

— Ничего. На вот, гляди, — Старый натянуто засмеялся и показал пустые руки.

Упали желтые листья, и лужи покрылись льдом. Лишь на секунду появилась фигура номер семь — «разочарование», но тут же поменялась на пятую — «деловитость» или даже шестую — «напускная деловитость». Город огляделся по сторонам.

— Хитрый лис, — пробормотал он себе под нос, а затем сказал громко: — Хорошо здесь! Останусь, поживу! — Сразу заиграла веселая музыка, застучали паровые копры, загудели подъемные краны, несколько раз свистнул длинный товарняк с гравием.

— Не то чтобы я был не рад, — начинает заикаться Старый, — но... А зачем тебе счастье?

Город понимает, что добился своего и делает девятнадцатую фигуру — «снисходительное назидание»: квадратные очки, указка, мел скрипит по доске, ставит точку и крошится.

— Оно на три четверти состоит из удачи, а это качество мне сейчас нужней всего, поскольку я собрался на войну.

— А как же твоя любимая система идеальных фигур? — удивляется Старый. — Где контроль над личностью? Где массовый гипноз?

— Прошлый век, теперь война снова входит в моду, потому неизбежна. — В руках Города появляется знамя, со всех сторон доносится призывный набат, и земля содрогается от тяжести ползущей на запад бронетехники.

Старый горько вздыхает.

— Ладно, подожди, схожу отпилю тебе половину счастья, а то все равно не отстанешь.

Он заходит в дом, плотно закрывает дверь и задвигает щеколду, глядит в окно и задерживает занавески. Потом на цыпочках спускается по крутой деревянной лестнице в подвал и зажигает свет. Здесь Старый, пригнувшись, словно вор, подходит к большой зеленой бочке с изображением черепа и прикладывает к ней ухо, будто желает услышать оттуда подтверждение своей внезапно возникшей мысли: «Ведь он понятия не имеет, как выглядит счастье, поэтому что дам, то и возьмет, а потом, когда разберется, уже поздно будет. Да и разберется ли?» Старый быстро засучивает рукава и, содрогаясь от собственной подлости, принимается за дело. Прямо голыми руками, не обращая внимания на жгучую боль под ногтями, в порезах и царапинах, смешивает тонну гидразина и три тонны аммиачной селитры, на секунду останавливается, но, подумав, добавляет еще пятьсот килограммов алюминиевой пудры.

— Вот так! Вот так! — бормочет он себе под нос. — Пусть только откроет! Так рванет, что камня на камне не останется!

В изнеможении Старый садится возле стены. «Теперь скобку приладить, и все готово. Так, надо посмотреть в ящике, в корзине и в сундуке». Открывает ящик и тут же вытаскивает медную скобку, внимательно осматривает ее со всех сторон и морщится: «Странно, даже придраться не к чему, новая, блестящая, ни одного пятнышка ржавчины. Нет, так дело не пойдет. Давай все заново». Теперь он ищет в ящике, в корзине — и находит только на самом дне сундука ту же самую скобку.

— Вот зараза! — ругается он вслух. — Вечно одно и то же! В самом конце! — Удивляется своей сварливости, потом, присев возле бочки и высунув язык, словно малыш, выводящий первую в своей жизни букву, начинает ковырять гвоздем краску в уголках рта черепа.

Город стоит возле дома и смотрит в небо на медленно распухающий в вышине белый след самолета.

— Вы думаете, я не знаю, что сейчас делает Старый? Конечно же знаю. Поскольку двадцать лет назад сам был Старым. У меня были старые дома с гранитным барельефом, старые улицы, мощенные булыжником, и старые-старые люди, неспешные и почтенные. Медленно шло время, но вот однажды ко мне в гости пришел Город и оставил свой след, и все изменилось, и ничего уже нельзя было сделать. Дома, не стыдясь больше своей наготы, сбросили тяжелые гранитные одежды, улицы вытянулись, выпрямились и загудели, как басовые струны, а люди стали молодыми и злыми настолько, что уже не могли договориться. Тогда они пошли в школы, чтобы научиться этому. И тогда же в сто четырнадцатом году родилась первая фигура, а затем еще и еще, пока их не стало тридцать. Выросло целое поколение, для которого вымученные и выстраданные их отцами принципы стали автофигурами, так как не требовали больше никаких моральных усилий. А поскольку система действует только при условии: знающий против незнающего, то она изжила себя, потому что незнающих больше не осталось. И не осталось ничего, совсем ничего. Тогда снова пришла война, как вчера, как сегодня и как всегда. Поэтому сейчас, когда я вам все это рассказываю, я специально тяну время, так как боюсь будущего и не хочу отсюда уходить, не оставив своего следа, и чем дольше я здесь стою, тем глубже мой след.

Спустя час с небольшим Старый выкатывает на крыльцо зеленую бочку с улыбающимся черепом на боку: «Ну, чем не эмблема счастья?»

Город тоже улыбается. Выходной, из-за стеклянных домов поднимается солнце, играет лучами на медных вывесках банков и рассыпается радугой в серебряных брызгах поющих фонтанов — фигура номер тридцать, самая последняя фигура — «счастье».

— Ты должен меня понять, — тихо, будто стыдясь своего поступка, говорит Город. — Только крайняя необходимость заставила меня прийти к тебе.

Старый вытаскивает помятую и запыленную фигуру номер четыре — «участие».

Город одобрительно кивает.

— Ты не забыл! Кстати, судьбу возьми, пригодится, — ставит на землю черный кожаный чемодан и, опережая возражения, быстро уходит.

Старый глядит ему вслед, берет чемодан и, размахнувшись, бросает его в озеро, то долго бурлит, но в конце концов затихает.

«Как я мог забыть, не говоря уже о том, чтобы в голос кричать? Больше этого не повторится. Теперь никто и никогда не узнает, что я счастлив».

Поворачивается к лесу и начинает ругаться:

— Вот чертова жара, просто пекло! — Машет руками. — Мухи проклятые житья не дают! — Идет в тень, ложится на бок. В левое ухо доносится скрип корабельных сосен и неровный стук дятла. — Да чтоб ты сдох! — Поворачивается на другой бок, слышит тихий шелест берез и далекий зов кукушки. — Да пошла ты! — Затыкает уши, закрывает глаза и не видит, как высоко в небе летят самолеты, и не слышит, как свистят падающие с неба бомбы — зеленые бочонки с улыбающимся черепом на боку...

«Пачка стихов»

Поэтический проект

Стихи в сигаретной пачке

Это случилось в марте 2005-го.

Мы учились на заочном отделении в Литинституте им. Горького и из людей разных профессий раз в полгода превращались в студентов семинаров поэзии. В один из вечеров с однокурсницей, художником Сашей Мочаловой, мы зашли в магазин — просто погреться — и, рассматривая разноцветный бисер в витрине, стали тихонько говорить об авторских куклах и книгах ручной работы. Вдруг продавщица протянула нам бисер: «Берите-берите, девочки. Я же вижу, что вы — художницы. У вас все получится!». Ее слова оказались как сон в руку.

Много стихов, много шума, перекуры на семинарах, разговоры в общаге и бисер, чудесно подаренный нам в магазинчике на Петровке, сложились в образ самиздатовской книжки — несколько маленьких брошюр в пачке из-под сигарет. Мы «настреляли» у сокурсников стихотворных подборок и пустых пачек. К осенней сессии «Пачка стихов» была готова. В количестве шестнадцати штук. В оформлении пачек использовались бисер и кружево, коллаж и рисунок — чтобы каждый экземпляр был неповторим и не похож на другой, как встречи и как люди. В «первое издание» вошли книжечки поэтов из Казани, Иркутска, Таганрога, Ульяновска, Вологды, Вятки, Перми и Краснодара. Восемь пачек отдали авторам, остальные отнесли в «ПирОГИ» на Никольской, где они были раскуплены за небольшие деньги, которых, впрочем, хватило на празднование Нового года в ноябрьской Литинститутской общаге. Елкой нам послужила найденная в коридоре дверь — ее украсили мишурой и старыми стеклянными игрушками, из тех, что продают бабушки у метро «Преображенская площадь». Созвали гостей из других комнат, читали стихи по кругу. Первая презентация «Пачки стихов» прошла в комнате номер 407 на Добролюбова, 9/11.

В сентябре 2008 года в Коктебеле на Волошинском фестивале появились новые знакомые, которым также оказался близок дух самиздата и спонтанности. Родилась вторая «Пачка стихов». Наша география расширилась — прибавились не только Калуга, но и Ближнее Зарубежье: Донецк, Запорожье, Киев. Мы встретились снова в Волошинском доме в 2009 году, на мастер-классе журнала «Дружба народов».

«Пачка стихов» — это повод быть прочитанными, повод встретиться еще раз, услышать друг друга, прожить несколько дней рядом с друзьями. Так сложилось, что среди участников проекта пока не было москвичей, но собирались для выступления мы чаще всего именно в Москве — в Литинституте, в Доме-музее М.И.Цветаевой (21 мая 2009), в Квартире-музее М.А.Булгакова (4 ноября 2009).

Стихи в сигаретной пачке — символ поэтической независимости, литературного общения и диалога поэтов из разных городов и стран, собранных в честь какого-либо события. Первый выпуск «Пачки стихов» (2005) был постскриптомом к одной из сессий в Литинституте, вторая «Пачка» (2008) посвящена Волошинскому фестивалю в Коктебеле.

И хотя на «Пачке стихов» написано «Минздрав предупреждает, что чтение вредит Вашему здоровью», «поэтический перекур» в нашей жизни просто необходим.

Чем все это обернется и что последует дальше, я не знаю. Тем и интересней.

Лета ЮГАЙ

Александра Мочалова (Киров)

Гоголь

Уголь, голубь, гордый город.
 Черной уткой с белой грудкой,
 желтым глазом — Гоголь чуткий,
 Гоголь разный...
 Гоголь, горько? — Раз от раза.
 Крикнуть, Гоголь, громко, в голос —
 в горле ком прогорклый спрятан.
 В пояс кланяюсь, и — в поезд,
 как в две тысячи девятый.
 Год за годом, за вагоном,
 шаг за шагом — гоним, гоним.
 Гладкой галькой под ногою,
 голь голодной и нагою
 с горя горькую глотает.
 С горок парубки катают
 санки, смазанные воском.
 Гоголь, долго ли согреться,
 разыгаться, разгореться,
 разговеться с шиком, лоском?
 Но стоит над голыдьбою,
 над рекою голубою,
 горбя спину, мост старинный.
 Над судьбой, над головою —
 кто-то в чем-то черном, длинном.
 Только в спины бьет метелью.
 Там под спилями шинели,
 благородные мундиры,
 горницы, дворцы, квартиры.

Городских перегородок
 тайны и перевороты,
 гербы, гимны и погоны,
 горизонты, гарнизоны.
 Под погонями погоды
 из шинели вышли готы,
 хиппи, партия зеленых,
 панки, эмо — словом, все мы.
 ...Гоголь, голубь, гот, поэма...
 Нос наглеет в треуголке,
 кто в пролетке, кто в двуколке,
 кто в крылатке и цилиндре.
 Угол острый — лидер линий —
 стрелка острова. Вдгонку
 недалеко и до гондол.
 Горным эхом, гонгом, горном,
 бумерангом, Гоголь черный,
 Гоголь Гофман, Гоголь, много ль?
 — Нет не много до Ван Гога.
 Голубь, угол, уголь, утка —
 страшно, Гоголь? Гоголь, жутко?
 — До смешного, слезы градом,
 град горохом, снегопадом.
 Гром над городом и гогот.
 Над собором, над костелом,
 над мечетью, синагогой —
 Гоголь строгий и веселый
 разговаривает с Богом.

НеБО

1

Мокрое небо. Вел Ци Бай-Ши
 линию-лилию тушью.
 Вьюн повилики, глицинию, жизнь
 цикад, богомолов, лягушек.

Тушь растеклась — в облаках: виноград,
 лотосы, лодка, волны,
 цвет мэйхуа, бахроме... ты рад бы
 прийти, да полно...

График: терпение веток и трав —
 тушью по небу. Утром
 думаю: ты не приходишь, ты прав —
 здесь, в недеянии мудром.

Мастер берет долото — печать
 режет по белому камню.
 Травник, отшельник, нефрит — печаль
 всегда высока, близка мне.

Мочалова Александра Александровна родилась в 1977 г. в г. Кирове. Окончила Вятское художественное училище и Литинститут им. А.М.Горького. Автор книги стихов «Молоко для волка» (Вятка, 2005). Один из организаторов поэтического фестиваля «Другие голоса» (Вятка, 2009).

2

Не — бойся — в нефритовом небе Ли Бо
 глицинии Ци Бай-Ши.
 Неба резьба — каллиграфа клубок.
 Бамбук. Луна. Ни души.

Не бойся — не — боль. Колокольчика дзинь,
 линия флейты. Глянь:
 птицы традиции Цинь — это инь,
 небо над ними — ян.

* * *

Опять хоронили солдата.
 И спичка ломалась в руке.
 Рыдала солдатка. И дата
 у неба спала в дневнике.

И что-то такое напало,
 и все обобщилось, и вот
 я в целом пространстве узнала
 единого круга обвод.

И воск оплавлялся на свечке.
 Свеча оплывала, слезясь.
 И жизнь, обегая колечко,
 вставала в цепочную вязь.

И мартовский воздух над речкой,
 вороний над церковкой гам —
 как воск оплавлялись на свечке
 и оползнем плыли к ногам.

Влад Клён (Запорожье)

* * *

Бормотанье
 Так и не ставшее словом
 Серебро не ставшее ливнем
 Упадут оковы
 Утихнут совы
 Зеркала ухмыльнутся криво
 Отрешенность в диковинку но не в радость
 Скупердяю нечего стало прятать
 От тепла знобит
 Не заботит быт
 И тебя забыть
 Невозможно
 Отступись отрекись
 По ночам не снись
 Разъедая меня как окись
 А уйдя — оставь мне в подарок высь
 В зарешетчатых створках
 Окон

Клён Влад Александрович родился в 1981 г. в Запорожской области (Украина). Окончил Запорожский национальный ун-т. Магистр русской филологии. Автор книги стихов «Аритмия». Автор проекта «БЕЗ ФИЛЬТРА» (Киевские лавры-2008), руководитель творческого объединения «Водоворот» (Запорожье). Лауреат украинских литературных премий.

* * *

стихи как зубы режутся
хоть вешайся
хоть плачь
в лучах рассвета нежится
душа моя мятежница
тут поневоле к лешему
все хочется послать
стихи как зубы режутся
и это неизбежное
и это неизбывное
предчувствие беды
в груди вскипает засветло
и хочешь рухнуть замертво
как будто обязательно
собой смыкать ряды....

* * *

учи меня говорит	чему научу я ее
всему	таким —
тому что умеешь	взрывающимся легко
сам	ведь это не то чтобы не с руки
а негде тебе зимовать	утратившему покой
зимуй	а как-то нехоже
зачем опускать глаза	нехорошо
учи меня говорит	ты ангельски хороша
но так	а я по старинке вооружен
чтоб я это поняла	желанием по душам
а я улыбаюсь ей	гореть
как дурак	горевать
вставая из-за стола	говорить
чему научить я ее могу	годить
тем более на бегу	и может еще гадать
когда изнутри меня страшный гул	чему я могу научить
и сам я — отпетый лгун	иди
	куда поведет звезда....

* * *

согласно купленным билетам
мы пассажиры хоть куда
умалишенные поэты
в битком набитых поездах
хрустит казенное бельешко
заварен круто черный чай
я не сошел с ума
я вышел
в холодный тамбур
поскучать...

Наталья Изотова (Донецк)

* * *

Влажные рассветы,
Наливные дни —
На макушке лета
Прыгали они,

Вышло неопратно,
На виду изъян,
На позорны пятна
Натрушу семян

На макушке лета
Вытоптали плешь
В шевелюре цвета
Золотистый беж.

Из пустой приметы,
Из худой сумы...
В черноземе лета —
Семена зимы.

* * *

Смотрит утро нордическим взглядом,
Задаёт исподлобья вопрос:
Может, где-то сложилась баллада
И огурчик на грядке попрос?

И никто и никем не унижен
На своих на рабочих местах,
Лишь деревья становятся ниже,
Сдав сезонный отчет на листах.

Вот бесцветно мелькают ресницы
У испуганно-светлого дня,
И соседи по транспорту, мнится,
Увлеченно читают меня.

Я иду в разноцветном берете
Суею убивать пустоту.
Увядают вопросы в ответе,
Шелухой приликая ко рту.

* * *

Мы были всегда, проникали повсюду
И тлели беспечно в потоке веков,
Шутили со смертью и мыли посуду,
И счастье ловили на дуги подков.

А мы умирали и жили сначала,
Болели ангиной, топтали спорыш.

Нас ветром сбивало с сырого причала,
С корявых деревьев и шиферных крыш,

Мы тысячи раз распадались на брызги,
Врезаясь в молчание каменных плит.
И нами озвучены взрывы и визги,
И свет был случайно на что-то пролит.

* * *

Утро красит нужным цветом
Лица творческих людей —
Люди рады. И при этом,
Как всегда, полны идей.
Зубы стиснуты в запале,
Нет сил сдержать напор:
Столько за ночь накропали
И кропают до сих пор!
Оттого в мозолях руки
И глаза туманны вновь —

Мандельштамовые внуки,
Пастернаковая кровь!
Против ветра ходят смело,
Рассекая крепкий дождь —
Джекломдомное дело,
Хемингвэевая мощь!
Слава племени младому!
Слава злому куражу!

(Мимо Герценова дома
Я без шуток не хожу...)

Артем Морс (Иркутск)

* * *

Ты помнишь, мы были как будто ничейные дети
играли в войнушку, курили втихушку за домом,
любили сладкое и не боялись смерти,
дружили и жили по дворовым законам.

Потом все это ушло, сменилась эпоха
и государственный строй, но нам
не до этого было — нам было плохо:
чаще с похмелья, реже от сердечных ран.

Помнишь, мы не умели плакать при расставании,
сожалеть о потерях, жить не во лжи,
прошрое, наше прошрое смотрит угрюмым Каином
Авеля в настоящем оставляя на жизнь.

В сущности, мы остались все те же дети —
только курум открыто, никого не таясь.
В сущности, я все так же не опааюсь смерти
при том условии, что она не твоя.

* * *

итак, давай договоримся:
ты будешь петь, я — рисовать,
пока твоя судьба, как птица,
не улетит в нескучный сад,
пока моя судьба — страница,
линованная в клетку, в клад.

давай попробуем ужиться
в одной семье, в одном доме,
покуда песнь твоя струится,
пока я знаю почему.

пока бежит за мной лисица,
я — от нее. все по уму.

успеем ли наговориться,
успеем ли прижить детей,
пока глядят на нас их лица,
ты будешь петь, а я сильнее,
сильнее стану на страницу
и все успею, все успе...

* * *

скорее всего я стану таким как я
хотел быть в детстве но не
космонавтом
несколько слов в кармане
маленькая семья
дружная как мы с вами
другими словами
я выйду из этой лжи
но не из грязи в князи
другими словами
просто хочется жить
другими словами

Морс Артем Валерьевич родился в 1982 г. в г. Сосновоборске Красноярского края. В 2003 г. окончил филфак Иркутского ун-та, в 2008 г. — Литературный институт им. А.М.Горького. Автор книги стихов «Из этого темнеющего сада...» (Иркутск, 2006). Лонг-лист премии «Дебют» (2007). С 2008 г. — один из организаторов поэтических вечеров «Поэты в городе» (Иркутск).

* * *

слова бормочешь ли,
 шатаясь праздно
 по берегу реки,
 или лежишь бессонницей измучен,
 как мы с тобой от сути далеки,
 поэт, художник — это только случай,
 который нам как божия роса,
 который нам репейник в волосах.

всему свое, и каждому свой путь,
 и что-то там про «неисповедимы»,
 и мы пытались время обмануть,
 пришла зима — мы вроде невредимы.

что остается — только говорить,
 пить чай, скучая,
 молча слушать ветер,
 курить, читать, по комнате бродить,
 любить все то, что есть на этом свете.

Дмитрий Зиновьев (Санкт-Петербург)

Останемся

останемся под солнцем на припеке,
 в очереди постояльцев, среди загорающей плоти,
 на горячих камнях, на чужих простынях,
 на открытках на обороте,
 в примечаниях, в сносках, петитом,
 за столиками с аппетитом
 по возвращении с пляжа,
 скалами, частью пейзажа

фиолетовый сумрак ночи,
 прогулки по берегу, впрочем,
 по лунной дорожке,
 по морю немножко,
 по жизни еще немножко

* * *

мы умрем и собаки наши умрут,
 ничего не поделаешь, друг,
 термоядерный карлик — солнце
 перестанет светить вокруг

я еще чего-то хотел,
 я нажиться еще не успел,
 помотаться бы всласть по планете
 на потребу души, пока цел

перестанет хотеться на юг,
 на свидания и вечеринки,
 до свидания, вам, блондинки
 и брюнетки, прощайте, друг,

поезда стучат по стране,
 бадэн-бадэн как будто во сне...
 ну, хотя бы собаки остались,
 вспоминать о тебе, обо мне

Зиновьев Дмитрий Евгеньевич родился в 1960 г. в г. Чимкент (Казахстан). Окончил в 1982 г. Оренбургское музыкальное училище, дирижерско-хоровое отделение; в 2008 г. — Литературный институт им. А.М.Горького.

* * *

...как будто на свете одни
сторожа и собаки

О.Мандельштам

собаки встречаются каждый день,
и дождь нипочем никогда,
дорогу везде переходят, везде,
не важно суббота, среда

такая собачья нормальная жизнь
не в клетке и не на цепи,
вокруг новостройки все выше, прикинь,
и с удочками рыбаки

контрасты, как будто на свете одни
они рыбаки и собаки

бродячие — мы, остальные в тени,
за кадром, но строят, собаки

возможно мы родичи, может быть все
мы люди, а может быть мы,
мы будем когда-нибудь жить на звезде,
созвездие — гончие псы

язык у нас общий возникнет и все,
все будет понятно в словах,
и может быть даже что-то еще
и в будках, и в новых домах

Лета Югай (Вологда)

Август

1

Осы прилетели испить чаю,
Пчелы торопятся проводить лодку.
Воску будет много, пыльцы много,
А мед отдадим тому, кто отчалил.

Воздух густеет, устают ноги,
Соберем с веток терпкие яблоки,
Вишню, вишню мелкую с большой косточкой,
А мякоть нужна тем, кто в пути-дороге.

А мы опять за книги. Но по туману
Перед тем пройдемся до нашей речки,
Очень много ситок на нашей речке,
А глубина вся отдана океану.

2

Мы вырастим из косточки дерево,
Выкормим пыльцой новых пчел,
Свяжем из ситок плот
И переплывем океан.

Мы выпрямимся, что есть сил
Крикнем: «догнали, вот,
Август, ведь ты соскучился?
Зачем же ты уходил?»

Югай Лета Федоровна родилась в 1984 г. в Вологде. Окончила Литературный институт им. А.М.Горького и филфак ВГПУ. Аспирантка МГПУ. Автор изданных в Вологде книг стихов и рисунков: «Паж» (1999), «Сиреневый лес» (2001), «Июнь» (2004).

* * *

А еще я помню сныть на уровне глаз
И сквозь сныть деревянную крышу, темную, как крыло.
Возвращались с Реки. Река в тот день удалась:
В кулачке аммониты и кварц — богатый улов.

У дороги голая печь преграждала путь
(Пробежать горелые бревна — убьет, только задень).
И внезапно — как славка в траве — предстал летний день,
Дался каждым перышком. Мы боялись его спугнуть.

А потом обвалилась печь, иван-чай врос в кирпичи.
Улетела и темная птица — соседский дом.
Только дикий хлеб, приготовленный в той печи,
До сих пор ароматен каждым погожим днем.

* * *

Не болей ты, не болей, не болей,
Продержись огонь и стужу, и град.
Бела мельница стоит средь полей,
А на лопастях густой виноград.
Сзади — горы, а ручей — впереди,
Сверху — небо, под ногами — земля.
Победи их, этих всех, победи,
Расходитесь, все ручьи, все поля,
Расколися, ледяная гора,
Поглоти всю падаль, хворь, лебеду,
Чтобы стала молоденька с утра,
Чтобы не было обид на роду.
Будет море — отзовет виноград,
А ручей взрастит тугое зерно.
Здравствуй, здравствуй сотни солнце подряд,
Самых теплых, словно хлеб и вино.

Ольга Кучкина

Косой дождь, или Передислокация пигалицы

Записки соотечественницы

60.

Картина маслом, как говорил актер Машков в сериале «Ликвидация»: пигалица в приемной первого секретаря ЦК ВЛКСМ Сергея Павлова, румяного нашего вождя.

Конец шестидесятых. Редколлегия которую неделю обсуждает читинский материал: правят, переправляют, набирают и рассыпают набор, ставят в номер и выбрасывают из номера — главному редактору Юрию Воронову все что-то жмет, он снимает материал из недельного, а вскоре и из месячного плана.

Пигалица, на страже человеческого против бюрократического, в проблемной журналистике новичок. Однако упорный. Написан и опубликован днепропетровский материал «А если человек особенный?». Заводской малый выступал на комсомольских собраниях с независимыми речами, да к тому же писал исторические драмы, включая драму об Иване Грозном — аллюзии! — а комсомольское начальство разных уровней его, естественно, гнобило. Материал напечатали двумя *подвалами*. Непредсказуемый редактор сельского отдела Владимир Онищенко, казак, алкаш, из газетных асов, душевно поздравил пигалицу в редакционном коридоре. Пигалица проявила ложную скромность и услышала в ответ: *ну, тогда ты даже сама не знаешь, что написала*. Пигалица знала. Выпендривалась.

Статья запомнилась, поскольку герой выбьется в профессиональные писатели и пришлет толстый том исторической прозы.

Увы, читинская статья так и проходит в памяти как читинская, без названия, а про что она — надо лезть смотреть архивы, а архивы сгорели, как личный, так и газетный. Сначала сгорела редакция, а уж за ней — дача.

Поднаторевшая в битвах за свободу слова, экс-пигалица ставит в известность главного редактора, что идет в ЦК ВЛКСМ пробивать читинскую статью. Понятно, что и эта статья, как все подобные, писалась в формах благопристойных, с неременным набором договорных фраз про здоровое в целом социалистическое общество, но за живое брали не договорные, а иные фразы, основанные на кричащей фактуре.

Высидев положенный срок, пигалица дожидается кивка секретарши: заходите.

Румяный вождь, в стандартном сером, прикиде всех вождей, разглядывает пигалицу как экзотического зверька, осмелившегося нарушить партийно-комсомольскую этику и явиться *наверх* с просьбой, даже требованием, что-то там напечатать, чего делать не стоило, но приветливо улыбается и деловито расспрашивает, в чем дело, какие вопросы ставит статья, чем он может помочь, будто заранее не знает, в чем дело, и какие вопросы, и чем может помочь.

Пигалица неспокойна. Вожди, включая данного, показывались рядовым гражданам исключительно с трибун — Дворца съездов, Колонного зала Дома союзов, Мавзолея. Или в гробах. А тут живой, доступный, любезный, радушно предлагает чай с печеньем и конфетами — фирменное предложение функционеров. Не торопится, располагает временем, ему и самому охота поболтать с молодой корреспонденткой. Аудиенция длится минут двадцать, пигалица покидает начальственный кабинет окрыленная. Домашним объявляет, сияя: кажется, я *пробила* материал. Демократизм, простота, такт — называет она свойства вождя. *Я сам обманываться рад* — непреходящее свойство родной интеллигенции, которое и которую используют все функционеры. Фирменный прием: обольстить, обласкать и — ничего не сделать, сохраняя порядок на местах, оберегая свои рубежи от инсургентов, которые таятся в любом несогласном.

61.

Дневник:

Победа только померещилась. Только почудилось, что стена расступилась. Снова отговорки, увертки, потоки ненужных слов. Теперь Ю.П. говорит, что материал сделан недостаточно остро, недостаточно смело и принципиально.

...Не забуду, как, проманежив статью, на одной из редколлегий он скажет: вспомните читинскую статью Кучкиной, вот это была настоящая смелость и острота, и мы не побоялись, мы даже ее набрали!..

В те годы смотрела на осторожничающего Юрия Петровича, преисполненная гордыни. И лишь позднее поняла, как ему, бедному, приходилось туго. *Каждый редактор вправе напечатать все, что хочет, но только один раз.* Мы, конечно, были фрондой. Мы, пишу я, зная свое место на новенького. *Первые перья* газеты все были фрондирующие, новые — аккурат за старыми. Дух шестого этажа, как любили у нас выражаться, включал разный состав. Но прежде всего это был вольный дух. Мы дышали им самозабвенно. И задохлись, когда нам перекрывали кислород.

Статья не была напечатана. Остались гранки. Те, что потом сгорели.

Дневник:

Я напоминаю сама себе человека, который из всех сил карабкается в гору, без должных способностей и должного снаряжения. Оступается, падает, виснет на каких-то выступах, удается сделать рывок вперед, и снова падение. А бросить гору, уйти нельзя.

62.

В литературном отделе из стажеров перевели в литсотрудники. Шла за интервью — стеснялась, трусила, а не сдавалась. Если высокомерие — от высокой меры, то была высокомерна. Мерила себя хоть с какой знаменитостью на равных и не сдавалась. Андрей Миронов — обаятельный, простой, бери и ешь ложкой, а ответил на вопросы — и все, и учи урок, что интервью начинается и заканчивается, а никаких отношений не последует, приязни не сложится, так что не заносись, будь скромнее. Сергей Юрский — актер-глыба, из гнезда Товстоногова, режиссера-глыбы, остроумен, образован, глубок, того и гляди утонешь в глубинах, но не делай вида, что все знаешь, если не знаешь, честнее спросить. Михаил Ромм — величина величин — явилась к нему с пересохшей глоткой, вышел с сигареткой, приклеенной ко рту, похожему на куриную попку, улыбнулся, помог снять пальто, пригласил в кабинет, в кресла, что-то спросил, отвечая, расцвела, он еще спросил, да с такой искренней заинтересованностью, что и не заметила, как разговор двинулся, вроде оба чуть не одного куста ягоды. Снявший в тридцатых советскую классику, «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году», переживший злой творческий кризис в пятидесятых, необыкновенный Ромм нашел в себе силы начать все сначала и снял культовые, как сказали бы

сейчас, «Девять дней одного года» со Смоктуновским, Баталовым и Лавровой и «Обыкновенный фашизм» — блистательное сопоставление эры Гитлера и Сталина. Схватчивый глаз его, без сомнения, схватил интервьюершу целиком и с потрохами. *Куриная попка*, однако, ни разу не растянулась в снисходительную ухмылку. Урок: высокая интеллигентность заключается в том, чтобы ни звуком, ни жестом не *опустить* собеседника, не дать понять, что его уровень не дотягивает. Прощаясь, осведомился едва ли не с почтением: *а какое у вас образование?* Чуть не поперхнулась. Сколько попадется надутых, важничающих, стремящихся казаться — Ромм приказал не быть такой. То было последнее его интервью, рак доедал, спустя короткий срок его не стало. Дома за стеклом — фотография в профиль: обширная крепость лба, длинный и кривой чуткий нос, очки, значительное ухо, в углу рта неизменная сигарета, тип древнего философа. На обороте надпись: «...на память об общих страданиях газетных».

В том, куда и к кому тянулась, пряталась внутренняя соревновательная сила.

Кажется, могла бы не уезжать в Саратов, остаться в Москве, ну, выгнали бы из газеты, как-то иначе устроилось бы.

Не могла.

Овен.

63.

«Во сне ты горько плакал». Шедевр.

Это не отступление. Продолжение.

За девять лет до смерти в другом рассказе, «Свечечка», обращенном к маленькому сыну, написал:

А теперь вот и земля черна, и все умерло, и свет ушел, и как же хочется взмолиться: не уходи от меня, ибо горе близко и помочь мне некому!.. И откуда знать, почему так тоскливо в ноябре?..

Предчувствовал ли свой последний ноябрь?

Ему свойственны были эти приступы глухой тоски, как и тихий свет радости, вдруг заливающий душу. Он был большой, с широкими покатыми плечами, большими руками, красным лицом, заикающийся, пьющий и гулящий. Ему бы ходить, и плавать, и летать с мужиками, строителями, бакенщиками, летчиками и иными попутчиками по земле, воде и небу. Он и ходил, и летал, и плавал, бывший арбатский мальчик, бывший контрабасист, заслушивавшийся летними вечерами роялем Рихтера, жившего по соседству, путешественник, открывший для себя архангелогородские земли, Соловки, вообще Север, а после плотно осевший в Абрамцеве, на радонежской земле, писателем за письменным столом.

Нежный, внимательно сберегающий впечатления жизни, ход которой слышал до отчаяния гулко, он различал краски рождения и увядания и все умел взять на зуб, на пробу, выдав на листе такой результат, какой мог выдать он один.

Современники писали злободневное. Юрий Казаков, взявший в учителя Бунина, — вечное.

Хорошо ехать ночью в поезде!..

Появится где-то в неизмеримой черной дали дрожащая красная точка костра, долго держится почти на одном месте, потом погаснет, заслоненная косогором или лесом. Или вынырнет откуда-то автомашина, бежит рядом с поездом, перед ней прыгает светлое пятно от фар, но и машина мало-помалу отстает, и вот уже снова темно...

Сколько же земли осталось за тобой, сколько деревень, станций промчалось мимо, пока ты спишь или думаешь! И в этих деревнях, на этих станциях живут люди, которых ты не видел и не увидишь никогда, о жизни и смерти которых ничего не узнаешь, так же, как не узнают они о тебе.

Так теперь не пишут у нас — предпочитают кривляться и дергаться.

В молодости он не боялся думать, что, может, кто-то прочтет его вещи и станет лучше. Потом возник вопрос *гибельный*: кому писать и зачем? Уж если Толстой ничего

не изменил в сознании соотечественников... Позже явилась другая мысль: *неизвестно еще, что бы было со всеми нами, не будь литературы, не будь Слова!*

Были б дичее.

Он писал о мужестве писателя, который должен пропускать живую жизнь, с рассветами и закатами, для того, чтобы творить другую жизнь, и против него все, а он один, и возле никого, ни любимой, ни матери, ни детей, а лишь его герои, его страсть, которой себя посвятил, и никто-никто не может ему помочь, никто за него не напишет, никто не покажет, как писать. Но и рассветы, и закаты, и любимая, и ребенок — были и навечно останутся, воплощенные в слове.

Он умер в предпоследний день ноября.

Среди моих грехов этот, родившись из невежества, поверхностности и самонадеянности, саднит порой так, словно он и есть первый.

Тихий Анатолий Сергеевич Елкин, заведомо литературы и искусства, хлопая преувеличенными глазами — преувеличены стеклами очков с большими диоптриями, — подошел и сунул свернутый в трубочку журнал: *посмотри, студенческий альманах Литинститута, там такие туры на колесах, надо б им слегка вправить мозги, да сама все увидишь*. Елкин спивался и врал, об этом была осведомлена вся редакция — до пигалицы, как всегда, если и доходило, действовала презумпция невиновности. Задание было подлое, и Елкин знал, что подлое, ему пачкаться не хотелось, а свежего сотрудника испачкать — подумаешь, делов. Говорил задушевно, настраивал — пигалица, рот разинув, настраивалась. Заметка вышла. Про двух поэтов-формалистов, которых и потом не любила, и про незнакомых ей тогда прозаика Юрия Казакова и поэта Юнну Мориц. Оба, ничего о том не ведая, заработали упрек в *упаднических настроениях*, хорошо, что ни в чем хуже. Слабый оттенок гона оставил непреходящую оскомину.

Литературная критика устроена так, что приходится с чем-то не соглашаться, что-то отрицать, а что-то высмеивать. Бога ради — если свое, а не чужое, навязанное, да так легко, без сопротивления.

Уж не девочка, с сединою на висках, писала в «Комсомолке» вместе с Юрием Гейко полосный портрет Валентина Юмашева, нового пресс-секретаря президента Ельцина. Валя был наш младший товарищ по «КП». В шестнадцать пришел в «Алый парус», невысокий такой медвежонок, с розовыми пятнами смущения на детской физиономии, способный, исполненный обаяния. Счастливая черта — располагать к себе людей — расположила к нему Ельцина с семьей. Он работал у другого нашего товарища, Левы Гущина, в «Огоньке», когда в редакцию явился Ельцин. Знакомство, взаимная симпатия, материал для журнала — кончилось литературной записью первой книги первого президента, а затем женитьбой на его дочери Тане.

Хороший у нас с Гейко получился портрет, объемный. Мы обладали эксклюзивной информацией и изложили все, что знали. Что знали — нормально. Но и нечто сверх того — что как бы имели в виду. Свобода тех лет захлестывала — сегодня интонационный перебор свербит душу.

Уроки до седых волос. После — тоже.

Настанет час, обращусь не к кому-то — к Юмашеву.

Поведет себя безукоризненно.

64.

«Комсомолка» сделала невероятное, подарив не уверенному в себе одинокому человеку то, что заставляет в тысячный раз потревожить тень Экзюпери: роскошь человеческого общения. При ином раскладе можно ли было рассчитывать на встречи, которые составили жизнь!

Леонид Леонов и Виктор Шкловский, Валентин Катаев и Вениамин Каверин, Вячеслав Кондратьев и Анатолий Рыбаков, Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко, Владимир Соколов и Владимир Корнилов, Юнна Мориц и Белла Ахмадулина, Олег Чухонцев и Новелла Матвеева, Анатолий Эфрос и Олег Ефремов, Георгий Товстоногов и Юрий Любимов, Галина Волчек и Марк Захаров, Алексей Арбузов и Александр Володин, Виктор Розов и Александр Гельман, Фазиль Искандер и Василий Аксенов,

Юлий Крелин и Михаил Роцин, Александр Мелихов и Виктория Токарева, Андрей Тарковский и Элем Климов, Алексей Герман и Светлана Кармалита, Отар Иоселиани и Кира Муратова, Вадим Абдрашитов и Марлен Хуциев, Петр и Мира Тодоровские, Сергей Соловьев и Татьяна Друбич, Александр Ширвиндт и Армен Джигарханян, Александр Свободин и Наталья Крымова, Олег Даль и Леонид Филатов, Инна Чурикова и Алексей Петренко, Алексей Баталов и Олег Табаков, Олег Басилашвили и Маргарита Эскина, Татьяна Лаврова и Татьяна Самойлова, Лиля Толмачева и Александр Вилькин, Евгений Светланов и Евгений Колобов, Николай Петров и Юрий Башмет, Владимир Спиваков и Светлана Безродная, Игорь Моисеев и Галина Уланова, Владимир Васильев и Екатерина Максимова, Елена Камбурова и Александр Градский, Алексей Козлов и Алексей Рыбников, Татьяна Назаренко и Максим Кантор, Юрий Карякин и Игорь Виноградов, Игорь Малашенко и Елена Масюк, Зоя Крахмальникова и Ирина Антонова, Елена Боннэр и Генри Резник, Егор Гайдар и Григорий Явлинский, Михаил Горбачев и Александр Николаевич Яковлев...

Можно ли было вообразить разговоры с таким множеством лиц, да из тех, кого называют *соль земли*! А если прибавить, что некоторые стали близкими людьми...

Разговоры не дежурные, не формальные, не по пустякам. Собеседники щедро разрешали спрашивать то, что в обыденном времени остается за рамками, погружаться в сущее и сущностное. Сложилась грандиозная мозаика душевной и духовной жизни современников, честное слово, так.

Поль Гоген сформулировал главный вопрос, сопроводив свое великое полотно строчкой: *Кто мы, откуда и куда идем?* А на полотне всего лишь излюбленная модель — шествующая статная темнокожая женщина.

В стати и поступи, в проторях и убытках, в опыте одного-единственного человека содержится великая загадка о человечестве.

Через много лет бывшая пигалица поймет, что произошло.

Судьба, отняв одного-единственного, которого любила как никого, заменит его множеством, чтобы любить их. Они спасут.

Эта книга — попытка выразить благодарность за спасение.

65.

Физиономия, вообще говоря, рубленая топором, все черты прямые и определенные, а в то же время что-то необычайно мягкое просвечивает сквозь суровое — может быть, дело в усмешке, за которой нежность и печаль. Печаль от природного понимания людей — и непроговариваемая нежность к ним. Он умеет то, чего не умеет никто. Из поступков и реплик, из скрытых поводов и оснований, какие внезапно или постепенно становятся явными, из настроений и страстей сплетается нечто, в чем мы томительно находим себя и свое. Он ставит спектакли, от которых холодеет под ложечкой. В них открывается поверх фраз, сверх фраз — и почему страдают люди, и почему надеются, и почему лишают себя жизни, и почему находят мужество жить. Его можно назвать Чеховым нашего театра. Он и ставит Чехова по преимуществу. А если не Чехова, то близкого к нему Арбузова.

Бывшая пигалица пишет рецензию на спектакль Анатолия Эфроса по пьесе Алексея Арбузова «Счастливые дни несчастного человека», с нетерпением и пылом складывая слова, — газета отказывается рецензию публиковать. Близкое — по исповеданию веры — писала об «Иванове» Олега Ефремова в Художественном театре и о «Дон-Жуане» Эфроса на Малой Бронной, о «Неоконченной пьесе для механического пианино» тогдашнего Никиты Михалкова и о «Чужих письмах» Ильи Авербаха, знаковых вещах семидесятых. Публиковали. В чем загвоздка? Трудно вообразить себе резоны, по каким партийный чиновник непременно ставил палки в колеса выдающимся произведениям литературы и искусства. Этот персонаж не то сказал, тот не так повернулся в кадре или на сцене, здесь какой-то намек, там похоже на оскорбление устоев. Устои носили характер неопытной барышни, которую всяк стремился изнасиловать, опасность подстерегала на каждом шагу. Никакой политики ни автор, ни постановщик в «Счастливые дни» не вкладывали, вкладывали дар, а бдительные

цензоры все равно подозревали в нехорошем. Новомировец Владимир Лакшин записал в дневнике:

Историю человечества следовало бы делить на три великие эпохи: палеолита, неолита и Главлита.

Смешно. До слез. Видимые и невидимые миру слезы проливал художник, чей замысел грозил быть искаженным до неузнаваемости. Эфроса постоянно мучили замечаниями. Каждая работа продиралась сквозь частокोल поправок, которые он то игнорировал, то выполнял, унимая сердечную боль. Измученный спектакль рано или поздно выходил, негласно давалось распоряжение: поменьше прессы, или вовсе без прессы. «Счастливые дни» попали под раздачу. Того не ведая, носила и носила руководству варианты, они обрастали замечаниями: унылое зеркальное — зазеркальное — отражение все того же. Кончилось тем, что отнесла Эфросу полосу, в которой была заверстана почти вышедшая, но так никогда и не увидевшая света статья.

Прочтя, Эфрос позвонил и произнес в трубку одно слово: *интеллигентно*.

Была с лихвой вознаграждена за свои мучения.

А он?

66.

Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить...

Тонкий, нелепый, бьющий по нервам голос Татьяны Дорониной — плач по Олегу Ефремову.

Олег еще был, и быть ему предстояло до самого конца XX века.

Они играли в фильме Татьяны Лиозновой по сценарию Александра Борщаговского «Три тополя на Плющихе» — Доронина и Ефремов. Весь Советский Союз был влюблен в эту простецкую физиономию: вислый нос, вислые щеки, сжатые губы, глаза колючие или растерянные, понимающие или не прощающие, или вдруг смеющиеся заразительно — чем брал? Человека хотелось пожалеть от души, и прислониться к нему хотелось. Вот кто был *звездой*, задолго до того, как самые крошечные дарования принялись как оглашенные вопить о своей звезданутости. Ему это было бы противно. Артист от Бога, строитель театра, знающий себе цену, знал цену тщете, до суеты не опускался. Далеко не благодетель, он был из крупняков. Уж сколько лет нет его, а из пигалицыной, положим, жизни никуда не девается.

Дневник:

Приезжал Олег Ефремов. Кормила ужином. Рассказывала ему о своей любви. Он — о своей. Проговорили часа полтора. Искренне и бережно. Он чудесный. Сказал: милая Оля, все пройдет, через год я встречу вас в «Пекине», и вы мне скажете, что снова влюблены.

Как бы хотелось еще какого-нибудь разочарования для того лишь, чтоб услышать от него: *милая Оля, через год я встречу вас в «Пекине»...*

Вот у кого искали крамолу — и находили. «Декабристы», «Народовольцы», «Большевики» — звучный триптих ефремовского «Современника» носил недвусмысленную социальную и политическую окраску. Спектакли запрещались, чиновники ярились, Олег сочинял нетривиальные ходы, хитрющий, играл в наивность, обманывал и выигрывал.

Про его работы писала, встречались, но никогда не состоялось того важного разговора, о каком думалось, а не складывалось. Сложилось, когда счет пошел на недели, но ни он, ни я этого не знали. Пили чай с пирожными у него дома на Тверской. Он выключил аппарат, через который должен был дышать с перерывами, у него было что-то ужасное с легкими, пневмосклероз, эмфизема, *легочное сердце*, я включила диктофон.

Дома, расшифровывая пленку, все не могла понять, что получилось. Разговор был какой-то уж очень простой, простыми словами и о простом. А закончила расшифровку — глаза почему-то были на мокром месте.

Публикация вызвала шквал звонков, как это бывало, когда газета представляла такой мощи фигуру. Не знала, понравится ли ему, и, затаившись, ждала реакции.

Зазвонил телефон. Прозвучало два хриплых слова: *небуржуазно вышло*.

Между интеллигентно Анатолия Эфроса и *небуржуазно* Олега Ефремова, можно сказать, пролегла жизнь.

67.

В газете наш разговор заканчивался тем, что он собирался в Париж, в госпиталь, и сказал, что берет с собой одну книгу — Библию. Он не был религиозен, и его обращение к Библии потрясло меня.

По правде, он сказал, что берет с собой не одну книгу, а две. Вторая — мой сборник стихов «Високосный век». В газете этого по понятным мотивам я не написала.

По возвращении звонок: *старуха!*..

Он сказал о стихах лучшее, что я когда-либо от него слышала.

Обрадованно закричала в трубку: *я приду к тебе, как только приеду, непременно, сразу, слышишь?..*

Я уезжала.

Я не успела.

Было 24 мая, день рождения «Комсомолки», отмечали в зале «Россия», зал снесут вместе с гостиницей позже.

Ко мне подошли и сказали...

68.

О триптихе Ефремова глубже всех, значительнее всех написал в журнале «Юность» Лен Карпинский.

Что-то оленье было в красивом Лене. Он и нес себя, как благородный олень, когда шел по коридорам «КП», и я увидела его издалека.

Из-за него обрушилась моя административная карьера.

Назначили и.о. замредактора отдела литературы и искусства, документы на утверждение ушли в ЦК. С редактором, Константином Щербаковым, сыном крупного партийного деятеля Александра Сергеевича Щербакова, не сразу, но нашелся общий язык. Появление Лена Карпинского и его соавтора Федора Бурлацкого со статьей «На пути к премьере» ошеломило. Решали не мы. Решал главный редактор Борис Дмитриевич Панкин. И весть о решении уже дошла: печатать, несмотря на то, что «Правда», где работали оба публициста, тянула, хитрила, а потом и вовсе отказалась это сделать. Веяли ветры *оттепели*, они врывались и в непроветриваемые помещения, но не во все. Мы с Костей были счастливы.

Лен Карпинский, сын старого большевика Вячеслава Карпинского, сподвижника Ленина — не иссякающая тема отцов и детей! — выпускник философского факультета МГУ, начал как комсомольский деятель в городе Горьком и дорос до секретаря ЦК ВЛКСМ. Ходил рассказ о том, как он топал ногами и кричал на одного из редакторов «Комсомолки»: *мы вам Кочетова в обиду не дадим!* Будущий диссидент защищал партийного литератора, от бездарных официозных творений которого скулы сводило. У Достоевского где-то есть мысль о том, что нужно быть верным принципам, но хорошо бы всякий раз проверять, верны ли они. Да вот, нашла:

Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения?

Выяснилось, что смена убеждений, происходящая при поворотах исторического колеса, вещь ничуть не зазорная, а вполне естественная, — если ей предшествует серьезная внутренняя работа. Статья «На пути к премьере» внятно настаивала на отмене чиновной цензуры в театре, читай, партийной цензуры. Это было неслыханно. Все знали, что за неимением другой самая главная общественная трибуна — театр Эфроса, Ефремова, Любимова. Наравне с «Новым миром» Твардовского. Отпустить их на волю? Все читали между строк. Все владели эзоповым языком.

Скандал разразился в день выхода статьи. Обоих инсургентов попросили вон из «Правды», редактор отдела литературы и искусства «Комсомолки» получил выговор, и.о. замредактора потеряла две буквы и чин, бумаги на утверждение велели отозвать. К последнему обстоятельству отнеслась с полным равнодушием — служебная карьера ничуть не привлекала.

Карпинский пострадает серьезнее Бурлацкого. Бурлацкий зацепится в ЦК, в среде либеральных советников коммунистических бонз. Карпинского отправят на пересидку в «Известия», откуда снова прогонят. В конце концов его вызовут на комиссию партийного контроля ЦК, он придет туда по совету жены Люси весь в белом, чем окончательно разозлит номенклатуру. У него уже имелся опыт угрозы исключения из партии. Женатый первым браком на Регине, матери двух его сыновей, он влюбился в актрису Хитяеву. Ему поставили ультиматум: или прекращаешь связь — или лишаешься партбилета. Последнее означало конец продвижению по карьерной лестнице. Молодой честолюбец выбрал партбилет. Можно представить, какую цену заплатил он за отказ от любимой. Он запил и многократно срывался в запои. На этот раз между партбилетом и верностью себе повзрослевший Лен выбрал верность себе. Его исключат из КПСС с формулировкой: *за взгляды, несовместимые со званием коммуниста, и попытку организации антипартийной нелегальной деятельности*. Вся деятельность была сугубо умственной. Потеряв работу, этот семи пядей во лбу умница нигде не мог устроиться. Анекдот: ездил по стране от какого-то бюро по архитектурным памятникам, продавая бюсты Ленина и таким образом зарабатывая гроши. Друзья устроили в профсоюзное издательство, томился там и записывал в бесчисленных блокнотах размышления. Позднее, разбирая мешки записей, он и жена Люся говорили: *наша Нобелевка*.

С началом перестройки Лен возглавит газету «Московские новости». Его статьи в «Московских новостях» — праздник интеллекта.

Ему останется жить несколько лет.

Он сделается одним из любимых моих друзей.

Дневник:

Смеялись, что кто-нибудь запишет в дневник: приходил Карпинский — пугал Ягодкиным. Вот, записала. Был мой день рождения. Были Рита Кваснецкая, Наташа Крымова, Саша Свободин с женой, Яша Аким с женой, Олег Ефремов и Карпинские. Олег был трезв, мил, много рассказывал, ушел около двух ночи. Лен замечательный.

Когда не станет моего самого любимого человека, мужа Володи Павлова, я отнесу лучший Володин костюм Лену и попрошу: *носи, у вас один размер*. Лен возьмет и будет носить до самой смерти.

69.

В «Комсомолке» работал замечательный народ.

Навскидку — Виталий Ганюшкин. Хладнокровен, независим, остер пером и остроумен словом как никто. Скользнув небесным оком со сложной рефракцией, все подметит и всегда придет на помощь. Вокруг клубится народ. Ганюшкин любит выпить, и народ любит выпить. Чаще всего ходили пить пиво в ближнюю *стекляшку*. Я выпить не любила, но ходила с ними, нуждаясь время от времени в братстве. Особенно когда страдала. А страдала почти всегда. Не от одного, так от другого.

Дневник:

...выходя, столкнулась с Дюниным и Ганюшкиным, и мы поехали в Дом журналиста, выпили пива, потом они пили «Кровавую Мэри», я — коньяк. Третьим был фотограф Миша Кухтарев. Удерживалась от слез. В конце концов удалось рассмеяться. Шли по бульвару, я цепко держалась за локоть Ганюшкина. На скамейке компания юнцов напевала под гитару, я тоже с ними попела. Ганюшкин купил мне мороженого и стал уговаривать прокатиться на машине, которая стояла во дворе, — то ли снегоочи-

ститильная, то ли пожарная. Поцеловала его благодарно в лоб, он потянулся обнять, я увернулась и ушла. Я была совершенно пьяна.

Как я любила его в те минуты. И как хорошо, что успела сказать ему о любви до его ухода. А он успел — мне.

70.

В гостях, за городом, у костра, в редакции — в центре событий маленький ядерный заряд: Боря Грушин. Быстрый, сконцентрированный, убедительный и убежденный, будущий известный социолог и супруг одной из первых красавиц «Комсомолки» Наташи Карцевой, он движется по редакционному коридору широким шагом, помогая себе энергичными взмахами рук, устремляясь к отделу писем, где она, величава, выступает будто пава. Отрывает от писем изумрудный взор, полный неги, и в ответ на какую-то превентивную шутку награждает визитера мелодичным переливчатым смехом. Она вполне благополучна, замужем за сыном писателя Карцева, и хотя мы такого писателя не знаем, считается, что она *сделала хорошую партию*. Сын Алеша цементирует союз, превращая его в хорошо укрепленную фортецию. Боря Грушин приступает к осаде. У него имеется своя жена Зоя и имеется друг, архитектор Боря Тхор, у которого своя жена Эрика и которого также ожидает полноценное будущее. Боря Тхор, однако, поглядывает на Зою, наблюдательный тезка отлично это просекает и не препятствует отношениям, проще говоря, устраивает сначала брак Тхора с Зоей, а уж затем свой брак с Наташей. Боря Грушин не просто завоевал — он зажег холодную красавицу, влюбив ее в себя. В минусе осталась Эра, той же архитектурной профессии, зато она уехала спустя срок в Германию и приобрела там профессию писательницы. Оставался еще Наташин муж Карцев, обликом и нравом близкий к Каренину, но он был чужой, и нам его было не жалко. Нам довольно было радости за нашего друга и нашу подругу.

Один из самых умных, самых деятельных, самых порядочных людей XX века... Блестящий вольнодумец и остролов, выпускник философского факультета МГУ, он пришел в «Комсомолку» после того, как его не взяли в двадцать семь мест. Кто же мог догадаться, что считавшийся на факультете антимарксистским квартет умников — Зиновьев, Щедровицкий, Мамардашвили, Грушин — составит славу отечественной философии и социологии.

«Институт общественного мнения «Комсомольской правды»», созданный им, явил собой ни с чем не сравнимый прецедент. Борис Грушин подставил обществу зеркало, в какое оно никогда прежде не смотрелось, и это, определив его собственный характер, послужило переменам в характере общества: начатки свободного мышления в стране мышления тоталитарного — вот что такое это было...

Прощай, Боря... Твое место среди нас так и останется за тобой.

Из некролога, который мне предстоит написать.

Дневник:

...Грушины показывали свадьбу дочери Оли в Вашингтоне на видео. Родня из Алабамы, где особенно чтут традиции Юга. Ритуал, происходивший в доме и на лужайке перед домом президента Вильсона (его арендуют под такого рода мероприятия), с парадным проходом многочисленных гостей, со священником, Библией, затейливым свадебным платьем Оли, элегантным костюмом Наташи, смокингом Бори, который Наташа подгоняла по его фигуре целый месяц...

Могли ли мы думать о чем-то подобном, когда тридцать пять лет назад отправлялись гурьбой на нашей голубой победе на бедные и веселые пикники за город, и это был пик наших возможностей!

А теперь мы связаны с целым миром, через наших детей, ради которых, собственно, все и было...

71.

Другой сгусток энергии — убойный Гек Бочаров. В полувоенном х/б — отменные костюмы и галстуки нацепит позднее — прискакал завоевывать Москву из провинции и завоевал в кратчайшие сроки. Болтали, что переписал от руки Хемингуэя, чтобы обрести свою руку в журналистике. Ухмыляется: вранье. Пусть. Зато очень похоже. Над его безудержным хвастовством смеются многие — я принимаю его без усилий: а как иначе себялюбцы-товарищи узнали бы о его журналистских подвигах, сменявших друг друга с завидной последовательностью. Мы сблизились, работая вместе над заметкой «Добрый день, Чук и Гек!» — все жанры у нас именовались *заметками*. Сблизились буквально. Я сидела за машинкой, он дышал мне в затылок, высмеивая или одобряя мое бормотание. Затем за машинку садился он, я пристраивалась сбоку и дышала ему в ухо. Обтесывая фразу за фразой, ровно искусные плотники бревно, мы заполняли белый лист словами, доставлявшими обоим неизъяснимое наслаждение. Нам нравилось, что из наших родных имен и фамилий составлялось *Чук и Гек*. Был юбилей дедушки тогда неведомого нам Егора Гайдара, и мы с воодушевлением исполняли редакционное задание. Мы намеревались продолжить наше лихое сотрудничество, но отчего-то стало скучно, и мы продолжили каждый по отдельности, как и раньше. Дружбе не помешало. Когда в один прекрасный день мне объявили роковой диагноз, единственный, кому я позвонила, был Гек. Немедля примчался и отвез в какой-то чудовищный ресторан в гостинице за Савеловским вокзалом. Заказал выпить и закусить и принялся без передышки травить истории, от которых я покатывалась со смеху. Совсем мне было не смешно, было плохо и страшно, но он так старался, что бесчеловечно было бы не постараться в ответ. Потом он приходил в больницу, и я не забывала открывать рот, чтобы продолжать безропотно смеяться его изобретательным шуткам.

72.

Толя Иващенко, взрослее многих из нас, успевший на Отечественную войну, приходил девятого мая на редакционную *землянку* в заслуженной гимнастерке и кирзовых сапогах, опрокидывал стакан водки, закусывал соленым огурцом, закуривал сигарету, и отсвет боев ложился на его чуть сутулые плечи и доброе среднерусское лицо. Он занимался селом, хлебом, крестьянами, понимая и зная крестьянский вопрос. Он любил землю, и она отвечала ему взаимностью. Он писал мудрые и глубокие *заметки*, возделывая на страницах газеты свою персональную делянку, и я восхищалась его человеческой и журналистской цельностью, бессмысленно и бесполезно сожалея о себе. Он относился ко мне с нежностью, как старший брат к младшей сестре, и звал странным именем *Ольгита*. Я и сейчас слышу прокуренный, хрипловатый голос, произносящий *Ольгита*, и это единственное, что мне от него осталось. По виду деревенский, он был женат на манекенщице Вале, союз мог бы показаться несовместным, не будь на редкость совместим. С толстой белокурой косой ниже попы, иногда уложенной короной, в блеске выпуклого лба и жемчуга зубов, пригожая Валя, походившая, разумеется, на манекенщицу, походила еще и на тот тип русских женщин, что встречается в русских сказках. Она и была словно из сказки: любящая, внемлющая, преданная. Они жили хорошо. Очень хорошо. Но уже много лет Валя — вдова.

73.

Как Михаил Боярский никогда не снимает шляпы, так Василий Песков не снимает фуражки летом, меховой ушанки зимой. Что скрывает Боярский, сведениями не располагаю. Песков скрывает идущую ему лысину. Мы пришли в газету почти одновременно: Вася — из воронежских лесов, я — с московского асфальта. Что между нами общего? Человеческое. Встречаясь в стенах редакции и вне, обменивались улыбками и новостями. Чем дальше — тем сердечнее. Вася да Вася, а он всемирная

знаменитость, лауреат Ленинской премии, за ручку с Владимиром Владимировичем Путиным, когда тот, придя в редакцию, слушал и что-то даже менял в лесном законодательстве, о чем со знанием дела хлопотал Василий Михайлович. Васиные еженедельные, как приход поезда по расписанию, заметки в газете, битком набитой всякой всячиной, желтой, голубой, розовой, цвета грозы и грязи, цвета драмы и мелодрамы, — как удар тишины, как пейзаж домашнего очага, как чистая вода из родника. Его звери лучше людей, его люди выше зверей, его наблюдения над явлением всего живого укрепляют человекостояние на земле. Он пишет простым русским языком, не прибегая ни к каким изощрениям, но его простота обогащает неизгладимо, его любимый писатель — прозаик Александр Сергеевич Пушкин.

Вася обрабатывает свою делянку столь же истово и упорно, как Толя обрабатывал свою, однолюбы в профессии. Я головы не жалела: один участок мозга заведовал журналистикой, другой — драматургией, третий — прозой, четвертый — стихами.

По обычаю, остановившись на лестнице, зацепились языками. Неожиданно Вася задумчиво спросил: *а ты не жалеешь, что так разбрасывалась?* В больную точку. Много лет больную. Когда вылечилась, даже не заметила. Откликнулась с жаром: *жалею, Вася, если б знал, как жалею*. Подумала и для честности прибавила: *жалела*. Призналась, с какой завистью смотрела в его и Толину сторону, а с собой — что ж я могла поделаться с собой, если складывалось как складывалось, не нарочно же любила все, что делала, такая жади́на жизни, а Богу все угодны. *В конце концов, засмеялась я, Леонардо да Винчи тоже разбрасывался, рисуя, и занимаясь наукой, и изобретая. Я тебя очень люблю*, вдруг сказал Вася. Глазам моим стало горячо, я ответила: *а я тебя*. И на душе почему-то стало спокойнее, как если б было получено отпущение грехов.

А Вася с тех пор, завидя меня, еще издали восклицает: *привет, Леонардо!..*

74.

Худой, как доска, Вова Орлов остался в далеком прошлом. Потому что, во-первых, быстро стал надуваться, как шар, во-вторых, довольно скоро покинул «КП» и, в-третьих, потому что действительно прошло много лет. «Альтиста Данилова» он написал, будучи худым. Или уже толстым? Прообраз заходил в редакцию, где мы познакомились, чудный чуда́к, темноволосый, загадочный альтист Володя Грот. Перезванивались изредка, когда поседел и поредел волосом.

«Камергерский переулок» сотворял обезноженный писатель — что-то у Орлова случилось с сосудами, как у многих немолодых людей.

Я зашла в «Рюмочную» на Большой Никитской, где у меня было назначено свиданье с Таней Назаренко, любимой художницей. А там Вова. Вова с Таней — давние друзья, он неоднократный персонаж ее живописи. Танина живопись и Вовина проза чем-то сходны. Глазом, умом, колдовством московским, понятно, сродни булгаковскому. А «Рюмочная», выяснилось, одно из мест, где разворачиваются события «Камергерского», презентация которого назначена через неделю, на двадцать четвертое, в день рожденья Тани, а Тани в этот день в Москве не будет, она улетает с Бертом в Португалию, чтобы отпраздновать вне Москвы, вне народа, вне изобилия водки, которая надоела, и она на презентацию не придет. А пока мы пьем водку в «Рюмочной». Мы — громко сказано, я — нет, мне сегодня нельзя по медицинским показателям, я пригубливаю. И укоряю Вову, почему не приглашает на презентацию, и вообще, где гулял все годы. В этот момент он и указывает на ноги и стоящую рядом палку, в смысле, что гулял-гулял, да отгулял свое, и усмешки, прежней смущенной и одновременно удовлетворенной, нет на его физиономии. Мы с Таней удаляемся, у нас отдельный разговор, я хочу, чтобы она сделала обложку моей книги «В башне из лобной кости», мы идем пить чай к ней в Брюсовский. Орлов живет поблизости, в нынешнем Газетном. Большая Никитская, Газетный, Брюсовский, Камергерский, как и «Рюмочная», — все герои его романа. И Таня упоминается.

А через неделю звонок: издательство милым девичьим голосом приглашает на презентацию романа «Камергерский переулок», состоится в «Рюмочной».

Собирается человек тридцать, и другой девичий голос — мне плохо видно, кому

он принадлежит, — фанатски представляет писателя. Книга у меня в руках с надписью *Оле от Вовы*, мною же и продиктованной, чтоб без пафоса. Скрывая улыбку, читаю на обложке: *классик современной прозы, достояние мировой литературы*.

А две недели спустя, перевернув пятьсот сорок первую финальную страницу тонкого, сложного, изобретательного и содержательного сочинения, с великой отрадой признаю, что все так и есть: знакомый мне с молодых ногтей Вова Орлов — классик и достояние.

Я скажу ему об этом через несколько месяцев на праздновании семидесятилетия Юры Роста в музее Пушкина.

75.

С Таней Назаренко имеет таинственную связь следующий сюжет.

Девушка пела в церковном хоре. Блок. Девушка поет в подземном переходе. Блог. Контральто. Поет классические арии. Красива. Хорошо одета. Смотрит высоко перед собой. В холодной сырости посадит связки. Тихо кладу бумажку, стараясь не смутить. Вчерашней группе в бумажке отказала. Бегают агрессивно с картонкой за прохожими, и музыка не понравилась. Позавчерашнему длинному худому музыканту, надменному, отдельному, лет сорока, в черных очках, ссыпала металл с неловкостью.

Они приходят сюда по очереди. Они свободные люди. Еще недавно их не было.

Когда переход делали, положили гладкую блестящую плитку. Едва прошел первый дождь, население стало скользить и падать, как подкошенное. Спустя время прислали рабочих с их промышленными бормашинами, ввинчиваясь в наши нервы, содрали блестящую поверхность, население прекратило падать. А до времени сообщить и не тратить ни нервов, ни денег?

Время и деньги — две таинственных категории. Откуда приходят и куда уходят? Я не о зарплате, которую выдают или не выдают, и не о часах, которые показывают полшестого или встают и не показывают. Я о другом. Вот времени много, и много воздуха, и все успеваешь, и смеешься от радости, а вот его совсем мало, скукожилось, скапсутилось, нету. Вот деньги появились, и опять идут, и опять, а вот везение кончилось, и домашняя пачечка истончается и тает и не знаешь, что будет завтра.

Поэтапно складывались разные отношения с деньгами. Когда-то тщательные и подробные. Денег было немного, и все на учете: траты экономны, сдача пересчитывалась, финансовые ошибки лыком в строку. Пока однажды не встала как вкопанная и не воскликнула мысленно: да что ж это такое, да зачем же такое подчинение, ведь скучно же! Прошел сигнал на переустройство организма, а дальше время производило свою работу, пока в один прекрасный день не стало очевидно, что все поменялось. Перестав заботиться о деньгах, будто переложила на них заботу о себе. Пачечка истончилась, чтобы освободить место для другой, которая сложится сама по себе, потому что предложат одну работу и другую, осуществится прежний замысел и новый тоже, твое дело — работать всласть, а остальное легко и тебя не касается. Дошло наконец, что нет прямой связи между стремлением скопить и жизнью. Ты живешь, моешь полы и посуду, читаешь Бунина, Зорина или Гайдара (Егора), слушаешь *Девятую Шостаковича*, забыть не можешь смерти Ани Политковской, переписываешься с хорошим и умным человеком, переговариваешься с человеком умным и хорошим, а главное, занимаешься делом, которое и есть дело твоей жизни, малое или большое, — короче, деньги явятся как побочный результат деятельности, любой, печешь ли хлеб, пишешь ли полотна.

Частный опыт — не всеобщий. Но кажется, что тут именно всеобщий закон: ты делаешь, а о награде не заботься.

Я думаю о деньгах и о времени жизни, потому что на дворе культ денег, а жизнь истончается. При советской власти их фактически не было, при нес советской они крутятся, и крутятся наши мозги: еще быстрее, еще, еще, еще, деньги, деньги, деньги — мы как сумасшедшие не можем думать ни о чем другом, кроме денег, и когда мы думаем о чем-то другом, мы все равно думаем о них.

А надо ли?

Надо ли думать о них, а не о себе, если они суть такой мистический материал, который не дается насильно, а, даваясь насильно или не по заслугам, почти всегда сопряжен с преступлением — если не перед другими, то перед собой, твою жизнь берут взамен, и твою душу разрушают. Я не о том, что высоколобый музыкант в переходе счастливее выглаженного Петра Авена. А о том, что у каждого свое время жить и время умирать, и лучше не глядеть завистливо по сторонам, а потом кусать локоть, что все было не так, — все равно не укусишь.

Время стоит в переходе.

Там же, где деньги.

Там же, где искусство.

Мысли о переходе нечувствительно сотворила во мне Таня Назаренко, заделавшая однажды такую выставку «Переход» — неповторимые фанеры: люди в переходе, жизнь в переходе, переход как философская категория бытия и инобытия.

С женщинами-друзьями бывшей пигалице везет так же, как с друзьями-мужчинами.

76.

В «КП» женщины прельстительны, многогранны, *мыслете* — тринадцатая буква в русской и четырнадцатая в церковной азбуке была заглавной их буквой. Следовало тянуться и подтягиваться — имея в виду такой сильный состав. Люба Иванова, неизменная начальница, с неизменной папиросой в зубах, суровая ругательница, исключительно и безусловно по делу, чтобы держали марку. Черноглазая Нина Александрова, также с папиросой в углу рта, очерки ее, всегда во имя спасения человека, лучшая школа для редакционной зелени. Инга Преловская, ленинградка, вежливо настойчивая и твердая, с блестящими глазами и блестящим вкусом. Лена Брускова, всегда с молодым лицом и всегда седая, учительница по образованию и призванию, совершившая на ниве воспитания ряд практических подвигов, последний — создание Томилинской деревни для неблагополучных детей, какие ее усилиями и на ее глазах превращались в благополучных. Звонкоголосая, вдруг срезавшая косу до пят, Инна Руденко, кажется, с самого начала классик, *легенда «КП»*. Все мужественны и все женственны, включая курящих и некурящих. Все переживают свои драмы. А кто-то не переживает. У Инны погибнет в автокатастрофе муж, Ким Костенко, всеобщий любимец, воевавший, как и Толя Иващенко. Нина, бывшая летчица, перейдя из «Комсомолки» в «Известия», сама погибнет в авиакатастрофе, спеша из командировки, чтобы спасительный материал поскорее попал в газету. Инна вспомнит, как Нина, посмотрев «Белорусский вокзал», неожиданно сказала: будете хоронить меня под эту песенку. Под звуки этой песенки Инна вошла в зал «Известий», где стоял гроб с телом Нины.

Инна Руденко делается самой близкой, когда из старой команды нас останется в «Комсомолке» четверо: она, Вася Песков, Леня Репин и я. К одному из юбилеев «КП» в редакции выпустят шутивную газетную полосу с нашими фото и стихом, в каком мы проходим как «Могучая кучка»:

Так строку свою сплетают тонко,
Что благоговеет весь народ.
Так что молодым у нас — колонка,
А Могучей кучке — разворот.

Время от времени Инна сердито жалуется: *вам хорошо, вы книжки пишете, а я умею писать только газетные заметки*. Ее заметки как глоток воды в жаркий полдень, как кусок хлеба голодному — люди пишут ей столько писем, сколько никому не пишут, безошибочно определяя: какие бы катаклизмы ни сокрушали страну, этот газетчик, справедливый и искренний, будет с ними до конца. Журналистика Большого стиля — так это называлось и называется.

77.

Дневник:

Возвращались из похода по тайге. Взбирались на пятисотметровый откос Дивных гор. Шли по Бирюсе и Енисею. Видели выходы пещер. Собирали жарки и клещей на себе. Вышли ночью к ГЭС. Зрелище умопомрачительное. Красные огни кранов, плавающие в ночном небе прожектора, пронзительные гудки, шум, лязг, бешеный рев оседланного Енисея. Я трусила, думая: сейчас эта техника коммунизма раздавит нас. Предыдущей ночью дождь. Сидели у костра: лицу жарко, по спине вода. Пели. В два часа ночи пошли спать. Тайга так красива, красивы Красноярские Столбы, красивый Юра Афанасьев, таскавший по скалам. Стерляжья уха, оленина, куропатка, шашлык по-сибирски, — а сегодня самолет и Москва.

Московскую журналистку таскал по скалам секретарь Красноярского обкома комсомола Юра Афанасьев, будущий ректор РГГУ.

Командировки выпадали разные. Газета давала задания, посылая то к заводским работягам, то к сельским жителям, то к провинциальным интеллигентам. А то к Пушкину в Михайловское, или к Лермонтову в Тарханы, или к Блоку в Шахматово, заботливо организуя духовное и душевное обеспечение для дальнейшего прохождения службы. Какой? А вот как у солдата, который проходит службу, не зная пока в точности, на что пригодится, но старается. В обеспечение пигалицы, помимо прочего, входили, верно, чистая природа и чистая поэзия. Растворялась в воздухах, учась коротко формулировать сухой остаток. Чем короче — тем лучше. Полюбила малый формат, требующий особой сосредоточенности.

Дневник:

Какой-то маленький турбобур — подобие жала осы. Впивается во все вокруг — зачем? Мысль работает как магнит при фотосъемке: вдруг вспыхивает и все освещает. И опять мрак. Зачем?

78.

За девять дней написала «Кольцо «Б»». Не стихи, не рассказ — пьесу. Вид литературы, который русская критика почитала наивысшим. То есть сначала полагалось писать стихи, потом рассказы, потом пьесы. Пигалица все перепутала. Не взяли в артистки — не попробовать ли в драматургии? Не сознательно. Бессознательно.

Кто всерьез отнесся к пробе пера — Борис Слуцкий. Разобрал на детали, на части, словно детскую машинку, ткнув носом в самосожаление, черту, которую придется много лет с корнем вырывать не из написанного — из себя.

Отзыв Слуцкого в дневнике:

Если бы к нам в Союз писателей пришел человек с такой вещью, мы бы его, бесспорно, приняли. Я редко читаю без скуки и романы, и стихи — вашу вещь я прочел без скуки. Славный московский язык, что нечасто встречается. Но далее. Чем героиня занимается, почему не может сосуществовать с другими, почему она лучше других? В пьесе представлено несколько партий: она с матерью, она с мужем, она с Петром. Непонятно, почему она выигрывает эти партии. В истории с мужем зал будет на стороне мужа. Воспоминания о сыне — отписка, на живую нитку, небрежения к ребенку зал не простит. Арбатское детство — надоело. История с Петром достоверна. Петр — впервые в драматургии, со всем плохим и хорошим, что в нем есть. Я встречал таких людей. Хотя социальное легче открывать, чем нравственное. Вся наша драматургия пряма, как нефтепровод, или, напротив, запутанна, как нефтепровод. Помните у Гейне: на проклятые вопросы дай прямые мне ответы.

Ситуация с героем по имени Петр напоминала ситуацию с Леном Карпинским, пожертвовавшим любовью ради партбилета. Про Лена тогда не знала — прототип был

поближе и угроза пожиже, но тип искреннего любовника-карьериста был взят, как говорится, из жизни.

Втянув в грудь побольше воздуха, храбро двинулась к самым-самым: Олегу Ефремову и Анатолию Эфросу. Между ними — визит к Кате Еланской. Боже мой, какая стыдоба, думаю я сейчас, длинное, как глиста, плохо структурированное бедное творение. А тогда была оглоущена тем, что пьеса существует, и безумная потребность — чтобы о ее существовании узнали другие. И не просто другие, а лучшие.

Они узнали.

Дневник:

Разговаривала с Эфросом. Пришла в половине второго. Эфрос ждал у входа в театр. Я передала ему пьесу в четверг. В пятницу позвонил, что прочел. Сегодня воскресенье. Он сказал, что не знал, чья пьеса, а когда пришел домой, сразу сел читать (ну-ну, интересно, что же она сочинила, чем она дышит, обычно я так сразу пьес не читаю). Читать интересно, есть настроение, но он такие пьесы ставил и лично для себя ничего нового не нашел, ничего не поразило. Кто прав, спросил он, Лида? А разве Петр не прав? Вероятно, надо делать более определенные вещи. Такая же ситуация, продолжал он, у Миллера в «После грехопадения», однако у Миллера это на сильнейшем драматическом накале, на выкрике, а у вас...

Сожалеющий мягкий взор был красноречивее слов.

Взор Ефремова был любопытствующим. Авансов не давал, расспрашивал о жизни, изучал, время потратил щедро, и дебютантка вышла от него, сраженная не столько приговором, сколько фирменным ефремовским обаянием.

В случайные жертвы попал Алексей Николаевич Арбузов. В шикарной шерстяной кофте ходил по комнате вперевалочку, сосал леденцы, хмыкал, предлагал иностранное вино. Смущалась. Оттого была развязной. А может, и не была. Оба как романтики не знали, чего ждать от нового знакомства, и оба как реалисты ничего не ждали. Пришла с честным редакционным заданием: расспросить первого драматического писателя страны о творческих муках и замыслах. Обмирая от собственной наглости, использовала служебное положение в личных целях: протянула прочесть пьесу. Драматический писатель номер один то ли вздохнул, то ли хмыкнул. Улетела на крыльях беспочвенных надежд.

Дневник:

Передали, что спрашивает обо мне. Леня Хейфец сказал, что расспрашивал его. Наташа Крымова — что ее и Толю.

Длинная пауза.

79.

Все романы обычно на свадьбах кончают недаром,
Потому что не знают, что делать с героем потом.

В голове застряли строки из романтической поэмы Константина Симонова «Пять страниц», посвященной Валентине Серовой. Кто о чем, а вшивый о бане.

Саратовская разлука подкинула полешек в огонь. По возвращении он стал быстро затухать.

Было непонятно, как жить, события происходили незначительные, мусор будней удавалось расчистить редко, тешили разве что экскурсии за город в мужней либо редакционной компании, на рыбалку, на шашлыки, по грибы, с красным и белым вином, с неперменным костром, если лето или осень, на лыжах, если зима, с картошкой и кислой капустой под водочку. Все как будто решилось и устоялось, но каждый выезд на природу сопровождался тайным волнением и ожиданием. Чего? А кто его знает. В самом слове привычного заключался предмет волнения. Оно усиливалось, когда кто-то пел под гитару. Пели Визбора, Клячкина, Высоцкого, Галича, у Карпинс-

ких будет петь сам Галич. Невлюбленность в мужа при неизжитой тяге к влюбленности создавала сложную смесь настроений, близких к нервическим срывам.

Дневник:

Вчера в половине второго ночи встали на лыжи на Подушкинском шоссе при полном отсутствии луны, тридцатиградусном морозе и превосходном настроении. Час по ночному лесу: Боря с Люсей, Виля с Таней, мы с Игорем и еще несколько пар. Снег скрипит под лыжами, как под полозьями саней. Поднимешь голову — черные голые сучья на фоне закапанного звездами неба. Нет, не закапанного, чересчур холодно, и они примерзли к небу. Ресницы отчаянно склеивает иней. От слез?

Смотрю тонкий «Июльский дождь» Марлена Хуциева с Женей Ураловой и Юрием Визбором — там все эти экзистенциальные настроения, а почти что уже и не понять, с какого рожна они возникали. Эмоциональная память — на доньшке.

80.

Июль.

Июльский дождь обильно полил улицы, блистающий жемчуг сумерек сменился густым фиолетом, автомобильные огни двоятся: бьют из фар и повторяются на мокрой мостовой. Зажигают фонари. Люблю этот момент, когда на фоне ночного неба начинают разгораться сначала совсем слабые сиреневые звезды, а через минуту светят в полную силу. Неон, XX век. С электричеством, в XIX веке, было по-другому.

Несколько часов назад маковки Кремля тускло меденели посреди бессолнечного дня. По Садовому кольцу шла молодая женщина и повторяла себе, как на заезженной пластинке: будь мужчиной, будь мужчиной, будь мужчиной.

Как скрипач настраивает скрипку перед концертом, так я настраиваю себя, чтобы писать. *Настроение* и *настраивать* — один корень. А ничего не получается, и настроение никуда. Пишу заметки в газету и не умею сесть писать другое, что варится в черепной коробке и никак не сварится. «Кольцо «Б»» — единственный стоящий порыв. Но не прорыв. Значит, и не стоящий.

Покатилось кольцо-колечко за светлые долины, за темные леса, за высокие горы, к синему морю-океану.

Но экс-пигалица еще не знает этого.

81.

Слава Голованов подвозил на машине к МХАТу. Внезапно: *в сущности, я ничего не знаю о тебе*. Ледяная корка растопилась вмиг. Крах потерпела, сказала в ответ еле слышно. Личный, субъективный, зависящий от субъекта, решил уточнить он. Горячо, без знаков препинания, выдала: *одно связано с другим субъективное сомкнулось с объективным разве ты не замечаешь лжи в которую мы погрузились знаем что лжем и продолжаем лгать у всех как минимум две правды одна для подобных себе которых мы считаем умными другая для остальных а есть еще десятки правд для жены для любовницы для уверенности в себе для доказательства собственной порядочности для успеха Славочка на мое личное спроецировалось время потому все так безысходно*.

Юмора пигалице долгое-долгое время катастрофически не хватало.

Можно вообразить, как скучно было Славе Голованову выслушивать эти жалобы турка. Попрощалась, вылезла из машины, а думать продолжала все так же сплошняком, без знаков препинания: несовершенство мира штука старая как сам мир, но кого-то это убивает с неизбежностью которая остальным кажется нелепостью раздаются выстрелы какими не приспособившиеся обрывают бег дней и кого человечней слушать и услышать приспособившихся или тех кто не.

Дневник:

Вчера была «в свете»... Избавилась от жестоких приступов застенчивости, что

налетали внезапно, превращая в истукана, но не могу перестать наблюдать и оценивать. Федя Бурлацкий эгоцентричен и тщеславен, Куницын многословен, Соня Давыдова цепко схватывает нужное ей, слова Борислава скучны, Леня, с его беспокойством, утомителен. Лен лучше всех, я его люблю, но он напивается и ничего не хочет делать, все видится ему бесцельным, ум и талант его пропадают.

Лен сказал тост: за то, чтобы нам не устать.

А Тарковский сказал, что готов спиться, лишь бы каждый раз поднимали тост по поводу свершенного дела.

82.

Ноябрь.

Заснежило. Небо низкое, темное, сверху что-то сыплет, что-то льется, что-то стучит о жесть подоконника — тяжелы погоды в России. Слякотно, сыро, серо. Погода не имеет значения, если у вас на душе праздник. Ваши ноги могут шлепать по грязной жиже, а голова — витать в облаках. Праздник подступает не оттого, что седьмое или восьмое ноября и повсюду официальный красный цвет, и гигантские бумажные гвоздики, и музыка из громкоговорителей, и танцы на улицах, и гости в доме, и вечерний салют. Праздник оттого, что вам, скажем, тридцать три, и вы любимы и любите, и вам говорят нужные слова, и все у вас получается, и впереди целая жизнь. Восьмого ноября застрелилась Надежда Аллилуева. До тридцати трех она не дожила.

На редакционной летучке, которая пролетала часа за два, разбирали материалы, придирались к мелочам, побивали друг друга тоскливыми аргументами, а пигалицыну душу терзало неотступное: да на что же вы тратите время, милые мои, ведь все вы умрете, об этом надо думать, с этим надо что-то делать, криком кричать, а вы как будто бессмертные, и вас заботит не важное, а неважное!

Любовь и смерть. С раннего возраста смыслы эти бередили душу. Как жить? Чем жить? Зачем жить? Прочее — поверхностное, оболочка, броня, общепринятое, комильфо.

Зашла в магазин за продуктами, обхамила продавщица. С мужем Игорем решила развестись. Продолжался снег с дождем, колото лицо, шею, руки, шарф не спасал, скручивался, намокал, перчатки где-то оставила, в редакции или в магазине, поднимала озябшую руку, таксисты с горящими зелеными огоньками проезжали мимо, обрызгивая жидкой грязью. Один остановился. Села, мокрая, как крыса, и настроение, как у мокрой крысы. Выходя из такси, увешанная сумками, искала мелочь, набрала, протянула таксисту, в ответ обложил таким злобным матом, что уже и не жила вовсе, а повесилась, застрелилась, утопилась.

Дневник:

Шла по коридору. Открытая дверь. Сидит Ганюшкин. Зашла. Выкурили по сигарете. Вдруг стала рассказывать ему про свою скуку. Он слушал, спрашивал, бросал в ответ остроумные, смешные реплики. Потом сказал:

— Знаешь что, а ты напиши про эту свою скуку.

Что мешает?

Вслед за внезапным «Кольцом "Б"» писала что-то. И так же, набрав побольше воздуха в легкие, кому-то внезапно показывала.

Практический результат — приглашение принять участие в совещании молодых.

Дневник:

Кончилось совещание молодых писателей. Мои тексты попали к Георгию Радову. Позвонил, сказал, что во всем видна натура, прибавив — что холодная. Это почему? Что недотрога? Для кого-то одного — еще какая дотрога.

Счастья совещание не прибавило.

Океан

83.

Кольцо-колечко катилось и катилось, за темные леса, за высокие горы, и прикатилось к синю морю-океану.

Дневник:

Моя маленькая дочь Наташа спросила:

— Ты много ошибок за свою жизнь наделала?

— Не знаю. Должно быть. А ты?

— И я много.

— А что ты вдруг об этом заговорила?

— Так, подступило к душе.

Очередное поражение в любви разведенная пигалица понадеется забыть в долгой экспедиции, что выпадет как фарт, не загаданная, не задуманная, свалившаяся по случаю. Проводником случай изберет по-прежнему безнадежно влюбленного Леню Почивалова, знакомого с непредсказуемым директором института океанологии Андреем Сергеевичем Мониным. Вечная диспозиция: мы смотрим на того, кто не любит нас, на нас смотрит тот, кого не любим мы, и это расположение фигур опоясывает весь земной шар.

Дневник:

Ехала в такси. Грузовик рядом вез гипсового пионера с инвентарным номером, болтавшимся у него на шее, с отбитой гипсовой рукой. Может быть, я — этот пионер.

Гуляли с Яшей Акимом до ночи. На следующий день позвонил, сказал, заикаясь, что написал стихи, посвященные мне.

Дождь со снегом моросит,
Темнота ползет навстречу.
Помолчи или спроси,
Промолчу или отвечу.
Разное у нас житье,
Годы разные и все же
Одиночество мое
Чем-то на твое похоже.
Если б знать наверняка,
Почему мы так зависим
От случайного звонка,
Невостребованных писем.
Как выигрывают спор
Между радостью и стоном,
Погадает светофор
Желтым, красным и зеленым.
Ночь промозглая грядет,
Укорачивая сроки.
Одинокий пешеход
Сел в троллейбус одинокий.

Любовная история переехала, как телегой, примята, придавлена, и грудная клетка сломана. А так хотелось дышать вовсю, чтобы радостно, чтобы легко, а не с этим полузадушенным хрипом и непреходящей горечью.

Поддержки искала, где только можно.

Дневник:

Обедала в Питере с Радием Погодиным. Спокойно и вдохновенно рассказывал свои удивительные сюжеты, которые давно не успевает записывать. Вот что такое настоящая полнота дара, а не скудость.

Дневник:

Приходил Володя Шевелев, сказал, что обеспечит себе старость тем, что предложит когда-нибудь мое письмо к нему, и не в раздел переписки, а в раздел прозы. Неужто?

Дневник:

Гуляли с Ростом два часа. Зашли ко мне, накормила его ужином, он пил вино, я — коньяк. Смешил. Хороший городской вечер.

Ходила в мастерскую к трем скульпторам — Сидуру, Силису, Лемпорту.

С бородатым, кряжистым, основательным, твердо стоящим на ногах Лемпортом распустилась, как с подружкой. Бросал насмешливо и дружески:

— Будь бабой, не гордись, сними трубку и позвони.

В ответ на мучительный протест соглашался:

— Ну что ж, иногда надо и умереть.

Пересказанная реальность и лепится как реальность. Остается вопрос: реален ли в пересказе пересказчик?

Снова пилим тупой пилой тему. На этот раз совет такой:

— Поцени себя немного, поживи одна, независимо ни от кого, ты сама собой представляешь ценность. И смейся, не реви, кому нужна плачущая женщина?

Как ни подавлена, впрямь: хорошее название для рассказа.

Прощальный аккорд:

— И не относись ты к жизни слишком серьезно. Вот я леплю, если бы я относился к этому слишком серьезно, я ничего не смог бы вылепить: предыдущие мастера, накопленный опыт, то, другое, а я делаю несерьезно, и получается по-моему.

Как выучить невыученные уроки, когда мир двоечника ничего не вмещает, кроме один плюс один, которые не складываются?

84.

В это время Высоцкий писал:

Вы возьмите меня в море, моряки, —
Я все вахты отстою на корабле.

В море, на корабль рвались многие. В их число входили три закадычных школьных друга: Юлик Крелин, Тоник Эйдельман и Валя Смилга, врач, историк и физик. Незнакомому Юлику Крелину пигалица позвонит, наткнувшись в «Новом мире» на симпатичные записки под дурашливым названием «Дорогие мои кэкэмбэсы». Так доктор транскрибировал неизвестное ему английское словечко *cucumbers*, что значит *огурцы*, это обращение было в ходу у его студентов. Пигалица отыщет телефон врача-писателя и предложит поговорить по душам, разговор напечатают, дружба наладится длиною в жизнь. Юля будет таскать за собой печальную пигалицу в ЦДЛ, в гости к Виктору Некрасову, еще куда-то, не утешая, а просто. Тогда он и заметит, что во французском языке нет выражения *выяснение отношений*. Чтобы перестала заниматься глупостями.

Ни у Юли, ни у его однокашников с экспедицией не получалось. У пигалицы, которой было все равно, получится или нет, получилось. Вот тоже вечный порядок в человечестве, или беспорядок: то, чего нам не очень-то и хотелось, мы получаем и не получаем того, чего хотелось очень. Не исключено, правда, что мы ошибались и в первом, и во втором случае. Капризный, своенравный Андрей Сергеевич Монин, когда пигалица к нему явилась, неожиданно легко согласился взять ее в рейс, в

который шел начальником. Перед тем лежала в Пироговской клинике, залечивая язву, понятно, что обострилась на нервной почве. Профессор, завотделением, благородная статная армянка с серебряной прядью в волосах цвета воронова крыла, величественно дала согласие на отправку в жаркие страны, хотя язвенной болезни жара противопоказана. Заикнулась было об этом — профессор без обиняков заключила: *в вашем случае дамы отправлялись в подобные путешествия. Стало быть, ее случай — не секрет?*

Борис Слуцкий высказался кардинально: *увидите, экспедиция станет для вас тем же, чем для меня стала война.* Обомлела от этого едва ли не кощунственного сравнения несравнимого: огромного всенародного и маленького личного.

Маленькое и огромное сойдутся. Океан переломит жизнь надвое, на до и после, как могла бы переломить война. Пигалица встретит в океане людей, по каким скучала в московском окружении. Мужественных, занятых делом, а не болтовней, не понаслышке знающих, что такое братство, взаимопомощь и взаимовыручка.

Настоящих.

В океане она излечится от несчастной любви и полюбит их, всех вместе, а одного — отдельно.

85.

Он прилетит позже остальных и сядет за длинный стол далеко, наискосок, однако в пределах видимости. Пигалицына каюта — на двоих. Соседка Наташа тактичными замечаниями и уместными сообщениями потихоньку вводит дебютантку в курс дела. Одно сообщение касается гидрооптика Павлова, самого интересного, по мнению Наташи, участника экспедиции, он прибудет со дня на день. Почва для любопытства подготовлена. Высоколобий, в темных очках, худой, плечи прямые, руки мускулистые, перевитые крепкими жилами, замечен и осмотрен. Судно выйдет из зимы и войдет в тропики на второй день — немедленно освободившиеся от дубленок и курток участники экспедиции натянут майки и шорты и, оголившись, сделаются на просвет, что посолонь, что обсолонь, то есть, что по солнцу, что против солнца.

Во Владивостоке, корабль стоял еще на причале, внезапно написались стихи, которых отроду не писала и глядеть в этом направлении не глядела.

Смешно сказать: живу опять,
опять как будто жду чего-то.
Какая странная забота,
полузабытая работа
на этом свете — ожидать.
Казалось, все сошло на нет,
неважно, с драмой ли, не драмой,
но кончен, кончен счет упрямый,
надежды нет, спасенья нет.
Но там, где выжжена дотла,
сухая почва камнем стала,
трава забвенья прорастала
и, наконец, произросла.

Что посолонь, что обсолонь, диковинным океанским синим цветом расцветет то, чему определен срок — 8 1/2 года.

86.

«Дмитрий Менделеев» вышел в рейс двадцать восьмого декабря 1971 года.

Задерживались, сколько могли, из-за Бориса Тареева.

С Тареевым журналистка летела из Москвы, познакомившись заранее в Москве. Доктор физико-математических наук, не чванный, веселый, всеми любимый, заявил, что возьмет над ней шефство. Надежное плечо обещало облегчение участи, мерехлюндия сдавала позиции. Во Владивостоке Тареев внезапно попадает на опе-

рационный стол: острый аппендицит, перитонит. Вместе с другими навещала его в больнице. Серое лицо, резиновый зонд в носу, из вены торчит игла, через нее вводится лекарство, прежде полные жизни глаза безразличны. Говорил, что мучает жажда: ах, холодной бы воды или цейлонского пива, так хочется на Цейлон, попить пива!.. Он бывал на Цейлоне, он бывал везде, он плавал во всех океанах мира и снова рвался в океан. Начался полубред, ему казалось, будто он опускает руки в родник. Через день прилетела жена Оля. А экспедиция ждать больше не могла — по графику выход судна из порта должен быть помечен уходящим годом. Договорились, как только Тареев поправится, его самолетом перебросят на ближайшую стоянку.

Погода испортилась, «Менделеев» уходил от депрессии, а депрессия догоняла, секло ветром и дождем, оттого встречу Нового года, которую собирались устроить на палубе, пришлось перенести в столовую команды. Он и она, прилетевший позже всех гидрооптик Павлов и журналистка как будто случайно оказались рядом за новогодним столом, чокались, шутили, улыбались, обменивались необязательными репликами, а скрытые токи, что зарождаются, как хотят и когда хотят, уже побежали, прекрасная лихорадка без спроса стремительно забродила в крови. Дождавшись боя склянок и подняв бокалы с шампанским, прокричав во всю глотку *с Новым годом* и оттанцевав ритуальные танцы вокруг елки в кают-компании, он с ней, она с ним, в конце концов общей толпой вывалились на палубу, где вроде даже потеплело или выпитое согрело. И там произошло то, чего не могло быть, чего не бывает, но оно произошло, на глазах у всех. Неожиданно, как кошка, быстро-быстро перебирая конечностями, он взлетел по реям на высоту двухэтажного дома. Толпа на палубе ахнула, кто-то засмеялся, кто-то что-то заорал, кто-то назвал его сумасшедшим, и лишь одна она знала, отчего гидрооптик Павлов сошел с ума, ибо и она, стоя на неверной палубе и задрав голову вверх, следя с сорванным дыханием за его передвижениями на реях, тоже сошла с ума. Они оба были здесь умалишенные, и это случилось столь молниеносно, словно решено было заранее, без них и помимо них.

Шла первая их новогодняя ночь, они сидели вместе в кубрике, где электромеханик Толя Дерюга, по прозвищу Фокич, пел Городничего *Не страшно потерять умение удивлять, страшнее потерять умение удивляться*, и еще раз Городничего *По судну «Кострома» стучит вода, в сетях антенн запуталась звезда, а мы стоим и курим, мы должны прослушать три минуты тишины, и Окуджаву Неистов и упрям, гори, огонь, гори. На смену декаблям приходят январь. Нам все дано сполна, и радости, и смех, на всех одна луна, весна одна на всех*, и все было прецизионно точно, в лад и впопад, поскольку и звезда запуталась в сетях антенн, и луна одна на всех, и умение удивлять сходилось с умением удивляться, и влюбленность неудержимо разносилась красными и белыми шариками по венам и артериям, бросая то в жар, то в холод, и в семь утра встречали Новый год по московскому времени, и расстаться-разлепиться уже было невозможно.

Настоящее случилось.

Как обещал поэт.

87.

В Москве вчитывалась в сочинение «Фрегат «Паллада»» Ивана Гончарова, уходящего в подобное плавание век назад:

Как пережить эту другую жизнь, сделаться гражданином другого мира? Как заменить робость чиновника и апатию русского литератора энергией мореходца, изнеженность горожанина — загрубелостью матроса? Мне не дано ни других костей, ни новых нервов. А тут вдруг, от прогулок в Петергоф и Парголово, шагнуть к экватору...

Все точно.

Как?!

Чтобы не болталась по судну беспривязная, привязали к отряду метеорологов. В обязанности свежеепеченного сотрудника отряда метеорологов входило описывать характер облаков, мерить температуру воды за бортом, отмечать направление ветра. Главный метеоролог Юрий Шишков обучал своей науке: послушайте палец,

поднимите вверх — так определите, откуда и куда дует ветер. В стране Австралия, где судно очутится через месяц, на ужине начальник и сотрудник усядутся за одним столом, напротив двое австралийцев. Подадут деликатес: суп из черепаших хвостов. Юра Шишков, попробовав первым, бросит, почти не разжимая губ, словно если разжать, то принимающая сторона поймет по-русски: *советую не брать это в рот — не будете знать, как выплюнуть*. Сотрудник зальется смехом, цивилизованные австралийцы, не получив разъяснений, сделают вид, что все о'кей.

Смеха на корабле много. Хотя возможны ситуации, когда не до смеха.

Над койкой в каюте пигалицы прикреплена *Личная карточка сотрудника*. В ней написано:

Должность — научный сотрудник. Судовой № 153. Сигнал по тревогам: непрерывный звонок громкого боя в течение 30 секунд. Дублирующий сигнал: паровой свисток, сирена, тифон короткими сигналами в течение одной минуты. Сигнал сопровождается командой с указанием вида тревоги.

Перечислены виды тревоги. Самая безобидная по названию — *шлюпочная*. Это когда судно тонет. Остальные — про остальные приключения.

Бог спас: в рейсе прозвучала единственная тревога, и та учебная.

Первая вахта пришлось на ночные часы. Корабль спал. Человечек один на палубе посреди массы воды и неба — один во Вселенной. Бездна под и бездна над. И корабль, который, одинокий, несется, несется на всех парусах. Низкие бескрайние и бездонные тучи несущие за ним — *кумуляонимбусы* по науке. Темная, без луны, сфера с редкими звездными прогалинами нависает над крошечной фигуркой, что точкой, меньше точки, атомом, меньше атома, затерялась в мировом пространстве. Далеким петушиным заревом полыхнули зарницы. Часть тучевых скоплений по левому борту осветилась тусклым светом. Это взошла ущербная луна. Все, только что бывшее там у них в движении, внезапно остановилось и замерло. И долго-долго не менялась картина вышних сфер, заворотив наблюдателя. Фигурка замерла, поглощенная, заколдованная, озябшая. Не заметила, как гроздь туч куда-то делись, словно истаяли, луна окрепла, и стылая серебряная дорога протянулась от корабля к горизонту. Душа вместила окоем воды и окоем неба, прошедшее и будущее, начало и конец, великая красота сомкнулась с великим оцепенением, соединившись в драматическом опыте, который можно было прервать, спустившись в каюту, где, завернувшись в одеяло, постараться поскорее уснуть, и невозможно было прервать, невозможно переменить неназываемое, до мурашек, состояние ни на какое другое.

У исследователя Уиллиса, который не раз пересекал океан в одиночку, прочла:

Мы в этом мире все мечтали, но лишь немногим смельчакам дано осуществить свои мечты... Поройтесь-ка у себя в душе, и вы обнаружите, что тоже мечтали о таком плаванье, даже если ни вы, ни ваши ближайшие предки никогда не выходили в море. Когда-то, может быть, много веков назад, у ваших праотцев была такая мечта, вы унаследовали ее, она у вас в крови — будь вам двенадцать, семьдесят или сто лет, — ибо мечты не умирают!

Яхту Уиллиса под названием «Малышка» обнаружили советские моряки. Без хозяина на борту.

А наш Боря Тареев никогда не прилетел на стоянку.

Он умер во владивостокской больнице.

88.

Маршрут экспедиции: Владивосток — порт Дарвин — Коломбо — Занзибар — остров Сокотра — Сейшельские острова — Сингапур — Владивосток. Так аукнулся учебник географии, над которым корпела девчонкой, воображая себе невесть что.

Еще раз: воображение предчувствует реальность или порождает ее?

Даже если ни вы, ни ваши ближайшие предки никогда не выходили в море...

Число промилле соли в крови человека и в океане совпадают, сказал пигалице гидрооптик Павлов. Случайно ли совпадение?

Он же подарил *оптический прибор для демонстрации законов отражения в плоском зеркале в виде трубки с вставленными в нее под углом зеркальными осколками,*

проложенными разноцветными кусочками стекла, бумаги и т.п., которые при поворачивании прибора отражаются в зеркале и создают разнообразные красивые узоры.

Это потом переписала формальное определение калейдоскопа.

Океанское плавание с остановками в портах — цветные стекла в мысленном калейдоскопе. Встряхнешь — сложатся в один рисунок, встряхнешь по новой — в другой.

Первый рисунок — Австралия.

Летели на совместный симпозиум австралийских и советских ученых из порта Дарвин в город Аделаида, с посадкой в городке Алис-Спрингс. В иллюминаторе — голая коричнево-красная пустыня, морщинистая, складчатая, бугорчатая, как кожа старой индианки. Повсюду блюдца озер с мертвой красной водой. Пра-земля. Тысячи верст раскаленной глины преодолели сосланные сюда английские каторжники, прежде чем дойти до места, осесть и начать осваивать территорию. Видно, только поконченным, по слову Достоевского, людям было оно под силу. Местные — австралоидная раса — с пришлыми не смешались. Цивилизация пошла от каторжников. Аборигены, заросшие, в рваных шортах и грязных трикотажных рубашках, таская огромные животные на худых, как палки, темных ногах, так и остались жить в резервациях, никуда не развившись. В третьем тысячелетии белые за это перед ними извинятся.

В Коломбо, ничуть не утомившись походом в гигантский зоопарк, направились в район мелких лавочников и ремесленников Петта покупать кольцо с цейлонским синим сапфиром. Тема синего сапфира возникла, как только в Индийском океане заплескалась сапфировая вода неземной, что естественно, красы. Перевесившись через борт, вглядывалась, затаив дыхание, в сверкающую синеву, когда неслышно подошел гидрооптик Павлов и, встав за спиной, сказал: *обязательно надо купить цейлонский сапфир, тогда все останется, взглянешь в него — увидишь.* Что? А вот эти диковинные синие цветы, что посолонь, что обсолонь. Хозяин-индус в магазине Премадаса поил густо заваренным английским чаем со сливками, не уставая метать камни в оправы. Цена начиналась от сотен тысяч долларов. Спустились до сотен долларов. Затем до десятков. Хозяин утирал пот с лица, но не стирал любезной улыбки. Чай был выпит, кольцо куплено, дешевое, к нему браслет из дешевых сапфиров, до сих пор смотрю в них и вижу. Что? Диковинные синие цветы, что посолонь, что обсолонь.

Черная земля — Занзибар. *Зендж* — черный, *бар* — земля. Заколоченные витрины лавчонок, пыльные глухие глазницы окон, деревянные, резные, украшенные желтым металлом *арабские* двери, в которые никто не входил и из которых никто не выходил, безлюдные каменные дворы — «Земляничная поляна» на африканский лад. Бродили по загадочному городу, пока не стали попадаться обитатели, мужчины и женщины. Одна, с ног до головы закутанная в черный шелк так, что лишь лицо оставалось открытым, была особо хороша. Лицо и шелк совпадали, сливались, белели только зубы за чуть приоткрытыми огромными губами четких очертаний да белки таких же огромных любопытных глаз. На перекрестке, пустом от машин, юная девица-полицейский, с множеством черных косиц на голове, регулировала движение, которого не было. За зеленым полем шли линии домов-новостроек, занзибарские Черемушки. Проще, чем разгадывать темные загадки, вернуться на берег океана и броситься в океан. Солнце пекло нещадно.

На Сокотре ловили крабов, добывали раковины и кораллы причудливых форм. Названия раковин ласкали ухо: конусы, трохусы, лямбисы, мурексы, оливы, тридакны, галиотисы, тигрисы, арабика. Палубы заставлены ящиками с добычей. Океанологи в масках. Под мощным напором воды из шланга каждое сокровище очищается от водорослей и прочей морской скверны. Работают в масках — вонь немыслимая. Вымытое и высушенное богатство аккуратно заворачивается в газетную бумагу, заранее припасенную, и укладывается в деревянные ящики, по завершении экспедиции ящики доставят контейнерами в Москву. Мои кораллы и раковины — добытые мною, но неизмеримо больше гидрооптиком Павловым, — много лет вглядываются в меня из-за стекла специально сооруженного шкафа. А я по-прежнему вглядываюсь в них и вижу то же — посолонь и обсолонь.

Профессор Висконсинского университета, пожилой американец, принимает

нас на Сейшелах на своей вилле. В штате Висконсин у него двое сыновей-студентов и жена. На острове Прален, главном в гряде Сейшельских островов, молоденькая любовница, фотомоделка, девушка с обложки рекламного издания «Сейшельские острова — острова любви». Она подает гостям лед для напитков. У нее текучее бронзовое тело, просвечивающее сквозь нечто марлевое, под которым ничего нет, змеиная пластика и розовый язык, которым она то и дело облизывает лиловые губы, от нее исходит запах мускуса. Русские океанологи требуют льда опять и опять. Неконтролируемая стрела ревности пробивает район пигалицыной грудной клетки. Американский профессор объясняет, что у сейшельских женщин лучший характер в мире, поскольку на островах круглый год одна и та же температура — двадцать пять по Цельсию, а доказано, что ровный климат рождает ровный характер. До пигалицы доходит, почему у ее соотечественниц характеры прямо противоположные. Американец приезжал на Прален ежегодно ради научных исследований. Купив кусок земли и выстроив дом, больше не уезжает. Сидя в плетеных креслах на веранде, гости потягивают кто джин со льдом и тоником, кто виски со льдом, но девушка незаметно исчезла, и приходится перейти на французские вина в ассортименте, профессор — ценитель алкоголя вообще и знаток тонких вин в частности. Покончив с коктейлем, он устраивает приезжим путешествие на джипах в тропический лес и ныряние в коралловом саду, так называется здешний подводный мир, с предупреждением: ничего не поднимать с земли и ничего не брать из воды — государственный заповедник.

Светились розовые облака, и счастье, казалось, переполняет этот край через край.

Конечная граница — чистенький, с иголочки, Сингапур. За брошенный под ноги мусор гигантский штраф. Мусорницы — изящные металлические, почти музейные изделия. Хотелось опускать и опускать туда ненужные бумажные стаканчики и обертки от мороженого. Невиданная — в те поры — архитектура почти сплошь блестит стеклом и металлом. Знаменитый Тайгер-парк, Ботанический сад в английском стиле, аквариум с морской и пресноводной живностью, и магазины, магазины, магазины — больше возможности закупиться заграничными подарками перед возвращением на бедную родину не будет.

Из синей воды и розовых облаков, из счастья и нервов, из сомнений и надежд, из качки и штиля, из того, что миновало, и того, что не минует, составится первая, ученическая, проза «До свидания в апреле!».

89.

В свободное от вахты, приема пищи, разговоров с учеными и командой корабля время самозабвенно стучала на машинке. Сидя в каюте, горячо готовила репортажи для родной газеты и отправляла в виде радиogramм в редакцию. Там мои пышущие жаром пирожки хладнокровно остужали, отщипывали куски, черствые крошки попадали на полосу. Вскоре и это сухое крошево на страницах газеты иссякло. Засоряла эфир, отнимала время у радиста, передававшего мои полотна азбукой Морзе в Москву, а Москва выбрасывала их в корзину. В чем дело, не могла взять в толк. Но из океана с редактором не поспоришь. Закусив губу, делала записи об экспедиции впрок.

Разъяснилось по приезде.

До главного редактора без промедления дошло известие об аморальном поведении специального корреспондента. Невозможный роман с начальником гидрооптического отряда, кандидатом наук, открывшим в Индийском океане самое прозрачное место, фигурирующее во всех учебниках мира как *море Павлова*, — роман этот ни для кого не был секретом. Мореходы так и говорят, что корабль прозрачный. Как *море Павлова*, должно быть. Настучать на влюбленных мог любой желающий. Хотя для этой цели, как и везде, на судне служил определенный персонаж — замначальника по политвоспитательной работе. В непосредственные обязанности его входило: стучать. На их языке: сигнализировать. Сигнал прошел — должны быть приняты меры.

Домой из Владивостока прилетела с папкой материалов, готовая отчитаться за

командировку. В редакции встречные прятали взгляды. С тяжелым сердцем отправилась к главному редактору. Серые глаза Бориса Дмитриевича Панкина блеснули сталью. Он не скрыл, что спецкору грозят неприятности, и немалые. Трусоватый спецкор замер.

Неприятности не заставят себя ждать. Вызовут во все партийные и комсомольские органы, какие есть, желая не только сунуть нос в чужую личную жизнь, но и распорядиться ею, наложив на нее суровое вето. Я была свободна, однако мой возлюбленный женат, жена писала *в инстанции*, я получала по полной программе. Дрожа, как осиновый лист, стояла на своем, как скала: не ваше дело, мы любим друг друга. Хуже были разрывы с любимым. Зато лучше — новые любовные взрывы. Пережив одно и другое, привела его к папе с мамой. Папа с мамой, несмотря на ортодоксальные взгляды, жениха приняли, с женой он развелся, и мы поженились.

Путевые очерки появятся в «Московском комсомольце» и «Огоньке». В «Комсомолке» — ни строки.

В океане я увидела зеленый луч. Солнце, бывает, испускает такой луч в последний миг пребывания на краю земли. Поверье говорит, что человек, увидевший зеленый луч, будет счастлив.

Арбузовская студия

90.

Телефонный звонок, которого ждала и которого не ожидала, раздался накануне предновогоднего вылета в экспедицию. Говорит Арбузов. Но что такое он говорит? Создается студия молодых драматургов, и он приглашает стать его студийкой! Боже мой, а я улетаю... Далеко? Далеко, во Владивосток, ухожу в плавание!.. Надолго? Надолго, почти на четыре месяца!.. Приходите через четыре месяца.

С ума сойти.

Пришла.

Центральный дом литератора, где собирается студия, в двух шагах от дома. Миновать фойе, за ним дубовый зал ресторана, где безостановочно пьют, смачно закусывают и по-детски предаются тщеславию литераторы, от безымянных до популярных, подняться на второй этаж, в обшитую темным деревом гостиную с камином, где за длинным овальным столом — Люся Петрушевская, Аня Родионова, Толя Антонин, Венечка Балясный, Аркаша Инин, Володя Карасев, Витя Коркия, Андрей Кучаев, Саша Ремез, Саша Розанов, Марик Розовский, Витя Славкин, Аркадий Ставицкий, Олег Сосин... Так входят в литературу? В историю литературы?

Какая история литературы?! Шок и трепет.

Люся, в каких-то хламидах и платках, снятых с подруг *на понос*, как сама выражалась, по причине тотальной бедности, крупная, поток силы, от нее исходящий, разит наповал, лицо гуттаперчевое, какие нужны артистам для разных выражений, от комического до трагического, от свирепого до ласкового, освещено светом прекрасных серых глаз. Студийцы были обольщены ею с первой минуты, Арбузов — нет. Казалось, он некоторое время ее побаивался и драматургии ее не любил. Он не переносил *чернухи* — так это называлось, ежели не из головных представлений о жизни, а из самого ее варева вычерпано. Люся читала на студии одноактную пьесу «Любовь», смешную, мрачную, пронзающую, с ее фирменным точным звуком, это был шедевр, Арбузов недоумевал, Люся ревновала его ко мне. Должен был пройти срок, чтобы он оценил и полюбил ее, мотив ревности исчез, но какая-то заноза в отношениях оставалась долго. Я написала про «Любовь» в «Комсомолке» с восхищением. Люся, кажется, не обратила внимания. Она импульсивно схватит меня за руку на кладбище, и так, тесно сцепив руки, мы пройдем весь скорбный путь за гробом Алексея Николаевича Арбузова, и я верю, душа его возрадуется на небесах. И так же пройдем мы, крепко взявшись за руки, за гробом Олега Николаевича Ефремова. Старые хламиды и платки к тому времени сменятся дивными шелками и шляпками, Люся узнает достаток, а славы у нее всегда было примерно одно и то же количество.

Аня, мать троих детей, к каким прибавится четвертый, юная, как какой-нибудь детский персонаж на сцене ТЮЗа, пухлогубая, светлоглазая, сияющая, в шестнадцать лет написавшая пьесу «Брусиловский прорыв», поставленную Театром Моссовета. Творческая и питейная смычка московских студийцев Алексея Арбузова и ленинградских — Игнатия Дворецкого закрепляется любовным союзом: от нас Аня Родионова, от ленинградцев Сережа Коковкин. К четырем детям прибавятся внуки, а юная Аня останется такой же, как была, сияния немного поубавится: реалии, при всем при том, беспощадны.

Толя Антохин, сугубый блондин, умственно озабоченный, вещь в себе, в муках создает что-то производственное, оно же абстрактно-философское, когда ругают, а ругают на студии всех, его реакция обворожительна: мученическое выражение покидает голубые глаза, он улыбается и возражает ругателям, улыбаясь и никогда не обижаясь, ища у истины, а не у людей. Он нанесет незабываемую рану Алексею Николаевичу, уехав однажды за границу и оставшись там, первый и единственный наш невозвращенец. Я найду его по телефону на Аляске, попав туда, но он в Фэрбенксе, я в Анкоридже, и мы не встретимся. Мы встретимся в Москве, когда противостояние Восток—Запад исчерпает себя, и Толя обретет возможность приезжать на родину как свободный человек. Что-то такое свобода или просто годы с ним сделали. Мученичество в поиске истины не исчезло, глаза изменились, и улыбка — редкий гость на заросшем бородой лице. Арбузова несколько лет как нет, и Толя горюет, что ничего не может объяснить мастеру.

Венечка, со страдальческими глазами и ангельским нимбом русых волос, всегда был особенным, таким и остался спустя тридцать лет, и спустя тридцать лет я услышу в его голосе мощь, а прежде не слышала, потому что всегда говорил тихо, звук лился из души, из чистой души лилось то, что писал, что думал и что говорил, слегка стопоря от смущения и от переполнения важным, что необходимо было облечь в единственные, своеобразные и неожиданные слова. Он написал пять исторических пьес и даже не предлагает их режиссерам. Какие режиссеры, когда человек работал с Эфросом! Венечка делал для него инсценировки, и большая Венечкина душа вобрала и впитала в себя Анатолия Васильевича до кончиков ногтей, как она умеет вобрать и впитать в себя все подлинное. Я читала одну пьесу из пяти. Она гениальна, а Венечка — ангел. Неужто ангелы получают им положенное только на небесах?

Ему, единственному из арбузовцев, написаны стихи.

Защити меня, Веня,
обведи тайным кругом,
пусть бесчинствует время,
мы богаты друг другом,
пусть бесчинствуют люди
там и наше старанье,
с нами вечно пребудет
одно — состраданье.
Защити меня, Веня,
моя чистая совесть,
на двоих откровенье —
наша братская повесть.

Аркаша Инин был другой, не такой гладкий, как сейчас. Придя из киномира, он не знал, как правильно вести себя в театральном мире, и то и дело опускал глаза. Ему давалась комедия, иного рода, чем комедии Люси Петрушевской, мы, избалованные ею, с ним небрежничали, он зримо страдал от недооценки. Позднее пойдут фильмы один за другим, не говоря об уморительных капустниках для своих, он успокоится, получит широкое признание и опередив в этом остальных.

Добрейшая душа, очкарик Володя Карасев одним из первых услышит аплодисменты на спектакле по своей пьесе в Театре Ермоловой, студийцы будут радоваться за него и переживать вместе с ним уход любимой жены Тамары и приход в дом любимой жены Тани. Этот дом, вблизи моего дома и Дома литераторов, станет

открытым для нас. Сколько в нем будет выпито и съедено, сколько шутилого и серьезного провозглашено, сколько дружба, думаю, что и до сих пор разлито в его атмосфере.

Володя Карасев умер четвертым из студийцев.

Витя Коркия, верный друг и оруженосец Антохина, худенький, с шапкой густых волос, торчащих тугими пружинками в разные стороны, постоянно захлебывается смехом, то ли от нрава, то ли от нервов, — не ясно, что держит его в студии, кроме возможности быть рядом с Антохиным, поскольку он не драматург, а поэт. Поэтический талант его отмечен самим Евтушенко! Но именно его пьеса в стихах «Черный человек Сосо Джугашвили», поставленная в Студенческом театре МГУ, прогремит — у Антохина похожего грома почему-то не случится.

Самый опытный литератор Андрей Кучаев, его юмористические рассказы и миниатюры регулярно печатаются на шестнадцатой полосе *Литературки*. Чуть помятое лицо пьющего интеллигента, светлое стекло глаз, усмехается, как Д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис разом, за спиной биография то ли Казановы, то ли Дон Жуана, женщины от него без ума, он делит себя между ними и выпивкой, поэтому всецело литературе отдастся позже, когда уедет на жительство в Германию, в чем сыграет свою роль женщина, а выпивку он там, кажется, оставит.

Два Шаши, Ремез и Розанов, особо сблизятся меж собой, союз их скреплен тем же алкоголем. Младший, двадцатичетырехлетний Ремез, вундеркинд, смотрит на вещи легкомысленно-свысока и строчит пьесы одну за одной, как Лопе де Вега, счет перешагнул за сотни. Поставили первую пьесу, за ней вторую, третью — и перестали ставить. Он нисколько не унывает, веря в свою звезду. Он картавит и похож на маленького Ленина с темными локонами. Старший, Розанов, чеховский персонаж, чуть скошенный подбородок выдает неуравновешенный характер. Способный классический неудачник, подверженный упадкам духа, и даже когда приходит удача, она краткосрочна, не успев ею насладиться, Розанов привычно впадает в депрессию, спасаясь вином, отчего депрессия усиливается, Соловьевка приветливо встречает старого знакомого. Мы подолгу говорим по телефону, он благодарен любому, кто занимается им, бесконечно одиноким, но, увы, это бывает слишком редко.

Сначала уйдет Розанов, за ним Ремез.

Первые две потери после Алексея Николаевича Арбузова.

Третья потеря — Алеша Казанцев, полный тезка Арбузова. Он придет в студию позже всех и станет любимчиком мастера. Любить его есть за что. Породистый, значительный, аристократичный. У него все получится — и драматургия, и режиссура. Другие режиссеры ставят спектакли по его пьесам, он ставит спектакли по чужим. И там, и там — победы. Вот кто удачник, а Арбузов питает слабость к удачникам. Знаменитый «Старый дом» впервые читан на студии и единодушно одобрен мастером и подмастерьями. Алеша создаст альманах и театр вместе с Михаилом Роциным. И погибнет в расцвете сил в Болгарии, купаясь в море.

Марик Розовский, веселый, болтливый, как образцовый лягушонок, взрывающийся на мир, людей и театр слегка удивленно, но и лукаво, тоже успешный режиссер и драматург. Он целиком споет на студии своего «Холстомера» до Товстоногова, у которого роль Лошади гениально исполнил артист Лебедев, а тут мы увидим весь спектакль в специальном исполнении одного автора, и это будет выше всех похвал.

Его приятель Витя Славкин, патриций по облику, юморист по биографии, как и Кучаев с Розовским, в драматическом жанре начал с абсурдистских пьес. Арбузов отнесся к ним с недоумением. Он заинтересовался учеником, когда тот прочитал на занятиях «Взрослую дочь молодого человека». Пообещав пьесе непростое будущее, Арбузов закончил многообещающим: *но есть смысл ждать*. Витя запомнит фразу. Он дождет ошеломительного успеха «Взрослой дочери» в постановке Анатолия Васильева в Театре Станиславского и такого же успеха следующей пьесы, «Серсо», в постановке Васильева в Театре на Таганке. Обе работы станут легендарными. Как легендарным станет Анатолий Васильев, основатель уникального театра.

Через годы Толя признается мне с обескураживающей откровенностью:

— После «Серсо» я понял, что все, что я мог сказать в театре о моем ровеснике, о себе самом, я сказал. И я знал, что больше не буду заниматься современной темой.

Никогда к ней не возвращусь, мне там нечего было делать. Это значит, что от проблем, связанных с человеческим, я переходил к проблемам, связанным с божественным. С Богом. Я уже не возвращался к человеческим темам, к человеческим отношениям. Я занимался проблемами искусства, философии, наконец, религии. Но я больше никогда не занимался человеческими проблемами...

Теряющего волосы и зрение, прямого в словах и деликатного по сути Аркашу Ставицкого, самого старого нашего студийца, смущал его возраст. Он успел побыть в инженерах, и даже в главных инженерах, и в драматургию пришел поздно. Не опоздал. Его пьеса о Гогене украсила афишу Театра Станиславского. И самый настоящий триумф ожидал его с появлением в репертуаре этого театра пьесы «Улица Шолом-Алейхема, 40». Римма Быкова в роли старой Розы околдовала зал. Это была вершина мастерства великолепной актрисы. Пьеса с блеском прошла по стране и миру.

Значительный, со значительным выражением лица и значительными усами, Олег Сосин по образу и характеру сам являл собой классическую драму и писал классические драмы. У него раньше всех появились книжки. Живые классики приватно и публично ценили его. А что-то не заладилось в студии, он раньше других покинул ее и исчез с нашего горизонта.

Все были отдельные, с характерами, слегка настороженные, но и обнадеженные, хотя мэтр велел не питать иллюзий: он никому помогать не обязан, хлопотать ни за кого не станет, сами, сами.

И сколько при этом каждый от него получил!

Записано за ним:

Когда я говорю «не спешите» и когда я говорю «помните, что жизнь коротка», — я говорю об одном и том же — о том, что нельзя отделяться пустяками.

Конечно, если вы читаете только себя, вы можете думать о себе все, что вам угодно. Но вы же сами вспомнили о Шекспире. Да что Шекспир! Мы почти современники великого Чехова. За одно это к нам будут относиться с интересом наши потомки. Подумайте, что в одно с вами время садятся за письменный стол Олби, Теннесси Уильямс, Ружевич, наконец, Радзинский!..

Люди утекали и притекали, студия расширялась и сужалась. Живое дело. Пришел привлекательный, застенчивый Лева Корсунский, также из юмористов, помимо драматических произведений писал прозу, ставился и печатался — но и в этом случае чего-то от Того, кто стоит на раздаче, может вознести, а может и не заметить, по каналу Левы не поступило.

Закон или беззаконие? Одному — слава, другому — популярность, третьему — широкая известность в узких кругах, четвертому — безвестность.

Не от нас зависит.

От нас зависит — работать.

91.

Я написала на корабле пьесу с длинным вычурным названием «Там, у Белого моря, у деревянной церкви». Драматург Вадим Коростылев, поэт по природе своей, сократил название до двух слов: «Белое лето». Попробовала на вкус — понравилось. «Белое лето» поставил Владимир Андреев в Театре Ермоловой. Музыку сочинил Эдуард Артемьев. Слова распевов аутентичны — привезла с Белого моря. На Белом море мы побывали с талантливым фотографом Воликом Арсеньевым, ловили форель, я занудничала, он делал снимки для газеты, для себя и для меня: я стою на носу карбаса, я стою в лесу, я сижу на пеньке, вокруг серебряные пятна мшаника. Сдвинутая реальность проросла в пьесу. Двое художников приезжают на Белое море писать природу, стариков и старух, а у тех свои отношения, и они оказываются не менее драматичными, чем отношения молодой столичной пары.

Вторая пьеса зачата по случаю. В троллейбус села женщина с девочкой, девочка стала напевать мелодию, что-то из классики, мама поправляла ее голосом, без слов, девочка подхватывала, мама повторяла, они так и общались, музыкой, бессловесно, я, замороженная, слушала, думая: как замечательно это понимание без слов и куда

оно деваётся, когда возникают слова? Я назвала пьесу так же длинно и вычурно: «Пьеса для пяти голосов». В ней было пять героинь. Гениальный Олег Табаков с ходу придумал — «Страсти по Варваре». Митя Муратов, главный редактор «Новой газеты», спустя двадцать с лишним лет неожиданно рассказал, как десятиклассником бегал в студию Табакова пять раз смотреть «Страсти по Варваре». Не успела задрать нос, как он добавил, что был влюблен в одну молодую актрису. Думаю, в Лену Майорову, в которую и я была влюблена. Забыть ее невозможно. Огненная погибель этой девочки потрясла. Девочка успела стать большой актрисой — и сгорела.

92.

Помимо Арбузова в студию приходят драматург Михаил Григорьевич Львовский и театральный критик Наталья Анатольевна Крымова.

Седой Львовский разрешает звать себя Мишей — как в довоенной арбузовской студии. То, что он производит на свет, знаменито. Сам он — нет. Насмешничает над этим, страдая и пряча страдание, не меньше нас, голодных до славы студийцев. «Вот солдаты идут», незабываемую песню, которую знал и пел весь народ, сочинил он. «На Тихорецкую состав отправился» — тоже. «В моей смерти прошу винить Клаву К.» и «Я вас любил», классику юношеского кино, — тоже он. У него своя точка зрения на наше творчество, отличная от арбузовской, и когда Арбузов ему возражает, обижается как малое дитя, похоже, только в этом просвечивает его счет к жизни как таковой. Он трогателен внутри, и мы его трогательно любим, жаль, потаенное у нас не принято выражать, принята тотальная улыбка над собой и ближним. Я ходила к Львовскому домой. Там жила маленькая женщина Ляля Махлах, его жена, а мой редактор, выпустившая в Детгизе «До свидания в апреле!». Ляля поила меня и Мишу чаем из красивых фарфоровых чашек, для Миши был случай поговорить наконец о себе, о судьбе, о прошлом. К тому времени стал очевиден мой главный талант: слушалища. Я люблю и умею слушать. Я по уши в собеседнике, и он это чувствует. Все хотят быть выслушанными и услышанными. Благодарю Бога за то, что он дал мне этот дар.

В Институте журналистики и литературного творчества я буду вести мастерскую «Искусство диалога» и первое, чему попробую учить своих студентов, — умению любить собеседника, пусть хотя бы в эту минуту, больше себя.

С Наташей Крымовой мы, до студии, ездили вместе в Прибалтику к выдающимся театральным режиссерам Вольдемару Пансо, Каарелу Ирду, Адольфу Шапиро, Наташа от журнала «Театр», я от «Комсомолки». Она как девочка со своей русой челкой и русым хвостиком, постепенно перецветавшими в серые, в больших глазах любопытство, мудрость, основательность и лихость, все вместе. Она сложная, с ней надо держать ухо востро, чтобы не ударить в грязь лицом, проколешься хоть в быту, хоть как — былого расположения не вернешь. Мне нравится, что надо быть подтянутой и не распускаться, она как камертон дает точную настройку. Она первое перо в «Театре» и первый авторитет на театре. С ней считаются Георгий Товстоногов и Юрий Любимов, Андрей Гончаров и Олег Ефремов. Она пишет эмоционально и умно, ее критерии неизменно высоки. Она жена Анатолия Эфроса, и она приводит Эфроса к нам в студию. Дома у них — деревянное, глиняное, фаянсовое, вязаное, сшитое из кусочков, брошенное на тахту. Личный Наташин стиль тот же: она одевается в самовывод и самовяз, словно прибалтийская крестьянка: длинная холстинковая юбка, шерстяная кофта, на плечах плат. Она все умеет. Шить, вязать, готовить, любить мужа Толю и сына Диму, сначала школьника, потом студента, потом театрального художника, и ухаживать за лохматым эрдельтерьером, пока тот был жив. Дима расскажет мне о смерти любимого пса, когда Толи уже не будет:

— Мы с папой делали тогда спектакль «Воспоминание» по пьесе Арбузова. А там, если помните, муж уходит от жены, и она приходит в пустой дом, и все по-другому. В этот день мы ездили за город и закопали нашего песика. Пришли домой, о чем-то надо же говорить — а мы как раз декорации придумывали, и у меня была идея в первом акте сделать такой большой хороший дом, а во втором акте все то же самое, только маленькое. Как бы уже не войти туда и нельзя жить. И вот я начинаю про этот вариант, а он на меня так смотрит и говорит: нет, это не про то, второй акт — это вот

мы с тобой сейчас пришли... И показывает на подстилку, на которой собака лежала. Все то же самое, а собаки нет...

Дима Крымов станет художником двух моих книг «Вот ангел пролетел» и «Этаж»¹.

93.

Студия получает подвал на Мытной — наш будущий театр. Мы делаем ремонт в подвале своими силами, а пока что показываем Эфросу в Доме литератора одноактные пьесы. Актер и режиссер МХАТа Игорь Васильев показывает «Лестничную клетку» и «Любовь» Петрушевской. Актриса Римма Быкова из Театра Станиславского — моноспектакль по моим пьесам «Телефон» и «Тема с вариациями». Эфрос смотрит, осторожно роняет пару замечаний по частностям, великодушно одобряя целое. Несмотря на организационные сложности, этим совершенно разным работам предстоит долгое и счастливое будущее.

Эфрос — птица редкая, залетная. Частые — молодые режиссеры Анатолий Васильев, Иосиф Райхельгауз, Борис Морозов. Один влюблен в пьесы Славкина, второй — в пьесы Ремеза, третий — в классику. Проект Райхельгауза-Ремеза как-то затухает, Толя Васильев вместо Славкина собирается ставить Горького, поскольку сначала грезит о «Вассе Железновой», а уж потом о «Взрослой дочери». Драматурги устраивают бунт против режиссеров. Режиссеров не устраивает качество молодой драматургии, драматурги не приемлют амбиций молодых режиссеров. Студийцам необходим не просто театр, им необходим театр, в котором пойдут их пьесы. Конфликт разгорается. Арбузов как театральный человек понимает, что не драматург — первое лицо в театре, а режиссер, что драматурги должны уступить режиссерам, которые вольны выстроить собственную театральную политику, и ничего не способен поделаться со сплотившимся коллективом. Мы расходимся с варягами, пожелавшими нас заполнить. Метафора насчет разгорающегося конфликта переходит в явь: отремонтированное и готовое помещение сгорает. Трагическое происшествие ставит точку на наших художественных притязаниях, мы делаемся артистами погорелого театра.

Не слишком ли много пожарищ на одно человеческое летоисчисление?

94.

Английская театральная программка: «Старомодная комедия» Арбузова.

По-английски называется почему-то «Old World» — «Старый мир».

Премьера — седьмого октября 1976 года. Aldwych Theatre.

Во всю обложку крупно мэтр. Короткая стрижка, волосы слегка вьются, соль с перцем, черные брови, светлые глаза полуприкрыты и смотрят не на вас, а куда-то в сторону от вас, нос рыхловат, уголки рта приподняты, рот растянут в легкую усмешку — лицо Жана Габена, если б тот чаще улыбался. Арбузов и самодостаточен, как Габен. Если и бывал растерянным, ищущим, неуверенным в себе — либо давно прошло, либо никому не видно. Он уверен и независим и не даст вам вторгнуться в его тайный мир, весь облик свидетельствует о веселом знании, которое, возможно, и досталось когда-то недешево, цену он все равно не назовет. Белая рубашка с галстуком. На белых фрагментах мелкими буквами: *Милой Оле, маме Наташи, достойной Кучкиной, Леха-диссидент*. Он никакой не диссидент, но и не советский человек, он отдельный человек, сам по себе, каким сделал себя и каким хочет выглядеть. На этом снимке ему показалось, что Леха настолько лихой, что вроде как диссидент.

У меня много его снимков. Мы снимались порознь и вместе в Ялте, в доме творчества, и в доме творчества в Дубултах. Снято своими. Но также к коллекции приложили руку уличные фотографии. Витя Славкин приучил нас не пренебрегать ими. Мы становились в какую-нибудь лодку, которая никуда не отплывала, и несколько не полагали себя никакими провинциальными мещанами, а исключительно сто-

¹ Оба романа публиковались в «Дружбе народов».

личной богемой, что вот так вот *оттягивается*. Мы в цвете, который до сих пор не выцвел, в театральных позах: Петрушевская, Корсунский, я, Славкин, Розовский, Шатров, Арбузов, Инна Громова. У Люси и у меня вылетает по чайке из руки, у Люси плюс две над головой. Арбузов барином. Посередине парус. Под этим парусом мы, не сходя с места, отправляемся с дорогим учителем в неведомое нам будущее.

В Дубултах — ежегодные семинары по драматургии, Арбузовская студия во главе с мастером выезжала туда почти в полном составе. Никак не набирала силу ранняя весна, вставали серые рассветы, море выглядело льдистым и холодным, деревья мертвыми, но нам было ведомо: еще несколько дней, некоторое количество солнца в холодной воде — и окрестность преобразится. На глазах выстреливали зеленые комочки почек, и все видимое густело от зеленого дыма. Мы отправлялись в местный ресторан, заказывали шикарный обед с вином и пировали до умопомрачения. Было весело и молодо, и моложе всех Алексей Николаевич.

В один из походов меня укусила оса в ухо. Ухо мгновенно сделалось как алый пельмень, с острым сверлом внутри. Переполох случился немалый. Кто-то рассказывал, как человек умер от осинового укуса, студийцы смотрели на меня с сожалением, понимая, что придется прощаться. Отвели к врачу, были предприняты медицинские меры, я веселилась. Вкусная еда и вино послужили противоядием, все обошлось.

95.

Мы были в разных возрастных и, разумеется, иных категориях, у нас были разные пристрастия. Я не любила его любви к Гете. Я признавала величие Гете, но олимпийство великого немца было вчуже далеким. Обнаженную кожу тех, кто так и не сумел нарастить ее до роговой и ушел из жизни, не справившись с ней, как, скажем, Шпаликов, я по-прежнему воспринимала как личную вину: чего-то не сделала. Не со Шпаликовым, которого и не знала, а с собой и, стало быть, с миром. Возможно, гипертрофированная чувствительность — оборотная сторона амбиций. Гете осуждает мальчика с повышенной чувствительностью, предрекая, что тот ничего не сделает, чувствительность помешает ему стать созидателем. Оно, может, и верно, да не броня ли одних раздирает в кровь тонкую кожу других, делая их еще уязвимее?

Разговор с пятилетней Дунечкой:

— *Мам, ты любишь сильных?*

— *Да.*

— *А я буду любить слабых. Но так, чтобы они от моей любви становились сильными.*

Право слово, так и сказала. Будто программу заложила.

Мы с Арбузовым идем на переговорный пункт в Дубултах звонить домой, я своим, он своим. Я спрашиваю его: *что нового?* Он отвечает: *Галка в больнице, кровь из глаз течет*. Спокойно так отвечает, с обычным своим добродушием, вышагивая обычной своей слегка переваливающейся походочкой, и засасывает полагающийся леденец. Я теряю дар речи. Он, с его внимательным глазом, замечает. Возвращаемся берегом моря. Проходит минут десять. Он бросает: *если вы хотите быть художником, Оля, надо уметь отказаться от всего, даже от близких, если понадобится*.

Можно, нужно было хладнокровно возразить: *что за чепуху вы порете, Алексей Николаевич!* Онемела.

Мы были просты в наших разговорах, хотя в то же время слегка во что-то играли. Не он со мной. Он со всеми нами. Я не знаю, во что была игра. Есть версия, что так он продолжал оберегать свой внутренний мир. Он мог воскликнуть: *молодец! Я? Нет, я, какой эпизод сочинил!*.. Однажды воскликнул: *молодец! Вы? Нет, вы — ушла, наконец, ваша проклятая литературность, все персонажи — характеры, у каждого свой ритм, а в то же время бьется одно общее сердечко*. Он сжал руку в кулак и показал, как бьется. Пьеса «Корабль» пришлась ему по вкусу. Театрам — нет. Мы уедем из Москвы в Ялту, и там, прогуливаясь по набережной, он внезапно задумчиво молвит: *если бы был поставлен «Корабль», все бы у вас пошло по-другому и вы бы уже жили в другой квартире и с другим мужем*. Какой другой муж, что он там провидел, какой

вариант моего будущего встал перед его внутренним оком — почему-то меня напугало это его не сбывшееся пророчество.

Он нередко был раздосадован моими творениями. Есть письмо, в котором он меня ругательски ругает за пьесу «Мистраль» — о Ван Гогe.

Оля! Этой Вашей пьесе я не судья. Даже догадаться не могу, зачем Вы написали эту литературу. Думаю, что непростительно подобное после «Варвары». Путано и нарочито бессвязно. Кто Вам эти лица, некоторым из которых Вы присваиваете звонкие фамилии? Неужели Вы рассчитываете, что их духовный хаос поможет нам хоть как-то объяснить странности и причуды нашего — нашего — существования? Беда и удивление в том, однако, что пьеса на редкость дурно написана. Мне показалось даже, что Вы нарочно меня мистифицируете — не поставить ли, дескать, этого дурака в тупик своим косноязычием? Тоже некий вид литературной игры. Чтобы доказать свою объективность, сообщаю, что почему-то с 52-й страницы и до финала пьеса обретает вдруг литературную форму, а последняя картина действительно драматична. Раньше-то где Вы были? В связи с этим очень хотелось бы послать Вас к чертям, но я так не поступлю, ибо, даже невзирая на только что прочитанный опус, отношусь к Вам с нежностью. Как и прежде. Оля, перечитайте, будьте любезны «Страсти по Варваре» и не валяйте дурака.

Письмо заканчивалось требованием: *не сердиться.*

Какое *сердиться!* Я была счастлива. Перечитывала не пьесу — письмо. Цитировала близким, смеялась над каждой строчкой, не согласная ни с чем.

Именно про наше — мое — существование в пьесе и было, и сердился он на то, что я плохо усваиваю не столько профессиональные, сколько жизненные уроки.

Встретилось у кого-то, кажется, у Юрия Казакова: в первой половине жить, во второй писать. Не загадывала — само получилось. Кругом писали, а я все еще жила. Хаотично. И мой хаос был Арбузову не по душе. А я, похоже, испытывала счастье оттого, что был человек, который принимал это близко к сердцу.

На полке стоит двухтомник его пьес 1981 года издания. Он, в клетчатом пиджаке, моложе, чем мы его знали, почти без седины, нахмурен, смотрит вдаль, углы рта опущены, не тот сибарит и баловень, что явится позднее, на заднике пустой пейзаж с редкой группой деревьев, что вносит в снимок ноту одиночества и даже, я бы сказала, тоски, какая в общении никогда не звучала. *Милой Оленьке, которую некоторые считают моей ученицей, но которая меня ни в чем не слушается. Вот тут и разберись! Будьте веселы. Ал. Арбузов.*

Как я могла быть весела, когда студийцы критиковали мои пьесы. Студийцы критиковали пьесы всех. И я критиковала. Но мне казалось, я делала это мягче по отношению к ним, чем они по отношению ко мне. Возвращаясь домой, швыряла рукопись на пол, ложилась на диван лицом к стене и лежала долго, пока усилием воли не брала себя в руки, чтобы продолжать жить.

Живите весело и с удовольствием. Работайте с наслаждением и отчаяньем. Не злитесь. Необходимы ирония и жалость. Для критика, как и для драматурга, равно необходимы — энергия и темперамент. Действуйте! — еще одно его напутствие.

Моя рефлексия вместо действия его не устраивала. Он не мог пропустить ни значимой футбольной игры, ни театральной премьеры, ни вернисажа, ни концерта в консерватории. Звонил: была ли на такой-то выставке, видела ли такой-то спектакль. Скучно отвечала: нет. Скучала, потому что мучительно была влюблена в мужа Володю Павлова, счастье перемежалось с маятой, что отнимало массу времени, точнее сказать, что и было временем. Разговор об этом был невозможен. Арбузов пожимал плечами — равнодушно, с сожалением, сердито.

Пришло время, я вскочила с дивана, перестав пропускать премьеры и концерты, наслаждение и отчаянье сделались моими спутниками в письме, в ежедневном графике дней и ночей.

Без него.

Что касается профессии, он не только сердился. В рекомендации, с какой приняли в Союз писателей, написал: *наличие своей темы, лиризм и тонкая наблюдательность.*

96.

В Дубултах Арбузов рассказывает мне о себе. В ответ невольно вырывается: *до чего вы похожи на меня, Алексей Николаевич!* Разговор длится, и вновь такой же спонтанный возглас. Алексей Николаевич прищуривается: *а может, мы с вами похожи на людей, Оля?*

Замечу ему, что мне ясен исходный мотив его занятий с молодыми. Он и сам этого не скрывает, но, выслушав, с любопытством переспрашивает: *так вы считаете, что я вампир?* Я отвечаю: *да, да, вы Вампилов*. Мы оба хохочем. Вампилов переживал тогда свой короткий звездный час. В тридцать шесть лет он утонет.

«Жестокие игры», пьеса о молодых, которую напишет Арбузов, *напившись крови молодых*, выйдет в журнале «Театр» с посвящением студии.

В какой-то день его рожденья мы притащим ему в подарок чайный сервиз. На каждой чашке выгравировано имя студийца. Теперь он может пить из нас из каждого.

Его семидесятипятiletие мы отметим в Доме актера на Пушкинской — Господи, и этот дом сгорит!

Мы выйдем на сцену с музыкальными инструментами и протянем ему, сидящему в зале, дирижерскую палочку, предложив продирижировать оркестром. Энергичным молодым движением он вскочит на сцену, поднимет палочку и признается, что в детстве и юности грезил о профессии дирижера. Не зная, мы попали в точку.

Я клянусь, что и это любовь была, посмотри, ведь это ее дела.

Мы жили рядом с ним интуитивно и точно.

97.

Возможно, я не в курсе неких сторон его биографии. Возможно, некие женщины таили обиду на него. Он увлекался женщинами, а они — им. Мне его человеческое и профессиональное поведение видится безупречным. Он никого ни о чем не просил. Он был исполнен достоинства. Он вел себя как хотел. Он был тем котом, что гуляет сам по себе. Даже его клетчатые пиджаки, цветные шарфы, береты и кепи были знаком его самости, его отстояния от всего того, что составляло советчину.

Одна история смущала, я имела смелость, или наглость, спросить о ней с глаз на глаз. Мы гуляли на Ленинских горах, переименованных Воробьевых. Было 26 мая, день, в который он родился, и он расписал все двадцать четыре часа, как их проведет. В расписание входила наша прогулка. Он обожал жизнь и режиссировал свое в ней бытование часто как спектакль — в спектакле, согласно его воле, мог принять участие любой. Было сыро, влажно, но зрелая весна торжествовала, и вовсю заливался соловей. Мы бродили среди мокрой зелени тем смеркающимся промежутком, когда день не кончен, а вечер еще не начался. И тогда я задала ему вопрос о Галиче.

Он принимал участие в собрании, на котором Галича исключали из Союза писателей за песенки, за гордыню, за кричащее несогласие с генеральной линией. Автор вполне добропорядочного сценария вполне советского комедийного фильма «Вас вызывает Таймыр» ударился в резкую критику власти, сменив хорошо оплачиваемую карьеру комедиографа на подпольную славу гонимого барда. Жаркие аплодисменты преданной публики по квартирам и клубам были ему наградой. На том историческом собрании Алексей Николаевич произнес слово не за Галича, а против него. При голосовании он воздержался. На воздержавшихся нажали, при переголосовании вышло, что Арбузов влился в хор гонителей. Либеральная общественность не забыла и не простила этого ему.

Тактичная и бережная, я безжалостно наступила мастеру на большую мозоль.

Мастер рассердился. *Это не имело никакого отношения к хору*, закричал он, *вы не знали Галича, а я знал, он был плохой человек, он много плохого принес нашей студии, спаивал людей, он и позже все делал из тщеславия, а не оттого, что страдал за людей, я выступил и сказал то, что думал, зная его неискренность!..*

Мы были третьей студией Арбузова. Легендарная первая была до войны: он, его первая жена актриса Анна Богачева, Валентин Плучек, Михаил Львовский, Исай

Кузнецов, Зиновий Гердт, Александр Галич, выпустившие легендарный спектакль «Город на заре».

Не стоило портить ему настроение в его день. Я оставила тему.

Она всплыла при самых драматических обстоятельствах. Он был уже очень болен, не вставал, студийцы навещали его по расписанию. О том, чтобы сесть за стол и писать, как он привык делать каждый день, не могло быть и речи. Он был измучен. Желая изобрести хоть какой-то стимул для него, договорилась с телевидением о двухсерийной передаче, ему посвященной, и взялась за сценарий — такая военная хитрость. Уговаривала: *думайте о передаче, старайтесь поправиться, вы мне нужны здоровым, а не больным*. В моем отношении к нему — младшей к старшему, ученицы к мастеру — было, как ни странно, что-то от отношения матери к ребенку, нужда оберечь, помочь, заслонить. До того, как заболел, тоже. Заболел — особенно.

Сидела у его постели, он только что проснулся, сознание не совсем вернулось к нему — второй инсульт породил минуты непроященного сознания. Сопrotивляясь изо всех сил первому инсульту, продолжал жить, как жил, с ресторанами, походами на футбольные матчи и в консерваторию, с поездками на премьеры. Привыкший к победам, а не к поражениям, он стремился одолеть болезнь тем, что не принимал ее в расчет, и до какой-то степени ему это удалось. Второй инсульт свалил его с ног. Глядя туманно из какого-то иного мира, он вдруг спросил: *а как вы думаете, если я в нашей передаче попрошу, чтобы Галичу разрешили вернуться и чтобы дело его пересмотрели, это будет правильно? Как вы решите, так и будет правильно*, отвечала я, беря его руку в свои. Он еще раз повторил, что будет хлопотать за Галича, и в глазах его была радость совершенного верного поступка.

Он не помнил, что Галич умер.

98.

Очередной семинар драматургов в Дубултах. Грустно. Мы уезжаем туда одни, без Мастера.

Перед отъездом читала ему сценарий телепередачи. Несколько раз у него на глаза навернулись слезы. Спросила дочь Галя, что делать, продолжать читать или остановиться. Галя сказала: *продолжайте, это хорошие слезы*.

Лекарство оказалось не всесильным.

20 апреля 1986 года в Дубулы позвонила моя дочь Наташа: *сегодня умер Арбузов*.

Я полетела в Москву. Повезла ему горсть любимой им прибалтийской земли. Точнее, песка. Из дюн. По песчаным дюнам бродил он многие годы, ловя сокрушенные мгновения закатного солнца, надеясь, что блеснет ему напоследок зеленый луч.

Рассказала про мой зеленый луч в экспедиции, и это запало ему в душу.

На девять дней мы студией у него дома. На столе в кабинете — мое письмо к нему, нераспечатанное, он не успел прочесть.

На книге пьес «Выбор» надпись за десять лет до того: *Оля! Вы необходимый мне человек и я очень рад этому. А. 20 — XII — 76*.

На фотографии в книге он полулежит на тахте, сосредоточенный, разбирает стопку книг, он всегда много читал.

99.

Я плачу.

Я плачу.

В Дубултах.

Ср. с ударениями Олеши: подлиннее и подлиннее.

Дома я делала это, забившись в угол дивана, в глухом одиночестве. На люди выходила, умытая, пригожая, пригодная для того, чтобы на вопрос *how are you* ответить *fine*, в русском варианте, разумеется.

Номер в Доме творчества предполагает одиночество, но не глухое. Драматурги,

поэты, прозаики, киношники ходят друг к другу в гости по мере надобности. Киношники появились, поскольку у драматургов нынче общий с ними семинар.

Телефонный звонок. За ним стук в дверь. Голова яйцом, с малым количеством волос, желтые усы, желтые глаза охотника и отшельника за стеклами круглых очков, несуетная речь с акцентом, фразы коротки и весомы, ухмылка загадочна. За минуту между звонком и визитом успеваю взять себя в руки, но след печали тянется, визитер схватывает след, я, не в силах сдержаться, вываливаю на него толику печального груза. Он не был на моей читке в зале. Кто-то хвалил, кто-то бранил, острый диагноз поставила Люся Петрушевская, он и задел острее остального. Держась изо всех сил, в номер возвращалась, бойко стуча каблучками по полу. В номере — обвал. Сокрушение творческое равнялось сокрушению жизненному. Ходила из угла в угол, роняла маловразумительные речи, руки дрожали. Он слушал, ничего не говорил, отделяясь междометиями, затем подошел, протянул свои длинные руки, крепко обнял ими и прижал к себе. Оба замерли. Это было не любовное, а братское объятие. Словами слов не перешибить. Того, что за словами, — тоже. Жестом, поступком, как стрелкой на железной дороге, одно состояние переводится в другое.

Виделись редко. В Москве, в Берлине, в Париже. Когда бы ни видались и когда не видались тоже, всегда помнила и помню братское утешение. Я люблю Отара Иоселиани как человека и художника, люблю все его подробные, земные и небесные, гениальные картины. Отдельно люблю того Отара, который вот так просто и естественно вылечил мою душу однажды и научил любви на всю оставшуюся жизнь.

Много лет спустя он скажет мне:

— Мы не можем вернуться. Мы не можем вернуться во времени к тому, что мы прожили, и это самое главное. Ни в России, ни в Грузии. Те фильмы, о которых ты говоришь, — наверное, какой-то неповторимый эпизод, крупница общей мозаики, она никогда не повторится. Вернуться в застывшее состояние — это как фраза Мефистофеля, предложенная Фаусту: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно». Ушли многие люди старшего поколения, и это восполнить невозможно. Ушли многие мои приятели, разъехались или просто умерли. Поэтому все так драматически меняется. Мы никогда не закреплены на этом свете. Как говорила травка у Сент-Экзюпери: поезда носятся взад-вперед, как жаль, что у них нет корней. Вернуться никуда нельзя, даже если на секунду уехал. У меня была семья, которая жила в очень обжитом и по-старинному традиционном доме, после того, как их не стало на свете, дом остался, и стены остались, но вернуться туда нельзя. Мы с тобой когда-то давно были в Дубултах, сколько бы ты туда ни возвращался, того не будет, и нас там нет.

Нас там нет. Но мы есть. И, Господи, дай нам еще побыть.

100.

Сажу за столом у окна. Через два ряда от меня справа прозаик из Литвы Григорий Кановичус. Он не похож на литовца, он похож на еврея, но он живет в Литве, где приняты окончания на ус. Весть о его даре достигает ушей, я прошу кого-то познакомиться нас, а у него выпрашиваю почитать роман «Слезы и молитвы дураков». Роман ошеломляющий. Язык ошеломляющий. Образы ошеломляющие. Философия ошеломляющая. Сама как дурак готова молиться и плакать о том пребывании на земле, какое сочиняет Гриша Канович, и о моем пребывании, которые, не соприкасаясь, соприкасаются таинственным образом. Я приглашаю этого замкнутого, сосредоточенного человека погулять в дюны, признаюсь ему в своих чувствах, и он слегка размыкается. На самом деле чувства мои лишние, он знает, чего стоит, но какому творцу они лишние — все равно греют. А холод вокруг него — как в холодильнике. Его издают, но с трудом, о нем пишут, но не то, ему мало литовской славы, он наезжает в Москву и Ленинград за глотком славы всесоюзной и уезжает, не напившись. Онтологическая тоска отпускает его, только когда он пишет, а когда живет — съедает.

Мы шлепаем по песку, он рассказывает мне про своего отца, портного, что всякий раз кидался к телевизору, когда показывали генсека Брежнева, которому шил костюмы, и высматривал, так ли лежит складка на брюках, не осели ли плечи у пиджака, не промялась ли грудь. Наверняка Гриша рассказывал эту маленькую ев-

рейскую историю, поданную с истинно еврейским юмором, не одной мне. Но он существует настолько на отшибе от компаний, настолько занят своим ежедневным каторжным трудом, что я воспринимаю его трату времени на меня как знак отличия и хожу с этой минуты скромно, но внутри себя горделиво, отмеченная им и его рассказом как медалью.

Я получу в подарок несколько его романов и прочту все, и мои чувства не умерятся, а, наоборот, возрастут. Через несколько лет я услышу об отъезде его на постоянное место жительства в Израиль и испытаю боль при мысли, что он определенно увезет свою онтологическую тоску с собой, а не сбросит при расставании с родиной как ненужную кожу, не получится.

Канович покидает Дом творчества в Дубултах раньше меня.

Маленькая модель жизни: на месте только что бывшего, а нынче убывшего человека в столовой дома сидит другой, вновь прибывший.

101.

На семинаре в Дубултах дебютантка Н. Из Сибири. Со своими слегка раскосыми глазами, удлинённым овалом лица и слабой косой она напоминает дикую козу, которая напоминает Пастернака. Она пишет страшные пьесы. Героиня одной — красуля с бытовым именем, она же смерть. Что-то чудное, гоголевское есть в ее пьесах и в ней самой. Ей трудно жить — экзистенциально, а не только потому, что нищенствует не слабее Люси. Она накричала на драматурга Виктора Розова, что тот не читает ее пьес, Виктор Розов удивился вместо того, чтобы обидеться, прочитал и удивился еще больше. Всех ходит уведомляет, как она талантлива. Ей, как и Грише Кановичу, как вообще всем творцам, и без него это известно, но ей, как и Грише и как всем творцам, нужны его уведомления, чтобы утвердиться во всеобщем мнении. Она влюбилась в нашего Толю Антохина и даже совершила попытку суицида, поскольку тот не ответил ей взаимностью. Сдается, это больше литературное, нежели женское.

Ночь. Дикая коза, похожая на Пастернака, стучит копытцем в дверь моего номера.

Дневник:

Ночью пришла пьяная Н., хорошая, несчастная девка, стала говорить, как она меня любит, и спрашивать, чем я живу, и целовать меня. Я гладила ее по голове и утешала, хотя утешать надо было меня.

Впереди вечер, на каком я прочту в Ленинградском Дворце искусств свою пьесу «Свидетели и очевидцы». Речь одной-единственной девочки, нового завлита ТЮЗа, окажется содержательной, и я стану молиться про себя, чтобы не ляпнула глупости или банальности. Не ляпнула. Остальное представляет собой сплошную банальность, без разницы, за или против. В конце следовало бы взять слово, да вдруг сделалось так скучно, что я сникла, сказала всем спасибо и удалилась.

Нина Садур среди слушателей. Ей пьеса понравилась. Сказала: *врачующая*.

Во Дворце мне подарят книгу Уитмена «Листья травы». Придя в гостиницу, раскрою — и тут же все утишится, уляжется, успокоится. Тут важное. Там неважное.

Дневник:

Н. соединяет в своих пьесах высшую нервную деятельность с самой низшей — по линии ума. Я делаю примерно то же — по линии чувства. Ее драматургия холодна, но поражает концентрацией духа. В моей — все упрятано настолько далеко, что, может, и не читается вовсе, а на поверхности смазано, растворено великим растворителем — обыденкой. Не даю ключа? Или глухая драма неинтересна — а интересна экспрессия?

В свое время Арбузов сказал, что читал мою пьесу «Движение колеса» трижды, всякий раз обнаруживая в ней что-то новое, и лишь на четвертый раз не обнаружил. *Это хороший признак*, ободрил он меня, *значит, пьеса имеет глубину*. Закончил,

однако, вот чем: беда в том, Оля, что у режиссеров нет времени читать пьесу четыре раза, они прочтут один и отложат в сторону.

Н. достигнет всего, чего заслуживает. Ее будут ставить и славить, она полно осуществится. Мы встретимся с ней однажды в районе Поварской и прогуляемся вместе по родной теперь и ей столице и ностальгически вспомним прошлое.

102.

Мы относимся друг к другу с нежностью: я — к Сене Злотникову, Сеня Злотников — ко мне. Он произносит хвалу комедии «Страсти по Варваре», я — комедии «Пришел мужчина к женщине». Это, знаете ли, способствует нежности. Ему очень идут прямые плечи и высокий рост баскетболиста, крючковатый нос еврея, громкий, простодушный смех славного парня. Он питерский, не коренной, приехал из солнечного Ташкента. Солнце прокалило его кожу и проникло внутрь. Он на все смотрит сверху вниз, но не надменно, а любовно. С высокими людьми это бывает. Они наклоняются и разглядывают живое, удивляясь мелочам, а, выпрямляясь, слушают звук, идущий с неба. Земные мелочи соединяются с небом. Его пьесы похожи на него.

Арбузов говорил: *драматург — не мыслящее существо, волны звуков идут отовсюду, они переполняют его, он в этом хаосе звуков ищет свое*. Сеня ищет и находит.

Мы ходим с ним в Дубултах в гости друг к другу, пьем вино, читаем стихи, ведем долгие беседы. Мы расстанемся, но вскоре он переедет в Москву. Соберется на юга на своем *жигуленке*, уложит вещи, поднимется наверх за забытым приемником, а спустившись, не найдет ни вещей, ни *жигуленка*. Я возьму этот эпизод в свой маленький роман «Любовь Крандиевского к Алисе». Злотников об этом не узнает. Он, как и Гриша Канович, уедет в Израиль. Пожалуй, скажу ему, когда он опять объявится в Москве. Крандиевский — не Сеня, но отсвет натурального Сени лежит на выдуманном Крандиевском. Использовал ли он что-нибудь из меня в своей работе? Мы же такой народец, с нами надо держать ухо востро, отовсюду берем, не спрашивая. Он прислал свой *руман* под названием «Стеб» с надписью: *Оля, я тебя люблю, и Валеру люблю за то, что он тебя любит. Ребята, живите долго и счастливо. Ваш Сеня. 13.1.08*. На обложке: *Семен Злотников, драматург с мировым именем*.

Арбузов предсказывал когда-то: *вы все будете на афишах*.

103.

Отдельная мистика: день рождения Люси Петрушевской приходится на тот же, что и у Арбузова.

26 мая 2008 года мы празднуем его столетие и ее семидесятилетие. В Бахрушинском музее выставка, посвященная нашему Арбузу: фотографии, афиши, театральные программки, сцены из спектаклей. Как войдешь — письменный стол, за ним стул, на спинке стула небрежно повешенный клетчатый пиджак, будто хозяин только что был и вышел, на столе листочки с текстами от руки. Секундный обморок: узнала почерк, каким писаны письма ко мне, что делает все нестерпимо личным, до неловкости. Варя и Кирилл Арбузовы, Миша Шатров, Аня Родионова с Сережей Коковкиным, Володя Карасев с Таней, Витя Славкин, Аркадий Инин — целуемся, Арбузов опять собрал нас, через столько лет, как был и вышел. Вечер семейный, уютный, со сцены говорят Исай Кузнецов, Михаил Шатров, Михаил Рощин, Татьяна Догилева, Леонид Хейфец, Сергей Арцыбашев, никто не в маразме, никто не тянет одеяло на себя, содержательны и кратки. Отговорив свое, слышу громкий шепот: *на выход!* Уходить не хочется, но студийцы договорились ехать к Люсе, Варя и Кирилл в курсе, мы уезжаем.

Попадаем в комфортабельнейший новорусский дом, на каждом углу секьюрити, в комфортабельнейшую новорусскую квартиру, и там секьюрити, — нас встречает Люськин голос. Она, в шляпе и длинной юбке, в митенках, с микрофоном в руке, исполняет старинный романс в сопровождении музыкальной группы. Мальчики в черных фартуках разносят шампанское, вино, соки и крошечные канапе. *Федя, что это, где мы*, спрашиваю Люсиного сына. Белокрысы шарман, модный шоумен Федя

Павлов-Андриевич, в майке и кроссовках, отвечает, что это съемная квартира журнала «Эсквайр», с дизайнерским содержанием, которая через год будет продана *за очень дорого*. Мне ничего из этого непонятно, кроме Люси, самой талантливой и яркой из нас Люси, драматурга, сказочницы, художницы и певицы, которая теперь имеет возможность выступать хоть где — на сцене МХАТа или в съемной квартире «Эсквайра» с кучей секьюрити, а шести театрам, как объявил Федя, выделены гранты на постановку ее шести пьес. Ведущий вечера Павел Каплевич наклоняется к моему уху и шепчет: *через десять минут вам говорить*. Через десять минут, вразрез всем комическим выступлениям, я говорю про то, как мы шли, держась за руки, за гробом Арбузова и как Люся навсегда стала родным и близким, моим человеком. Люся поднимается из кресла, в котором слушает поздравительные речи, и бросается в мои объятия, и я люблю ее.

Из забав вечера — показ шляп модельера Ирины Белопуховой. Под шляпами семь или восемь наскоро проинструментированных гостей, как ходить, как держать спину, как улыбаться, мы с Аней Родионовой и Таней Горячевой жизнерадостно участвуем в дефиле, а одну из шляп Белопухова дарит Люсе.

Наутро — телефон: *говорит Вера Корсунская, плохая новость*. Еще ничего не поняв, все поняла. *Левы больше нет*, сказала Вера, *собирался на вечер к Арбузову, был счастлив, что всех вас увидит, его нашли мертвым в аллее, где он бежал по утрам*.

104.

Моряк живет морем.

Океанолог — океаном.

Океан — границей.

Несколько лет гидрооптик Володя Павлов — невыездной из-за аморалки. Серьезная заграница ему запрещена. С трудом разрешили акваторию Черного моря: отечественный Геленджик, затем болгарский Бургас. Он тоскует, скрывая тоску.

Настает час, когда *органы* его амнистируют. Он врывается в дом с ошеломляющим известием: его отправляют в заграничье на *нашем «Дмитрии Менделееве»*. Радость. Мрак. Разлука в месяц, и та тяжела. Разлука в несколько месяцев непереносима. *Можно, я пойду с тобой*, нахожу я спасительный выход и разворачиваю бешеную деятельность по отправке себя в рейс вместе с мужем. Уже оформлены бумаги. Уже приготовлена отдельная каюта для двоих. Все удастся. Вплоть до самого отъезда. В канун отъезда сообщают, что *органы* меня завернули. Действует иезуитское правило: мужа с женой за границу не выпускать. Муж вернется — пожалуйста, в следующий рейс пойдет жена. Зачем?! Зачем мне туда без него? То, что у нас дети, которых мы ни за что не бросим, моя дочь и его дочь, никого не убеждает. Тем более что он свою, как они думают, бросил. Слепые предчувствия одолевают меня. Я велю им заткнуться, уговаривая себя, что все хорошо и будет хорошо.

Виктор Борисович Шкловский и его жена Серафима Густавовна объявляются на моем горизонте, когда Володя в плавание, а я, ненормальная соломенная вдова, не нахожу себе места. Приведет к ним, естественно, редакционное задание — останусь с ними на несколько лет до смерти обоих. Как-то они расположились ко мне и меня расположили к себе. Будто он и не матерый классик, не из той великой эпохи, где Маяковский, Лиля Брик, Нарбут, Багрицкий, Олеша, сестры Суок. *Имя нежное — Суок...* Узнаю разветвления сюжета. Узнаю, что это и есть та самая Серафима, младшая Суок, что покинула свою первую любовь, Олешу, ради рокового однорукого поэта-акмеиста Нарбута. Нарбут попадет в застенки ЧК и там погибнет. Сима не вернется к Олеше, к тому времени женатому на средней сестре Ольге, а пойдет в литературные секретари к остроумцу, острослову и остроznатцу Виктору Шкловскому, другу Маяковского, разведет Шкловского с женой и бестрепетно займет ее место. Старшая, Лида, выйдет замуж за Всеволода Багрицкого. Он погибнет на фронте. Лида, сопроводив Симу в ее походе в ЧК, чтобы удержать сестру от чреватой неприятностями перепалки, если сестра потеряет контроль над собой в борьбе за Нарбута, теряет контроль сама и уже не выходит из ЧК. Ссылка ее окончится только через семнадцать лет.

Бывая у папы с мамой на Новодевичьем, захожу к ним — все три сестры Суок там.

Но пока Сима здесь. Из очаровательной, легкомысленной хохотушки, что вскрыжила голову Олеше в шестнадцать лет, она превратилась в сухую, властную бывшую красавицу, с хрипотцой в голосе, которая всегда меня волнует. Она держит мужа и дом, ни один контакт и ни один союз не свершается без ее контроля и согласия. Он, головастик, с великолепной формой главного — головного — органа, с большими ногами, старый, как черепаха, фонтанирует парадоксальными мыслями, извлекая из обширной памяти феноменальное прошедшее. Мне некуда ходить, мне не с кем обсуждать мою печаль, я одна на всем белом свете и молчалива, и я хожу в этот дом, куда меня отчего-то впустили, где ни о чем не спрашивают, а я ничего не рассказываю, слушаю Виктора Борисовича, либо записывая за ним для газеты, либо просто так, пью чай с ними обоими и отдаленно соображаю, что пью чай с историей. «Комсомолка» печатает записанные за Шкловским мысли о Льве Толстом, а я машинально продолжаю визиты, и они не гонят меня, и Шкловский снисходит до чтения пьес. «Страсти по Варваре» и «Наша домработница Феодосья Федоровна» (в книжке я зачем-то изменяю название на «Синицы в октябре») бесстрашно проходят тест у эпохи. Виктор Борисович выставляет оценки, которые надо разгадывать как загадки, уходя в эмпирию сознания, куда я пытаюсь следовать за ним и утомляюсь от безуспешности попыток. Он говорит чрезвычайно оригинальные вещи о «Страстях», останавливаясь отдельно на типе буфетчицы Тоньки, которую у Табакова играет Лена Майорова, и произносит слово *претензии*, переходя к «Домработнице». Я недоумеваю: *а как же вы говорили, что пьеса вам понравилась, чем же тогда она вам понравилась? А вот претензиями и понравилась*, отвечает остроумец.

Кажется, и правда, все хорошо. Тем более что вот и Толя Васильев позвонил: в первые дни Нового года собирается устроить читку «Домработницы» в театре Станиславского.

Читка, в силу скрытых от меня обстоятельств, не состоялась.

А отчего мне все больше не кажется, что все хорошо, я не понимаю.

105.

Шкловскому исполняется восемьдесят пять. Зайду к ним не в день в день, а на следующий, на черствые именины. Вместе с Олегом Далем. То есть придем и уйдем мы по отдельности, но нас познакомят, угостят домашним пирогом, от стеснения я на него не смотрю и помалкиваю. Когда дверь за Далем закроется, Виктор Борисович скажет: *удивительный человек, удивительный артист, ни на кого не похожий, такого, как он, больше нет, я люблю его и боюсь за него из-за его сверхчувствительности*.

Через две недели юбилей отмечается в Доме кино. Шкловский просит выступить. Умственная и физическая слабость практически лишает дара речи. Выхода нет — я на сцене. Огромный зал, сотни глаз, дикое перенапряжение, а надо выглядеть спокойной и умной, чтобы не подвести великого старика, доверившегося мало кому известной молодой женщине, и я сверхусилием обретаю если не ум, то спокойствие.

А спустя малый срок Олег Даль вырастает на моем пороге, в доску пьяный, перед этим позвонив. Телефон взял у Шкловского. В дверях пошатнулся и чуть не упал на меня, но удержался и, улыбаясь расплывчатой детской улыбкой, спросил: *ничего, что я напросился? Ничего*, ответила и поправилась: *хорошо*. Мокрая зима растопила грязный снег под ногами. Пришлось вытирать за ним тряпкой. Провела на кухню, спросила, будет ли борщ. *Борщ, о*, сказал он, *борщ как раз то, что нужно, я буду борщ, только сначала давайте разговаривать*. Мы начали разговаривать, его развезило от тепла, он все больше клонился к столу, одновременно раскачиваясь из стороны в сторону. Налила горячего полную тарелку, он стал есть. Я смотрела, как смотрят матери на детей, когда они едят.

Через год я потеряю человека, который тоже был моим ребенком и тоже тяжело пил.

Чувство к ребенку — чувство любви. Его много в нас, оно заполняет нас, когда заполняет — счастье, когда нет — несчастье, когда есть — любви хватит на всех.

Любовь — попытка спасти.

Реально — безнадежная.

Даля, сорока лет от роду, найдут мертвым в киевской гостинице, на съемках.

И любящая жена Лиза не спасет.

Я мальчик Даль, не надолго, на взгляд
в зеркальный сумрак посредине ночи,
когда воображение морочит
и память разливает сладкий яд.
Вдали по Далю бьет прицельный дождь,
и снегопад лицо слезами мажет,
и ни один свидетель не расскажет,
как заходил случайный этот гость.
На кухне, в полумраке и смеясь,
пыталась отпить горячим супом —
послушно ел, сбегала боль по скулам,
артист, ребенок, пьяница и князь.
Любовь переливалась через край,
ее хлебали ложкой осторожно,
тогда казалось, все еще возможно,
шептал, хмельной: дружок, не отбирай...
Я не придумала и доли, пустяка,
происходившее на площади Восстанья
все так и было, и смешная тайна
покрыла выходку смешного чудака.
То были пробы, пробы без конца,
развоплощений смесь и воплощений.
Он умер вдруг, несчастный русский гений,
с свинцом на сердце, сборной из свинца.
Внезапный взгляд сто тысяч лет спустя,
внезапный морок в зеркале старинном,
я мальчик Даль, и в обмороке длинном
дышать не смею, резвое дитя.
Хотите роль попробовать на зуб —
я мальчик Даль, я это вам устрою,
О бедной Лизе думаю с тоскою,
хлебаю, обжигаясь, тот же суп.

106.

Шкловский делится со мной важным знанием. На вопрос Капицы, что делает ученого, Резерфорд ответил: препятствия. *Если нет препятствий*, продолжает Шкловский, *значит, вы идете чужой, уже хоженной дорогой, настоящую литературу, как и науку, создают препятствия, не бойтесь их, то, что вы пишете, может быть стоящим делом.*

В серии «Библиотека "Комсомольской правды"» выходит моя тоненькая книжечка «Лицо и пейзаж», малое собрание публикаций в «КП». Виктор Борисович празднично одарит ее предисловием:

Каждый новый шаг в литературе и искусстве — шаг вперед, и в то же время он кажется началом какого-то падения...

Человек, перемещая ощущение своего веса, как бы падает вперед. Другая быстрая нога исправляет падение...

Новое в искусстве начинается трудно, потому что это — не только человек изменяется в своих движениях и поступках. Это — меняются поступки мира.

Старый мир уходит с подмоетков.

Я просматривал сжатые строки газетных отзывов и привыкал к новой фамилии: Кучкина...

*Эти заметки написаны не вдогонку.
Они написаны навстречу.*

107.

Талантливая Ира Поволоцкая, жена Олега Чухонцева, пишущая прозу, прочтя пьесу «Гусятин, до востребования», скажет: *не понимаю, Оля, это должно было идти по стране как чума.*

Талантливый Саша Вилькин устроил читку в ВТО. Талантливый Роман Виктюк — в Студенческом театре МГУ. Талантливые Гарик Черняховский и Володя Портнов объявили о своем намерении ставить «Гусятин».

Не случилось.

Гениальный Товстоногов был не так прост. Разбирая «Гусятин» до двух часов ночи, проговаривал куски вслух, чтобы показать ничтожные места. А назавтра я слушала его разбор «На всякого мудреца довольно простоты», восхитительной пьесы Островского, и селезенка ныла: точность, полифония, обертона, рядом с которыми моя вещь — убогое существо. Все же несколько фраз, оброненных мастером в конце, заставили сердечко забиться, хотя мастер ничуть не убавил строгости. Он сказал: *после «Белого лета» я думал, что не ваше дело — писать пьесы, теперь вижу, что это не так, напишите эту пьесу, я вам советую.*

Я написала. Убрала длинноты и пустоты, уточнила ситуации, насытила сшибки внутренней энергией, перебрала реплики, как перебирают бусы, нанизывая на нитку лучшее. Напрасно. Пьесу никто не поставил.

В Театре Маяковского, где одно время главным человеком была Татьяна Доронина, дело дошло до читки на трупке пьесы «Крестики-нолики». Я читала, труппа млела, Таня прислала прелестное письмо, завлит Дубровский произнес в адрес директора фразу, прозвучавшую музыкой: *вступайте в отношения*. Ничем не кончилось.

Театр неверен.

Мир неверен.

А мы верны?

Все промысел и случай. Случай играет с нами в разные стороны, наше дело — работать, я уж писала.

У Чаплина:

С момента начала работы мой мозг делается живее и чувствительнее. Работа рождает работу; идеи рождают идеи... Когда я не работаю, я становлюсь внутренне негибким.

Внутренняя негибкость на месте только что бывшей и оставившей гибкости — оставленной и оставившей работы — как камень на шее, с каким уходишь под воду.

108.

Медальный профиль. Подбородок, нос и лоб составляют биссектрису по отношению к катету-затылку, словно скульптор-время поработало над профилем, стесав особым образом, или ветер-время столь долго и упорно дуло, что удалось изготовить нетривиальный шаблон. Валентин Петрович Катаев, ни разу не улыбнувшись, слушает у себя в кабинете в Переделкине комедию «Гусятин, до востребования». Вместе с ним слушают жена Эстер и сын Павлик. Как очутилась у них на даче, не помню. Может, привел Павлик, учившийся на нашем факультете. Зачем очутилась, не знаю. Авторы, особенно молодые, особенно драматические, — большие солипсисты. Но почему прозаик согласился выслушать? По лицу мало что видно. Общая мина слегка пренебрежительная, скужающая. В памяти тут же возник образ бессмертной Мурашкиной из рассказа Чехова «Драма» в бессмертном исполнении Фаины Раневской. Мурашкина тоже читает пьесу незнакомцу Павлу Васильевичу. *Валентин. Нет, позвольте мне уехать... — Анна (испуганно). Зачем? — Валентин (в сторону). Она поблуднела...* В результате Павел Васильевич убивает Мурашкину мраморным пресс-

папье. *Присяжные оправдали его.* Бессмертная фраза, какой завершается обожаемый мной рассказ.

Павлик старательно улыбается и даже громко смеется в некоторых местах, думаю, из гуманных соображений. Ему явно хочется заразить весельем папу. Папа не заражается. Финал. Молчание. Убьет или не убьет? Валентин Петрович, потянувшись всем телом, растягивает узкий рот в улыбку: *э-э, надо бы пьесу написать.*

Все.

Сын Павлик восклицает: *Оля, но если ему захотелось написать пьесу, это лучшая похвала!*

Больше никаких событий не происходит — только чаепитие с пирожными, приготовленными женой Эстер. Откусив эклер Эстер, главный слушатель со склеенным кремом ртом неожиданно роняет: *я придумал вам другое название — «Явление Петрова-Петькина».*

В пьесе настоящая фамилия героя — Петров, псевдоним — Петькин.

Он думал о пьесе!

В детстве шел сухой мелкий снег, серебряно блестя на холодном солнце, пигалица сладко болела, можно было лежать в постели и читать «Белеет парус одинокий», пробуя слова на вкус, цвет и запах одесского Привоза, повторяя за маленьким Павликом *коло елочки*, погружаясь в томительные переживания Пети и роскошные телодвижения Гаврика. Во взрослом возрасте экс-пигалица прочтет непревзойденные по языку «Сухой колодец», «Траву забвенья», «Алмазный мой венец», не потускневшие и рядом с Набоковым, а «Парус» так в любимцах и останется.

Название пьесы автор менять не станет.

Уже написав эту книгу, автор повстречает Павлика. Он спросит: *а помнишь, как мы с отцом были на твоём спектакле «Страсти по Варваре» в студии Табакова?*

Вспомнила и обрадовалась.

109.

Вениамин Александрович Каверин занимает один угол дачи в писательском поселке в Коктебеле, мы с Дуняшей — другой, поблизости. Обаятельная Дуняша — повод, прием и условие знакомства. Писатели и неписатели учат девочку плавать, берут в горы, приглашают на прогулки вдоль моря. Дуняша — робкая пловчиха и неустанный ходок. Трижды неустанный, если мать не сопровождает дочь и есть шанс насладиться полной волей. При сдаче дочки на руки знакомство укрепляется. Дуняша еще не читала главной вещи нового знакомого, читала мама, возможность предстоящей дружбы овеяна романтикой «Двух капитанов», и мама теряет при одной мысли о том, что древний ящер — известный автор известного романа.

Ящер запросто приглашает к себе на террасу пить чай, и Дуняша, отставив мизинец — кто научил ее этому? — дует на чай, налитый в блюдце, — а этому кто? Мать про себя сердится на дочь, всевидящий ящер, положив свою конечность на материну, коротким понимающим взглядом укрощает материн норов.

Дружба продолжается в Москве. Каверин неважно себя чувствует, но каждый раз зовет навестить. Домоуправительница заваривает чай, ставит на стол варенье, печенье и сушки, которые нельзя разжевать, предварительно не размочив, и мы гоняем беспрестанные чаи, разговаривая не о нем, а обо мне — непростительный эгоизм задержавшейся молодости. Каверин — редкий. Ни разу не покривил душой, сказав, что ему нравится то, что не нравилось. А не нравилось почти все, что я ему читала. И это несколько не мешало дружбе. Врожденная его интеллигентность была тому причиной.

Когда я всерьез сяду за прозу, не Каверин будет манком, что поманит в эту сторону. Но я же не деловой человек, чтобы назначать себе встречи с целью, по расчету, по делу. Я жила, как жилось, по случаю, случай был и остается ткачом, ткущим это полотно. Оно ни хорошо, ни плохо, оно есть.

Благодарна судьбе, что был случай — с Кавериним.

110.

8 1/2.

Столько мы прожили с Володей. Он вернулся из последнего рейса, и началась изматывающая, долгая гибель любви.

Сначала что-то стряслось с головушкой моей няни, Стеши, Степаниды Федоровны, с которой я списала «Нашу домработницу Феодосью Федоровну». Она стала заговариваться и сделалась как ребенок. Я пришла к ней в ее комнатушку в коммуналке в Девятинском, которую выбил для нее мой папа, она заплакала.

— Что ты плачешь?

— Тебя жалко, что ты осталась одна.

— Без кого?

— Без Саши.

Через полминуты:

— Без Сережи.

Я сказала:

— У меня Володя.

Она сказала:

— Без Володи.

Сердце зашлось.

Это было 14 декабря 1978 года.

9 октября 1979 года я его потеряла.

111.

В промежуток между одним и другим Стешу пришлось устраивать в интернат для престарелых.

Дневник:

У Стеши в интернате. Лежала грязная жестяная миска с лапшой в ее постели под одеялом. Когда шла к ней, старики и старухи смотрели из всех дверей. Одна старуха страшно кричала. Две здоровых бабы спокойно мыли пол. Стешина соседка, курящая, все куталась в свой дырявый халат, кашляла и хрипела. Отвезла Стешу вместе со здоровыми бабами в ванную. Одна из баб надела резиновые перчатки, пустила душ и, не дотрагиваясь до Стеши, стала обливаться водой. Я вытирала, одевала, Стеша дрожала от холода и от нервов. Отвезли. Обняли ее, положили в кровать, укрыли, она как будто согрелась. Она сказала: когда Маруся придет, пойдем к ней ночевать. Я кивнула. Одна из баб стала расспрашивать про очки, поинтересовалась, не в оптике ли работаю и не могу ли достать ей хоть за тридцать пять рублей.

Дневник:

Ездила к Стеше в интернат. Ее соседка, бывшая учительница, ворует у нее все вещи: кружки, блюдца, чашки, чулки и даже одеяло. Пошла к старшему врачу Тамаре Васильевне, в итоге Стешу перевели в другую палату. Кормила ее, убирала, мыла, подтирала, таскала судно туда-сюда. Она страшно тяжелая, я очень устала физически.

Когда Стеша скончалась, все хлопоты по похоронам взял на себя Володя.

Осталась бумажка: Фролова С.Ф. 73 года. Уч. №1. 1340.

Пишу здесь, а то бумажка может потеряться.

Останется телеграмма: 20 ФЕВРАЛЯ ПРОХОДИЛИ ЦЕНТР ТРЕУГОЛЬНИКА ОСТРОВОВ ТОКЕЛАУ САМОА КУКА ВСЕ НОРМАЛЬНО. Это о том, где, согласно Володиной воле, его товарищи развеяли прах.

Он звал меня куриная косточка.

Герцен пишет:

Цепкая живучесть человека всего более видна в невероятной силе рассеяния и себяоглушения. Сегодня пусто, вчера страшно, завтра безразлично; человек рассеивается, перебирая давно прошедшее, играя на собственном кладбище.

(Конец первой части)

Андрей Грицман

Счет за свет

* * *

Наступает свобода речей, междометий души.
И не надо спешить на разбор мертвых слов спозаранку.
Теплый знак под подкладкой надежно, заветно зашит.
И сценарий заучен насквозь, наизусть, наизнанку.

Для порядка надену пиджак и усы, и прикинусь своим,
Но гляжу на себя из настолько вечерних просторов,
Что сама по себе, невзирая на лица, на список имен,
оставляет судьба на стекле только пыль разговоров.

Да о чем говорить? Все равно, непослушный язык
заведет в никуда, и слова повисают в полете.
Но живая строка превращается в сдержанный крик,
Болевая искра просверкнет на крутом повороте.

Москва

Это я ни к кому.
Закрываю глаза и плыву
в Карфаген моих зим,
где посыпаны солью дворы,
где татары живут
с незапамятно-мутной поры
и где в пять пополудни
давно уж не видно ни зги.

Желтый булочной свет
на сугроба холодной муке,
и в кромешности труб
блеск летит по незримой реке.
Там вглухую играли
у сытных парных кабаков.
А теперь ты стоишь
у трамвайных бессмертных кругов.

Ты стоишь у прудов,
на окраинах дуг голубых,
на старинном снегу.
Говоришь ты, но голос твой тих.

Я тебя не встречал
ни с друзьями, ни в школьных дворах.
Лишь порой на семейных
обрамленных фото,
что стоят на комодах
в теперь опустевших домах.
Там, где шарят впотьмах
звезды, фары машин
в тишине и при ясной погоде.

Я тебя узнаю. Закрываю глаза и плыву,
абонент всех сетей,
по бездомной теперь Божедомке.
Ты меня не ищи,
ни по спискам, ни в ликах витрин.

Я живу далеко,
у какой-то невидимой кромки.

Грицман Андрей — поэт, эссеист, главный редактор международного журнала поэзии «ИНТЕРПОЭЗИЯ». Родился в 1947 г. в Москве. Окончил 1-й Медицинский ин-т. Автор нескольких книг стихов и прозы, в т.ч. «Вариации на тему» (М., 2009) и «Голоса ветра» (М., 2010). Пишет по-русски и по-английски. С 1981 г. живет в США, в Нью-Йорке, работает врачом. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

В электричке

Станция Монино. Последняя остановка.
 Дождь за окном идет от Перловки.
 Гречка в авоське, фи́га в кармане.
 Тихо душа засыпает в вагоне.
 Лица плывут за окном, как в прибое,
 струи воды по гальке в Джанкое...
 В тамбуре дух чьего-то «Прибоя».
 Время засыплет все дорогое,
 и без тебя в аккурат обойдется.
 Так что дивись, покуда глядится.
 Лица родные, плывущие лица.
 Но, не грусти, авось обойдется.
 Болшево скоро, моя остановка.

* * *

Неподвижен остаточный воздух
 в тайниках анонимного леса.
 Путь до станции тихой недалог.
 Отправление неизвестно.

Я отмерил остаток дороги
 И на ощупь нашел документы.

Осветив направление побега,
 лунный диск утонул, как монета

позабытого государства.
 И на фото, глядящие мимо,
 тают лица с видением счастья,
 утонувшие в сепии дыма.

* * *

Не нужно возвращаться наугад.
 Да и вообще, зачем о возвращенье.
 Как нумизмату — стершийся пятак,
 засахаренное дачное варенье.

Наука расставанья: дверь купе,
 закрытый терминал аэропорта,

глушителя расстрел, дым и т.п.,
 оставленная груша натюрморта.

Закрыв глаза, найдешь себя среди
 зеркальных душ семейного портрета.
 И понимаешь — там уже и ты,
 мелькнувший в блике утреннего света.

* * *

Становится легче только ночами,
 и душное небо плывет к океану.
 Неточность физиологии речи
 как темное поле лежит между нами.

И сколько минут, SMS, мегабайтов
 осталось для взгляда, для вдоха, для жеста.
 В бездонной сети — мерцание сайта
 бездумной души, не имеющей места.

* * *

Н.Г.

Когда-нибудь останутся вовне
 лишь отраженья в зеркалах озерных.
 Летит на наши души вышний снег.
 Белеет роща тихо и покорно.

А мы вдвоем стоим наедине
 в чужой глуши у станции пустынной.
 Глух пригород. Лишь в дальней стороне
 на нашем детстве тихо тает иней.

* * *

Пройтись. Купить котам паштет
и облачко тоски развезть,
в уже очнувшейся листве
Москву весеннюю заметить.

За супом полверсты пройти,
чтоб подсознание заснуло
и осветило два пути
пешком в Безбожный переулок.

И до угла дойдя, забыть,
зачем я вышел в это утро.
Порой спасает просто быт
и замолкает Заратустра.

Помедлить в парке у реки
до возвращения в пенаты,
туда, где ждут меня коты.
Они ни в чем не виноваты.

Купить повыше, на углу,
лукошко ягод, дольки дыни.
На час не вороша золу
и не массируя гордины.

Но там, с собой наедине,
в просветах поднебесных окон,
душа моя горит в огне
и стих роняет ненароком.

* * *

Я дышу вместе с лесом по мере движения крон.
Подступает дыхание с пяти окоемых сторон.
Замолкает знакомый мне дятел.
Снег лежит до утра, до апреля, до мая, пока
не наступит пора
всем зайти на чаек
в мой просвеченный дом,
за вечерний порог.
И послушать со мной
хруст заросшего леса,
тихий скрип половиц.
Когда там никого —
тот язык, на котором молчит
душа места.

Затихает в долине рокочущий джип.
Патрулирует где-то невидимый МИГ.
Среди снега тут жил одинокий старик,
где на стыке дорог стоял дом-магазин,
а теперь — только снег.
Навсегда заколочено в доме окно.
Счет за свет и за газ просрочен давно,
и в дверях не видать человека.

Здесь плывут облака ледяных островов,
исчезают снежинки не тающих слов,
и уходит на север дорога.
Постепенно останутся позади
люди, лодки, грибы и березы.
Будет дом мой стоять, как корабль на мели.
Чистый лист на столе, листопад на дворе,
вдох и выдох стиха на морозе.

Там мне нечего больше ни ждать, ни жалеть,
никого, ничего. Только ветер
бормотать будет необъяснимо.
Так останется остров в лесах — материк.
Там я сплю чудным сном у слияния рек,
и мне снится далекий закатный восток
и сентябрь с легким привкусом дыма.

Вячеслав Пьецух

Базаров как альбатрос

У Шарля Бодлера есть стихотворение, повествующее (именно что повествующее!) о том, как временами, забавы ради, моряки ловят альбатросов, предвестников непогоды, чтобы всласть поиздеваться над гордой птицей, которая летать может, а ходить — нет. Так вот и русские писатели в другой раз, играючи, то есть разрабатывая в свое удовольствие ту или иную художественную идею, строя сюжет, а главное, рисуя характеры персонажей, вдруг возьмут и заарканят какого-нибудь *альбатроса*, предсказателя бурь, который напроорочит грандиозную социально-экономическую беду.

Писатели всегда и везде отличались этим неприятным свойством, хотя мало кто из них увлекался столоверчением, каббалой и гаданием на бобах. Энциклопедисты накаркали якобинский террор, Жорж Санд — нашествие домохозяек, сбрендивших на почве изящной словесности, Кнут Гамсун — оккупацию немцами Норвежского королевства, правдолюбец Солженицын — республику вора и дурака.

Вот и прекраснотушный наш писатель Иван Сергеевич Тургенев туда же: в знаменитом своем романе «Отцы и дети» он, казалось бы, всего-навсего вывел сердитого прогрессиста Евгения Базарова в качестве новейшего продукта российской действительности, а чувство такое, как перевернешь последнюю страницу романа, точно в дверном проеме внезапно встал фертом жуткий, оскаленный призрак в длинном черном балахоне, постоял-постоял и погрозил тебе увесистым кулаком. Многие вдруг почудится за этим нехитрым жестом: польхающие дворянские гнезда, карикатурные рожи живоделов, повылезавших черт его знает из каких дыр и засевших в древней царской цитадели на Боровицком холме, пайка дрянного хлеба с опилками, бараки, по окна занесенные снегом, латыши-крепыши и китайцы-хунхузы из заградительных отрядов, которые расстреливают всех кого ни попадя за незнанием языка...

Интересно, что сочинять Иван Сергеевич не умел и, по его собственному признанию, всегда живописал с натуры, приди ему на мысль изобразить хоть комнатную собачонку, хоть колоритного босняка. В том-то и дело, что Евгений Базаров — это отнюдь не плод воображения, вроде былинного Платона Каратаева из романа «Война и мир», а список с какого-то уездного врача, отчаянного, но мрачного либерала, то есть тип человека, действительно явившегося в 60-х годах XIX столетия и существовавшего бок о бок с нашими прапрадедами и прапрабабками, но как бы наперекор. От него-то и пошла II русская Смута, которой не видно конца и края, даром что из этого баламута-шестидесятника взаправду лопух вырос, даже и не один.

А мы все думаем-гадаем: откуда в нашем, некогда добродушном, не помнящем зла народе взялись ожесточенные бомбисты, малограмотные мечтатели с топором за пазухой, бесшабашные строители града Китежа, которые ни в грош не ставили ни жизнь человеческую, ни обыкновенные моральные нормы, ни предания старины... Да оттуда и взялись, из 60-х годов XIX столетия, из эпохи великих реформ, давших нашим бородачам личную свободу и кое-какие гражданские права, когда стали задавать тон недоучившиеся студенты, озлобленные правдоискатели из народа, первые феминистки в синих очках, вообще малохольная молодежь.

Бог весть, — может быть, и не стоило отменять крепостное право как состояние, наиболее органичное русскому простаку, ведь спохватился же Сталин (он же

Иосиф I) семьдесят лет спустя после манифеста от 19 февраля и ввергнул крестьянство в ту же самую кабалу... Зато народ уже зря не шатался туда-сюда за отсутствием паспортов, промышленность встала на ноги благодаря той новации, что народу ничего не платили, армия окрепла, тертые мужики пикнуть не смели, не то что недоучившиеся студенты, причем никакого государя так не обожали по городам и весям, как этого самого Иосифа I, и в Святую Троицу так не верили, как в мировую революцию, и трудовая дисциплина в силу закона от 7.8.32 поднялась на небывалую высоту.

Впрочем, народ не делает революций, по крайней мере, у нас в России, и в каком бы состоянии он ни томился, в крепостном ли, в сравнительно вольном, помещельном или в состоянии глубокой депрессии, миллионы простых людей каким-то чутьем доходят, что бунт — дело барское, что лучше все равно не будет, бунтуй не бунтуй, хотя и хуже тоже не будет, а будет по-прежнему отвратительно, только на новый лад. Так чего ради, спрашивается, мужикам кровь проливать, бабам слезы, если на смену одним работодателям просто-напросто придут другие работодатели и, словом, христианину точно некуда податься, кроме как на погост. Однако: «смерть смертью, а крышу крой», эту максиму русский человек исповедует искони и точно знает, что единственное настоящее дело — это его природное дело: землю пахать, дома строить, детей кормить, налаживать пути сообщения, а все прочее — более или менее чепуха.

Но и в этой праведной позиции несть спасения, поскольку огромное большинство народа, которое составляет положительный элемент, занятый не отрицанием и разрушением, а каждодневным созиданием, хотя бы из простого меркантильного интереса, слишком уж инертно в политическом отношении, затем что элемент-то весь в работе и ему дела нет до разногласий между либеральными демократами и, скажем, почвенниками с уклоном в каннибализм. Поэтому политикой, то есть отрицанием и разрушением, у нас занимается малохолдная молодежь. Заметим, что в эту среду легко могут затесаться и люди пожившие, знающие почем фунт лиха, но почему-то застрявшие в репродуктивном возрасте и не далеко ушедшие от прогульщиков и любителей побузить.

Так что же это за культура такая — малохолдная молодежь, которая ввергла нас во II русскую Смуту, в том смысле что грибок на ногах тоже культура, и тюремная «феня» — культура, и привычная лебеда. Ответ на этот вопрос как раз содержится в многочисленных декларациях Евгения Базарова, который у Тургенева, скорее всего невольно, вышел фигурой крайне несимпатичной (недаром на автора обиделось все прогрессивное юношество), — ну, просто невежа и баламут, хотя в историческом плане так-таки альбатрос.

Вот почти полный синодик характерных его речений, видимо, некогда подслушанных Иваном Сергеевичем в молодежной среде, поскольку, опять же, сочинять он отроду не умел. Итак...

Базаров: Порядочный химик в двадцать раз полезней всякого поэта

Разумеется, нисколько не зазорно быть сторонником и пропагандистом точного знания, но до такой степени увлекаться способен только недалекий, малограмотный, взбалмошный человек. Впрочем, это детское заблуждение относительно роли химика и значения поэта отчасти извинительно для уроженца XIX столетия, когда естественные науки только-только набирали силу, но уже приоткрыли сияющую, фантастическую перспективу, сулящую многие блага для несчастного человечества, измученного бедностью, непосильными трудами и беспросветностью бытия. Уже ездили по «чугунке», знали громоотвод, на подходе был «русский свет» Яблочкова, сыворотка от водобоязни, беспроводный телеграф, воздухоплавание как забавный аттракцион, и оттого наука была таким же утешительным фетишем для уроженца XIX столетия, как и вера в загробный мир.

Понятное дело, в то время трудно, даже невозможно было предугадать, что

жизнь не станет прекрасней с изобретением мобильного телефона, а человек совершенней благодаря феномену сверхпроводимости, что невинные опыты гг. Кюри с радием обернутся трагедией Хиросимы, что усилиями «порядочных химиков» планету заполнят полудиоты, которым природой было суждено помереть в годовалом возрасте, что обыкновенная тачка, которую походя изобрел мудрец Паскаль, замучает потом миллионы з\к в России, что из-за неудержимого прогресса точного знания нашу Землю вот-вот поглотит мировой океан, а в мировом океане прекратится всякая полезная жизнь и несъедобный черноморский катран совсем скоро будет деликатес. Стало быть, наука так неосмотрительна, недальновидна, что постоянно сеет зло, имея в виду благо, хотя, с другой стороны, она представляет собой занятие вроде бы безвредное, этакое утешение для страдающих патологическим любопытством, но разве благо в том, чтобы снабдить людоеда мобильным телефоном и обезопасить его от разных сторонних бед? Благо в том, чтобы ненавязчиво сориентировать людоеда на похлебку из лебеды. И, кажется, многие наши ученые как-то чувствовали подвох, недаром великий химик Менделеев больше всего любил делать чемоданы, химик Бородин оперы сочинял, генерал Ермолов, тоже в своем роде «химик», обожал переплетное мастерство.

В свою очередь, насчет поэзии давным-давно сложилось такое мнение: что это уникальное и незаменимое снадобье для души. Химик в худшем случае выдумает оружие массового поражения, в лучшем изобретет пенициллин, чтобы продлить существование целому поколению любителей пива, которым, по сути дела, тошно существовать. А Пушкин (его «химик» Базаров не читал, да и читать-то считал мальчишеством) навсегда упразднил в России одиночество — это раз; научил с младых ногтей сочувствовать добру и сторониться зла — это два; поселил в нас умильное чувство по отношению к неброскому нашему пейзажу, русской женщине, душевному складу соотечественника — это три; возбудил в русаке то благородное беспокойство, которое всю жизнь питает порядочного человека и, между прочим, составляет сущность литературы — это четыре; воспитал в нас неистребимое ощущение прекрасного — это пять. То есть ученый, может быть, и способствует материальному процветанию общества, хотя наши предки утверждали, что «во многие знания многая печали», да ведь поэт-то непосредственно работает на ту божественную метафизику, которая отличает нас от прочих дыханий мира и определяет само понятие — «человек». Не будь химика, — ну, лечились бы мы настоем ромашки и стирали белье печной золой, как наши прабабки, а улетучься вся поэзия, мы и в XXIV веке останемся примитивны и бесчувственны, как дрессированный попугай.

Рискованно утверждать наверняка, но сдается, что не было бы в России ни народовольческого, ни эсеровского, ни белого, ни красного террора, кабы идейные наследники Базарова знали хоть что-нибудь из Пушкина наизусть. На беду, все наши радикалы, за редкими исключениями, невысоко ставили поэзию и вообще предпочтения у них были самые демократические: Желябов обожал химию и Перовскую, Гершуни — химию и пострелять, Ульянов-Ленин питал пристрастие к цирку, но, правда, Иосиф I любил балет.

Базаров: Мой дед землю пахал

Что это за индульгенция такая — «мой дед землю пахал», а чей дед ее, спрашивается, не пахал? Ведь все мы, в конце концов, крестьянские дети, во-первых, потому, что Россия испокон веков была земледельческая страна, а во-вторых, потомкам служилого дворянства и аристократии неоткуда нынче взяться, поскольку наши дикие социал-демократы эти два направления еще сто лет тому назад взяли и пресекли.

Но если твои предки по обеим линиям отнюдь не крестьянствовали, а сплошь были бухгалтеры или отличались по землеустройству, то тут и стесняться нечего, и кичиться нечем, потому что в России предки сами по себе, а потомки сами по себе, дед землю пахал, а внук в общественном транспорте кошелек ворует, отец был полярником, а сын вышел в истопники. С другой стороны, сословие землепашцев

породило множество замечательных людей, украсивших российский Пантеон, а среди вельмож Долгоруких водились злостные интриганы и подлецы.

Следовательно, ничего хорошего не сказать о молодом человеке, который хвастает перед едва знакомыми людьми своим «низким» или, напротив, аристократическим происхождением, кроме того, что это, по-видимому, мальчишка и пустобрех. Таковые частенько попадают в дурацкое положение из-за своей страсти фразировать общество суждениями, манерами, даже покроем одежды, что, впрочем, и простительно, так как молодость — тяжкая ноша и принципиальнейшее ее качество — глупость, с которой до поры до времени бывает затруднительно совладать. На то и фундаментальный, самый мучительный из вопросов молодости: дурак я набитый, или все-таки не дурак?

*Базаров: А что касается до времени —
отчего я от него зависеть буду?
Пускай же лучше оно зависит от меня*

Жизнь недостойна человека и вообще устроена таким образом, что всякий работоспособный и добропорядочный индивид во все века, от Иоанна Крестителя, вынужден действовать вопреки веяниям той эпохи, в которую ему довелось родиться, потому что он постоянно не в ладу со своим временем и страной. Даже в лучшую пору существования рода человеческого, в XIX столетии, отмеченном высшими достижениями разума и духа, нельзя было мириться с германским буршеством, наполеоновскими амбициями, англо-саксонским рукосуйством и многочисленными российскими безобразиями, как то косным самодержавием, крепостничеством, идиотской цензурой, административными высылками, преследованием староверов, взяточничеством, доисторической агротехникой, казнокрадством, телесными наказаниями и обыденной нищетой. Оттого-то работоспособный и добропорядочный человек — это всегда урод в глазах благонамеренных соотечественников, в лучшем случае городской дурачок, которого по-хорошему следовало бы, но как-то совестно наказывать.

Действительность, какая они ни будь, разумеется, нисколько не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону в результате противостояния времени и человека, сколько бы последний ни пыжился, изнемогая от чрезмерно высокого мнения о себе. Непротивленцы и опрощенцы, принадлежавшие к секте толстовцев, уж как дружно сплотились против отечественных порядков древлеперсидского образца и традиций российского мордобоя, а дело все равно кончилось ужасами 1905 года, на которые, заметим, сам заводила и великий мудрец ни одной строкой не откликнулся, так как в пику времени сочинял тогда «Посмертные записки старца Федора Кузьмича». Гениальный чудака Николай Федоров, смотритель Румянцевского музея, обещал воскресить всех мертвых, когда-либо живших на земле, а большевики закатали его асфальтом во дворе «Союзмультфильма», что на бывшей Каляевской улице, где теперь ребятишки гоняют мяч, Константин Циолковский, известный всей Калуге городской сумасшедший, который, и вправду, ангелов видел, двадцать лет парил в эфирах, формируя теорию космических сообщений, а жизнь между тем гнула свое — индустриализация, коллективизация и 58-я статья как хирургический инструмент. Сам Господь наш Иисус Христос, явил народам величайшее в истории человечества этическое учение, отрицавшее время всякое и вообще, и что же? да, собственно, ничего. Впрочем, Толстой как раз обмолвился в частном письме именно от 1905 года: «Быть недовольным тем, что творится, все равно что быть недовольным осенью и зимой».

Из этой максимы, в частности, вытекает, что время идет, или не идет, по каким-то своим, неведомым нам законам и неподвластно никакой воле, ни злой, ни доброй, а посему это мальчишество чистой воды и даже обыкновенное нахальство — претендовать на зависимость времени от того, чего желает твоя нога.

Базаровы XX столетия были люди простые, недалекие, нахрапистые и оттого вздумали перевести проблему в практическую плоскость, то есть на деле подчинить время притязаниям РСДРП и властным соображениям Владимира Ильича. Но по-

скольку проблема в практическую плоскость не переводится, большевики закономерно перерезали друг друга в ходе эксперимента, а сам эксперимент, по историческому счету, занял чуть меньше часа, как обеденный перерыв.

Видимо, самое разумное, зрелое отношение со временем таково: оно само по себе, а мы сами по себе, насколько это возможно, и коли время требует от тебя, чтобы в твоём паспорте стоял какой-нибудь дурацкий штамп, то надо бросить собаке кость.

Базаров: Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения

Вот это верно; то есть ничего хорошего в этом нашем национальном свойстве нет как нет, а то верно, что не существует на белом свете другого такого народа, который регулярно, охотно и, главное, с некоторым даже упоением упражнялся бы в несусветной критике на отечественные порядки, свечаи и обычаи соплеменников, вообще на забубенное наше житье-бытье.

Такое самоедство тем более удивительно, что прочие народы Европы все в той или иной степени нарциссы, прямо-таки изнемогающие от самоуважения, и любой француз вам скажет, что француз — первый человек в мире, с которым может помериться разве что серафим. Между тем Жак-простак, живущий, на наш салтык, в небольшой и сравнительно небогатой стране, которую постоянно гнобят германцы, именно что простак, даже и слишком, а кроме того, он прижимист, мелочно расчетлив, несообщителен и обедает два часа.

Спору нет: русский человек завистник, пьяница, неряха, ненадежный работник, злокачественный фантазер; он и обманет — не дорого возьмет, и украдет, и в церковь ходит не каждое воскресенье, и на дармовщинку может съесть килограмм гвоздей. Но однако же поди сыщи другого такого оригинала, который скажет встречному старичку — «отец» и в другой раз прослезится под родную заунывную песню, который способен обстоятельно поговорить о происхождении жизни на Земле и безропотно подарит незнакомому пропойце последний рубль. Замечательно, что, окажись он «по щучьему веленью» в какой-нибудь чужой стране, где дорожная полиция взятки не берет, у него вскоре откроется легочная недостаточность, как будто кислорода в воздухе не хватает или как будто организм потребовал срочно выпить и закусить.

Стало быть, и у русского человека есть некоторые основания гордиться своей национальной принадлежностью, так нет же: он, точно его заговорили, самого ничтожного мнения о своей отчизне и о себе.

Также замечательно, что преемники Евгения Базарова нисколько не симпатизировали этой избыточной рефлексии и презирали русский народ безо всяких оговорок — деятельно, печатно и на словах. Особенно в этом направлении отличались большевики: Ульянов-Ленин, например, писал своим поделникам по РКП(б), дескать, нельзя ли поменять в советском правительстве русских на евреев, а Сталин, в свою очередь, всячески дурачил наших отцов, как детей малых, и уничтожал русаков миллионами, упоая на то, что бабы на Руси здоровы рожать. Ленин хоть кошек любил, а этот обаятельный изверг никого не любил, даром что в любви, сей непростительной слабости для нигилиста, был-таки замечен его мрачный прашур, естествоиспытатель и альбатрос.

Базаров: Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник

Природа, конечно, и не храм, и не мастерская, а скорее наша кормилица-попилица и неиссякаемый кладезь разного рода тайн. Прежде человечество точно поклонялось природе, но со временем поменяло ориентацию по наущению злостных естествоиспытателей и до такой степени ее изуродовало, ограбило, извратило, что

самая жизнь на планете поставлена под вопрос. Дело доходит до того, что скоро дышать будет нечем, питьевая вода вот-вот иссякнет, того и гляди занесет песками некогда цветущие города. И это еще слава богу, что нынешние Базаровы вовремя спохватились и раздумали поворачивать реки вспять, а то мы влипли бы в такую скверную историю, какую даже жутко вообразить. Зато этот неумолимый работник, который три тысячи лет беспардонно копался в утробе матери-природы, добрался до микромира и уже атому покоя не дает, нимало не задумываясь о том, что это в высшей мере опасное, даже смертельно опасное озорство.

Природа много разумней человека, что, впрочем, неудивительно, у нее моря сами собой очищаются от всякой гадости, которую понанес естествоиспытатель, озоновые дыры самосильно затягиваются, как раны, леса берут на себя дополнительную, почти непосильную нагрузку и вообще в природе все так слаженно, так премудро подогнано одно под другое, что становится очевидно, как призадумываешься: без Промысла дело точно не обошлось. В сущности, ничто так не намекает на бытие Божье, как этот грандиозный феномен ни понимай, причем настоятельно намекает, со всею невозможностью что-нибудь путное возразить, как строение мира, адекватное строению вещества.

Но тогда непонятно, при чем здесь род людской, от которого только и жди, что какой-либо пакости, или человечество — это точно такая плесень, вредный грибок на теле матери-природы, случайно разившийся в ходе эволюции, или тут налицо необходимый контрапункт разумному началу, обеспечивающий движение к какой-то таинственной цели, хотя бы это было движение как бы в потемках и наугад.

Словом, много невнятного, гадательного заключает в себе природа и только вот что ясно как божий день: человечество большая дура, а мир принадлежит идиотам — это надо принять в расчет. И на данную резкую инвективу нечего возразить, хотя бы потому, что немца Моцарта похоронили в общей могиле для бедных, а немец Шумахер за баснословные деньги катается по кругу на автомобилях и ему поклоняются как некому божеству.

Базаров: Исправьте общество и болезней не будет

Молодость, хоть биологическая, хоть в смысле расположения ума, это еще и пора простых решений, когда самые мудреные Гордиевы узлы устраняются по примеру Александра Македонского, в российском варианте — при помощи топора. Крыша течет — надо тазик подставить под место протечки, заело социальное неравенство — достаточно вырезать царскую семью и все будет хорошо, любимая ушла к другому — ничего иного не остается, как броситься с десятого этажа.

Насчет социального неравенства — особенный разговор. Поскольку ум и глупость, хитрость и добродушие, упертость и мягкотелость суть в природе вещей, вылечить общество от неравенства невозможно, как невозможно вылечить человека от привычки держаться на двух ногах. Конечно, не трудно напоить пациента до такой степени, что он рухнет на четвереньки, но это не решение проблемы даже с точки зрения естествоиспытателя, и сколько ни мучились социалисты, сочиняя разные средства для приведения к общему знаменателю умника с дураком, как ни старались большевики уравнивать академика с загульным дворником из Кривоколенного переулка, — все впустую, потому что академику на роду написано разъезжать в лимузинах и проживать в роскошном особняке. В сущности социальное равенство — это кабинетная выкладка известного немецкого иудея, всю жизнь существовавшего на подаяния, а еще прежде горячая выдумка французов, которые на равных основаниях единственно тягали под нож гильотины поэтов и генералов, побродяжек и королей.

Разве наоборот: нужно избавить человека от его извечных пороков, и тогда общество станет совершенным, но и эта операция на практике невозможна, поскольку властолюбие, корысть, эгоизм, жестокость неистребимы в хомо сапиенс, как инстинкт. Уже всеобщее избирательное право стало нормой везде, кроме Амазонии, уже женщин, ничтоже сумняшеся, назначают министрами и производят в адмиралы, и ничего, уже русским крестьянам давно раздали паспорта, и, в общем, человеческое

сообщество всячески пыжится на ниве социального равенства, а все есть принцы и нищие, бандиты и миллионеры, поэты и маляры. С другой стороны, уже истлели ботинки Карла Маркса, а социалисты с коммунистами (то и другое по-русски будет «общественник»), эти все переживают, что у человека два уха, а не четыре, и мечтают поделить поровну несправедливо нажитые капиталы, даром что на каждого жителя планеты кругом-бегом получится по рублю.

Впрочем, с этой публики взятки гладки, все-таки они дети, до глубоких седин дети, которые не понимают о чем думают и сами не ведают, что творят. Оттого в диетических революциях, движениях и смутах новейшего времени по преимуществу замешано студенчество, самая шалопутная часть общества, потому что оно, как говорится, много о себе понимает, едва перешагнув за пределы таблицы умножения, и потому что сидеть на лекциях скучно, и как раз очень весело, забористо бунтовать.

Существуют некоторые средства хоть как-то поправить дело, а то и впрямь жалко человечество, которое половину жизни бьется, как рыба об лед, а другую половину доживает в черной зависти и горько сетует на судьбу. Однако же и эти средства скорее из номенклатуры мечтательного, например: американцам следует навязать курс русской литературы, у немцев запретить пиво, французам устроить еще одну Великую революцию, чтобы они вспомнили, почему фунт изюму, а в России хорошо бы лишить водительских прав всех юношей и девушек, не достигших сорокалетнего возраста, милицию заменить на Псковскую десантную дивизию, упразднить телевидение как феномен, в каждую семью назначить по сироте.

***Базаров: Люди, что деревья в лесу;
ни один ботаник не станет заниматься
каждою отдельною березою***

В том-то и беда, что эти ботаники, будь они неладны, выступавшие под личиной ли социалистов-утопистов, анархистов или большевиков, меньше всего интересовались человеком со всем тем, что ему довлеет, и по преимуществу оперировали отвлеченно-широкими понятиями вроде «трудящихся масс», за которыми Иванова, которому жена изменяет, Петрова, пьющего горькую, Сидорова-картежника было, конечно, не разглядеть. Даже интересно: как часто в трудах Ульянова-Ленина встречается само это существительное — человек? Думается, что нечасто, может быть, наберется две-три описания на том, поскольку для ботаника Ленина личность была ничто.

Удивительное дело: люди не работали и не учились, а, главным образом, мечтали о светлом будущем для всего человечества, включая самоедов и туарегов, сколачивали политические партии, издавали газеты, бегали от полиции, томились по тюрьмам, были бездомными и бездетными, словом, вели полумученическую жизнь во имя светлого будущего туарегов, а человека знать не знали и знать не хотели, наивно полагая, что это уже будет поэзия, идеализм, в то время как люди, по-настоящему, — исключительно средство и материал. А что Каин что Авель, что горбатый что грамотей — это все равно, главное, чтобы народ злобствовал, слушался и был гол, как сокол, иначе воевать ему будет не за что, зорно и не с руки.

А воевать, по их расчетам, предстояло много, бесшабашно и безжалостно, не так халатно, как парижские коммунары, расстрелявшие по разным подозрениям всего-навсего четырнадцать человек.

***Базаров: ...ну а из меня лопух расти будет;
ну, а дальше?***

Если человек вполне явление природы, то дальше лопуха дело действительно не пойдет. А если не вполне? Если сущность и, главное, происхождение человека представляются настолько загадочными, от века непостижимыми, что как-то не верится в

безусловную конечность этой мыслящей субстанции, способной на злодеяния, невозможные в живой природе, и на подвиг самопожертвования, выходящий за рамки естества, и на форменные, самые настоящие чудеса. Во всяком случае, намечается такое правило: если ты ни разу не усомнился в бессмертии души, то ты недостаточно культурный человек, если же время от времени не ощущаешь себя как бесконечность, то недостаточно человек.

Молодежь, за редкими исключениями, все отпетые материалисты, поскольку им по преимуществу интересно то, что можно пощупать, понюхать и увидеть, они не дорожат жизнью и не боятся смерти, полагая, что это игры такие интересные, жизнь и смерть, они мало думают о высоком, и даже думают ли, нет ли — это еще вопрос. Тогда конечно: плевое дело — жил себе человек, потом помер, то есть прошел через превращение сознания в органическое вещество, потом его закопали в землю, и ничего-то ему больше не остается, как возродиться в качестве лопуха.

Оттого наша малохолдная молодежь представляет собой предельно благодатный материал для разного рода проходимцев, орудующих в верхах, потому что она безотказно лезет с голыми руками на пулеметы и вообще способна на самые невероятные деяния, если ее дополнительно напугать. В цивилизованных странах широко известно, что этот опасный элемент нужно держать в струне.

***Базаров: Мы действуем в силу того,
что мы признаем полезным... В теперешнее время
полезнее всего отрицание — мы отрицаем***

Положим, что по-настоящему полезно, а что вредно в положении человека, живущего в порядочном обществе, и по сию пору никто ничего не знает, и прежде никто ничего не знал. Но предположения выдвигались самые разные: Платон считал, что для процветания государства необходимо изгнать за пределы ойкумены всех поэтов как носителей естественного неравенства, неистовый Марат предлагал для востряски вырезать двести тысяч французов, первые социалисты находили спасение в безначалии, подневольном труде и упразднении собственности, буржуазия уповала на вольный рынок, наши большевики рассчитывали на мировую революцию и «энтузиазм широких масс трудящихся», а нынешние естествоиспытатели, испытывающие прежде всего долготерпение народное, исповедуют демократические свободы, от которых покуда одна беда.

И, кажется, никто, кроме тургеневского Базарова, все не утверждал, что для процветания России полезнее всего именно отрицание, которое всякий честный человек должен практиковать как деятельно, например, препарировав лягушек, так и словесно, например, в застольных беседах с отпетыми ретроградами, по старинке играющими на виолончели и щеголяющими в крахмальных воротничках.

И кто такие эти «мы» — компания недоучившихся медиков, которые не могут сделать элементарной операции, чтобы не порезаться? мальчики и девочки, для которых чужая жизнь копейка и своя пятак? агрессивные пустозвоны, которые чают воскрешения в качестве лопуха?

И что значит, в сущности, отрицать? Да ничего это не значит, а просто-напросто молодым людям, не знающим, куда себя деть, желательно интересничать, к месту и не к месту демонстрировать свою несусветную оригинальность, допустим, отрицая божественное происхождение Иисуса Христа, хотя эта позиция со времен Ария не оригинальна, или, скажем, отвергая семейный принцип, даром что человек еще до всемирного потопа был полигамен, как бабуин.

Главное дело в том, что в нашей национальной традиции нет преемственности поколений, что это у нас так повелось от Владимира Святого: пращурья верят в одно, праотцы в другое, отцы в третье, а дети вообще ни во что не верят, ни в Бога, ни в черта, ни в птичий рай. Между тем только на преемственности поколений и держится всякая развитая цивилизация (общинно-племенное сознание, кстати, тоже), именно

потому только и держится, что распоследнему парижскому босяку, пьяненькому и оборванному, доподлинно известно, что красть и драться — это нехорошо.

А в России, чего ни коснись, все «бабушка надвое сказала», и украсть в другой раз не грех, а молодечество, и мордобой — скорее любимый народный спорт, потому что князь Святослав Игоревич исповедовал Перуна, князь Владимир Святославович — Святую Троицу, хлебопашцы — конец света, староверы — двуперстное знамение, Петр I — технический прогресс, социал-демократы — распределение по труду. То есть у нас каждое последующее поколение русаков так или иначе противостояло предыдущему, так или иначе оригинальничало почему зря, то ли по нашей природной взбалмошности, то ли оттого, что в России недолюбливают отцов. По этой причине у нас в генеральских семьях росли бомбисты, вроде Софьи Перовской, которая распорядилась седьмым покушением на царя.

Еще беда в том, что из-за распри между поколениями в России так и не наладилась система воспитания молодежи, и, по крайней мере, в новейшие времена ее за недосугом никто и никак не воспитывает, ни примером, ни увещанием, ни на русских народных сказках, а разве что подзатыльником, отвешенным сгоряча. По этой причине молодежь не знает самых простых вещей: что дамы не курят на ходу, нельзя первому подавать руку старшим, на парковых скамейках не сидят верхом, где написано «выход», там выход, а где «вход» — вход.

Что же остается нашим детям, хотя бы и маловосприимчивым, которым взрослые не передали в наследство ни одной догмы, — только отрицать; они и отрицают все и вся, в частности, наше бывшее бескорыстие, любовь к знанию, культуру речи, обиходный идеализм.

Однако еще теплится надежда, что русский народ не сгинет с лица Земли на манер древних хеттов, как именно народ и как именно народ русский, поскольку и детям наших детей тоже предназначено отрицать.

Спрашивается: зачем понадобилось тревожить тень великого национального писателя, привлекать малоактуальный по нынешним временам персонаж из старомодного романа «Отцы и дети», трактовать так и сяк его легкомысленные речения, а также кистить на чем свет стоит несчастную молодежь? А вот зачем...

Чтобы к гадалке не ходить. Гадалка обманет, какие-нибудь гадости напроорочит, не с той ноги вставши, а «впередсмотрящий» Иван Тургенев не подведет; то есть ты взял в руки старомодный роман «Отцы и дети», провалялся с ним полдня на диване, и к вечеру уже ясно, что ожидается впереди. А все потому, что российская словесность — уникальное явление в контексте мировой культуры; ты хоть всего Стендаля прочитай, все равно не скажешь, как, в конце концов, отзовется на французской кухне пожар Москвы, а у нас из точки с запятой (между прочим, знака препинания, неведомого в прочих языках мира) можно вывести крушение всех начал.

В общем, литература, на то она и литература, чтобы вразумлять подростков и юношество, составляющих 99% населения России, в частности, через предвидение того, что ожидается впереди. Если вычитал у Достоевского про одичавшего студента Родиона Раскольникова, то никаких закладчиков в квартиру уже не впустишь, если вычитал у Тургенева про зловещего студента Евгения Базарова, то, стало быть, надо сухари сушить и перебираться с семейством в глушь, подальше от больших городов, где, главным образом, и свирепствует малохольная молодежь.

А ведь альбатрос Базаров все реет над Россией в своем черном балахоне с кистями, и еще не известно, что именно предвещает этот полет, авгуров совсем не осталось, — может быть, обойдется, а может быть, конец света на носу в том смысле, что русские тоже наперечет, и если нашей нации суждено спастись, то единственно благодаря чудесному легкомыслию или, вернее, неиссякаемой вероспособности в лучшее будущее, которую нам предоставили Небеса. Вспоминается припев старинной солдатской песни:

Очень, братцы, чижало,
Ну а в общем, ничего...

Александр Загрибельный

На Шелковом пути меж трех миров

Налево не ходи, направо не ходи, прямо ходи.

Почти по Конфуцию.

Люди и будни

В пустыне на буровой вышке люди месяцами живут и работают бок о бок, почти как на космической станции. Они приобретают свойства команды, семьи, должны ладить и понимать друг друга, даже если с детства думают на совершенно разных языках.

Они съезжаются со всех концов света. По миру раскиданы их родные, друзья и сами они немало потаскались по странам и континентам — Канада, США, Арабские Эмираты, Норвегия, Россия, Ливия, Нигерия, Венесуэла и теперь Казахстан.

Ежедневно летом и зимой без выходных и праздников они встречают рассвет и ложатся спать за полночь. Тут есть все — чай, кофе, сыр, колбаса, международная спутниковая связь и круглосуточный Интернет. Официально нет алкоголя.

В свободные часы, вдалеке от начальства они ведут не только профессиональные разговоры — обсуждают местные нравы, политику, историю и, разумеется, женщин.

Существует поговорка — чтобы понять вкус вина, не обязательно выпить целую бочку. Достаточно сделать глоток. Общение на вышке — коктейль современного мира. У него резкий запах нефти, но это придает ему особую терпкость нашего глобального времени.

Я — бывший журналист, давно работаю переводчиком в иностранной компании (назовем ее условно «Петролиум») и веду эти хроники, потому что тема уж больно жгучая, и на досуге хочется для себя расставить некоторые вехи, попытаться уловить изменения в мелочах, которые готовят большие перемены.

Мы живем в транзитный период — за каких-то пятнадцать лет от планово-советского повернулись к западному рыночному порядку, казалось бы, надолго — и вдруг обозначился крутой китайский реверс.

Живем будто вприпрыжку. Всерьез и не захочешь останавливать мгновение, угнаться бы за убегающим моментом, не успеешь оглядеться, привыкнуть и почти полжизни пролетело в переменах.

Махаббат¹

Американский супервайзер, грузный калифорниец Боб Бустер со лбом буйвола и властным взглядом комодского дракона, двигая резко прочерченными вниз уголками рта, жует бутерброд и запивает кока-колой. Он предпочел бы классический гамбургер, но тут довольствуется местной булочкой с набивкой из колбасы, перезрелого огурца и прочей подручной снеди. Его живот водопадом спадает поверх пояса. Огромный переваривающий аппарат он заработал годами сидя в кресле, жуя и наблюдая в окно за буровой площадкой.

Лет тридцать пять назад он так же, как здешние молодые ребята, бегал по лестницам, подавал трубы, держал штурвал, а теперь не может застегнуть ремень, и джинсы у него обвисают, оголяя пол задницы, и поэтому рубашку ему приходится носить только навывпуск.

Боб — знаток бурения. Его уважают, боятся, ему подчиняются беспрекословно. Он только что дал разгон инженеру по технике безопасности за бутылки из-под водки, валявшиеся на пустыре позади жилых вагончиков. На промысле труд тяжелый, люди пили и будут пить, но такое демонстративное разгильдяйство Боб не терпел. На прошлой вахте он выгнал одного рафнека², застав его вдрызг пьяным возле вибростата, и теперь бурно разразился крепкими выражениями, потребовав от меня адекватного перевода. Но, выплеснув гнев, быстро отошел, тем более что приближалась пора священного времени обеда.

Хотя до лагеря было рукой подать, он сел за руль «пикапа», и мы поехали.

В столовой — шумно и жарко, на кухне все кипит, парится, жарится, нарезаются салаты, выпекаются пирожки и рогалики. Повара наполняют тарелки. Наливается чай. Местный люд благодарит за бешпармак³. Западные спецы предпочитают свиную отбивную. На мойке растет гряда посуды.

Махаббат — статная, крепкая, с полными губами и призывным взглядом, уверенная в своих женских достоинствах, — подпевая громко звучащей из магнитофона песне, в которой беспрестанно повторяется ее имя, убирает со столов и споро моет посуду, занимаясь этим по двенадцать часов в сутки.

Она поставила бутылку пепси и поднесла Бобу пирожные, зная, что жена ему запрещает и требует держать диету.

— Corruption. Подкуп, — улыбаясь, говорит Боб, но отказать в удовольствии себе не может.

С оголенным по моде пупком девушка снует принцессой среди буровых мужиков, и ее охаживают такими голодными глазами, что от одного взгляда можно забеременеть.

— Махаббат, алавю, — говорит шофер Турсунбек, имея в виду *I love you*, и пытается ущипнуть.

— Фу, дурак такой! — отмахивается та.

Поварихи дружно смеются.

— Женщины — одна мафия, — смачно по-русски комментирует черноусый инженер-растворщик румын Марьян.

— А мужчины? — оглядываясь через плечо, кокетливо вопрошает Махаббатка.

— Нет, мы каждый по отдельности. А где твой бойфренд? — желает он продолжить разговор.

— Какой бойфренд?

— Жених твой.

— Уехал вчера, он мне не жених. У него есть своя невеста.

— Боб тебя ревнует, — продолжает подначивать Марьян, он бы и сам не прочь ущипнуть.

¹ Любовь (казахск.).

² От англ. *roughneck* — рабочий на буровой вышке.

³ Национальное казахское блюдо из баранины, конины и теста.

— Скажи ему, что я свободная девушка.

— У меня дочь старше, чем она, — отвечает Боб, когда я перевел.

Это сегодня значения не имеет, — отвечает Махаббат.

Бабам почесать языки на приятную тему никакими яствами не корми — у окошка раздачи сразу сгрудились поварики, и дородная администраторша Роза, как главная сводня, тут же повела торг:

— Готовь деньги, Боб. Давай калым!

— Сколько?

— Сколько не жалко, — с вызовом подхватывает Махаббат.

— Моя жена мне не даст денег на это. Она не захочет делиться, — отвечает Боб.

— Ладно, я и так без денег согласна, только заberi меня отсюда подальше, — вздыхает Махаббат, принимаясь за мытье уже выросшей горы посуды.

О средней линии умеренного американца

Промысел — огромное хозяйство под открытым небом, состоящее из сотен разбросанных по степи скважин, тысяч километров трубопроводов и дорог, а также из насосных станций, цехов, складов, жилых поселков с офисами и столовыми.

Буровики стоят немного особняком. Если геологи ищут, то мы превращаем их находки в материальный продукт. «Есть нефть?» — вопрос к нам. И мы этим гордимся, поскольку без нас не будет новых скважин и нельзя увеличить добычу.

Каждая буровая — промысел в миниатюре, отдельный корабль с капитаном и системой жизнеобеспечения. В любом месте, в любую погоду гудят дизеля станков, тянутся к нам караваны трейлеров и наливных, подвозя трубы, горючее, химреагенты, воду и еду.

На календаре вторая половина сентября — самое лучшее время осени. Ни жарко ни холодно, ясная, ровная погода. Сухие травинки шелестят под ногами. Птицы совершают последние облеты над равниной. Пустыня очень разная: плоская и холмистая, с песчаными барханами и глинистой порепаной почвой, с зарослями саксаула и слепящим блеском высохших соляных озер. Если хочешь, ходи, гуляй, кричи, пой, все равно тебя никто, кроме птиц и ящериц, не слышит.

Наш забой — две тысячи метров. Неделю продолжают плотные сланцы, но вот-вот начнется песчаник, в котором ожидается нефть. На экране монитора ряды цифр показывают глубину, скорость, давление и еще десяток важных параметров. Процесс бурения идет ровно. И вдруг проходка резко возросла.

— У нас прорыв, — воскликнул сменивший пару дней назад Нуртазу Френк — худощавый, остроносенький геолог из Швейцарии. — Наверное, каверна...

Взгляды устремились к монитору центрального компьютера.

— А это кино интересное, — пошутил я. — Сериал и реалити шоу одновременно.

— Особенно, когда смотришь его двадцать лет подряд, — добавил Боб.

Дошли до проектной глубины, есть хороший газ и следы нефти в шламе.

— Будем вызывать каротаж¹, — решил Френк, и Боб с ним согласился.

Из длинной оранжевой будки на «КрАЗе» в пробуренную скважину геофизики спускают на тросе приборы, которые определяют профиль скважины и наличие углеводородов.

В ожидании результата Боб читает книжку. Он привозит каждый раз с собой полчемодана современной американской тонкообложечной прозы. Сидит в поле по два-три месяца и так получается, что, пока все свои «бестселлеры» не прикончит, домой не возвращается.

Он редко говорит о прочитанном, не обсуждает сюжеты и героев, он их просто проглатывает — убивая время, отдыхая от щелканья «мышкой» по пасьянсу, при этом край его глаза неизменно цепляет площадку вышки и монитор компьютера.

¹ Геофизическое исследование скважины.

Боб читает, когда улучшает возможность — утром в кресле после отсылки отчета, после обеда на кровати, но особенно долго, сидя на унитазе. Туалет — это его второй рабочий кабинет. Проблемы с желудком неизбежны, если бесконечно есть гамбургеры и запивать кока-колой.

Глянем на его полку: здесь перебивали почти все книжки Майкла Крайтона «Юрский парк», «Линия времени», «Опасный пациент», тома Тома Клэнси, Клайва Касслера и Ральфа Коттона — поточная массовая продукция толщиной до семисот страниц: про океан, про войну, про ЦРУ и КГБ, детективы, ковбойские вестерны, амурные романы — полуфабрикаты, из которых потом выпекаются Голливудские боевики.

Я несколько раз пытался начать и бросил — скучно. Я предпочитаю Хемингуэя, Курта Воннегута, понемногу смакую Джойса. Но Марк Твен — это нечто! Приключения Гекльберри Финна — «райское наслаждение»: оригинал свеж и сочен, как только что сорванный спелый плод. Неисчислимы ароматы английского, бездна языковой гибкости и юмора по-прежнему ублажат самого взыскательного читателя. Это книга о детях для взрослых — как однажды пронизательно заметила моя жена.

А вот русский перевод, казавшийся мне в юности почти родным, сразу потускнел, стал если не дубоватым, то гораздо менее смешным и изящным. Хемингуэй сказал, что из «Гека Финна» вышла вся американская литература.

Боб взял у меня из рук книжку, полистал:

— Говорят, что он плохо про негров пишет, что они глупые. Это расизм. Теперь у нас в школе такое не читают.

— Вот те здарсьте, американцы перестали воспринимать собственный юмор! — изумился я. — Но при этом они спокойно откалывают шуточки типа, если на президентских выборах победит «черный», то придется менять название Белого дома.

— Вы нашу классическую литературу знаете лучше, чем мы, — признался Боб. — Это старый английский. Современный американский другой. Не люблю классику, особенно британскую. Их язык вообще не поймешь. А это что за книга?

Боб взял несколько вахт лежавший у меня на столе толстый черный том, раскрыл и прочел вслух — «Study of History» — Дж. Тойнби «Постижение истории».

Такое с наскока не одолеть. Закончишь главу и неделю оглядываешься вокруг — просто диву даешься прозорливости автора, рассуждавшего пятьдесят лет назад о демократии, о языках, о прошлом и перспективах народов.

Боб особо напрягаться не хочет. Он ни Твена, ни Тойнби не читал и не собирается, но и своих вкусов не навязывает. Он средний умеренный американец. Ему пятьдесят девять, он давно лелеет бациллу полевого эгоизма — привычку к одиночеству в комфорте. Но семейные ценности для него по-прежнему превыше всего. Иначе, зачем летать на работу так далеко, как не для обеспечения своих родных благами цивилизации. Каждому из четырех внуков он купил по квадроциклу, да и всякой другой техники и электроники полон дом.

Боб любит животных. На ранчо возле дома у него водятся ламы, бегают пони, барашки, кролики и прочая живность на радость детворе. Здешние буровые кошки и собаки его обожают, он их почешет, погладит, возьмет на руки, даст колбасы.

Жена ему пишет длинные письма каждый день и очень сердится, если он не отвечает сразу.

И еще Боб верит в Ад. В том смысле, как он однажды признался, что после смерти попадет туда, если при жизни будет делать плохие дела.

Вот такой у меня шеф-американец.

Осенняя смута

Приехав в ноябре на вахту, я увидел в фойе центрального офиса перетянутый траурной лентой портрет президента компании. Это был умелый, гибкий организатор, в конце девяностых он вывел «Петролиум» из кризиса и поднял до очень высоких показателей. Теперь в главных кабинетах уже сидели другие первые лица.

— Новый вице-президент Джерри Чучольски хорошо говорит по-русски, у него

жена русская, — сообщил Роберт Клок — высокий, крупный и очень подвижный техаец-цементник из компании «Халлибертон».

— У меня жена француженка, но я не говорю свободно на французском, — возразил Френк.

Он говорит на подушечном русском, а ты говоришь на подушечном французском, — резюмировал Боб.

Джерри вместо экспатов¹ подтягивает за собой команду россиян, с которыми он работал в Сибири — считает, что так дешевле. Но казахское министерство сопротивляется, с явным удовольствием рассказывает Роб. Так и заявляют: «Что вы нам опять их тащите! Семьдесят лет не могли избавиться».

«Новенькие, кажется, нарубят дров», — думаю я, и, не отрывая пальцы от клавиатуры, печатаю на ноутбуке, стараясь не оборачиваться, чтобы не спугнуть разговор.

— Ты не сидел в тюрьме? — вдруг обращается ко мне Роберт.

— А что, я так выгляжу? — растерялся я, застигнутый врасплох.

Нет, но как можно весь день сидеть, читать, писать, о чем-то напряженно думать и не сойти с ума?

Я облегченно рассмеялся:

— Просто дома семья, дети, хозяйство, других хлопот полно — не сосредоточись, а тут Боб мне позволяет, и я стараюсь успеть.

— Дома совсем другое, — соглашается шеф. — Проснусь в пять утра, поворочаюсь, встану, посижу. Слышу, жена ворчит: «Чего скрипишь креслом?» Спускаюсь вниз, разожгу камин, посмотрю новости по телевизору, потом выйду, поработаю во дворе, позавтракаю и к одиннадцати лягу, усну. После обеда еще разок прикурну, как привык на вышке. Жена недовольна. Через неделю начинает ждать, когда уеду.

— Опять про нас написали в центральной газете, что жжем газ и отравляем атмосферу, — воспроизвожу я сообщение из Интернета, но умалчиваю, что форма подачи материала и даже некоторые фразы как будто слизаны с моего пресс-релиза двухлетней давности в Алматы на экологическом «круглом столе» ведущей политической партии. Тогда большинство собравшихся традиционно продолжало говорить об усыхании Арала и Семипалатинском ядерном полигоне, а на мое заявление о необходимости вести добычу нефти по нормам цивилизованных стран внимания не обратили. Обсуждать не стали, но, как оказалось, в руководстве на заметку взяли. Дело было летом, а в декабре президент Казахстана Назарбаев подписал поправки к закону о нефти, требующие полной утилизации газа.

И вот теперь закон всплыл, как заказной черный пиар, и бумерангом ударил почему-то именно в наш «Петролиум». Кому-то сейчас это очень понадобилось.

Подобная избирательность свойственна не только демиургам отечественной политики. Одна американская неправительственная организация, с которой я дружил еще с конца перестройки и даже получал гранты, объявила в Вашингтоне тренинг по охране природы в Центральной Азии. Приглашались опытные журналисты. Ну, я и послал заявку, как бывший редактор экологической газеты, участник глобального Экофорума-92 в Рио-де-Жанейро. Подчеркнул, что меня интересует практика применения норм охраны окружающей среды в США, не допускающих сжигания газа в атмосфере. И что мне хотелось узнать, как ведутся журналистские расследования по оценке ущерба непрямыми методами, когда на руках нет официальных данных.

Так пришел ответ: «Вам не надо учиться, вы слишком опытный».

Кто-то может подумать, что во мне говорит обида несостоявшегося туриста. Бывал я в Штатах много раз. Объездил и посмотрел страну вдоль и поперек, учился в университете и работал в газете. Подозреваю, что не пригласили потому, что я сформулировал не абстрактную, а конкретную серьезную проблему. Они нынче оберегают своих производителей, мол, охраняй мошек и цветочки, а главную прибыль не трогай! Действительно, зачем конгрессу США выделять деньги на противодействие себе.

¹ Западные спецы, работающие за рубежом, от слова *экспатрианты*.

— Может ты, как журналист, напишешь статью в защиту компании? — спрашивает Боб.

В принципе я не против — потряхнуть стариной. Неприятно, когда фирму, в которой работаешь, со всех сторон поливают грязью, а тебя знакомые пытаются — что еще вы там натворили?

В ежедневную погоню за новостями я давно не впрягаюсь. Другое дело — раскапывать свою тему, «пробурировать» ее под разными углами. В советские времена писатели уходили работать в кочегарку. Лет десять назад подвернулось место переводчика, платили хорошо, в провинциальной газете столько не заработаешь, месяц на вахте, месяц дома — занимайся, чем хочешь, постепенно освоился и остался, сам не ожидая, что так надолго.

У меня своя кочегарка — на буровой. И надо честно признаться, что чадит она — нещадно! Горит, гудит газ, еще с советских времен, улетаая в трубу синим пламенем и внося свою лепту в глобальное потепление.

Но ситуация такая по всему Казахстану, а шерстят почему-то только нас. Явно на заказ. И мне это не нравится!

Понимай местный менталитет

Мы закончили скважину и, пока вышка переезжала на новую точку, Боб отпустил меня в город — в пыльный и сонный городишко, где вдоль улиц с дрянным асфальтом деревья росли редко, зато массово произрастали грандиозные коттеджи под железной черепицей, а на каждом перекрестке гаишники выскребали карманы водителей.

Я отправился по кабинетам центрального офиса, и, понемногу входя в журналистский раж, пытался разузнать правду, которую каждый рассказывал по-своему.

«О, my God!» — разносился вдоль коридора из приоткрытой двери прерывистый, лающий голос и.о. директора бурения. У него всегда что-нибудь случалось. Злые языки утверждали, что югослав Дыромил Бузович был контужен при американской бомбежке Белграда. Летом 1995 года он стоял в безопасной части города, неподалеку от китайского посольства, выйдя поглазеть на полыхающий пожар и ракетные фейерверки с глади Средиземного моря. Кто ж мог знать, что так обернется — китайцы вякнули что-то против, а американцы долбанули в ответ и объяснили потом ошибкой в компьютерной игре, особо не извиняясь.

Перекурив у окошка и поболтав о том, о сем со своим бывшим сменщиком, а теперь переводчиком директора, я разведал массу интересного про внутренний расклад сил.

Джерри Чучольски рубил с плеча направо и налево, увольняя одних и подтягивая на их место свои кадры. Он прижал контракты с предпринимателем — родственником главы городской администрации, а на приеме у областного акима пнул ногой дверь и кричал, что будет жаловаться на беззаконие в Лондон. Не понимая местного трайбализма, он взял себе советником Кадырбека — неуравновешенного, амбициозного мужика, мечтающего сесть в кресло генерального директора промысла. И он тоже принялся махать руками и орать: «Тебя уволю и тебя уволю!» И действительно, некоторые инженеры работали теперь простыми аппаратчиками.

У Бузовича шаткое положение, он панически боится Джерри. Но, хотя Дыромил вносит сумятицу, его жалеют и продолжают держать, за то, что он беспрекословно выполняет задания, перелопачивает горы входящих-исходящих бумаг и не высказывает собственного мнения. Ничего, кроме — «ok» и «my God»!

В отделе «Связей с общественностью» симпатичная кореянка Соня пыталась рассеять мои сомнения.

— Почему, — спрашиваю, — они в столичном офисе пропускают газетные плюхи? Каких только нам «собак» не вешают, всех съедаем. Огрыземся в своем внутреннем журнальчике, но и тут язык и стиль статей примитивен, потому что клепают их девчонки с уровнем мышления средней школы.

— Нет, им запрещают отвечать, — горячо переубеждала меня Соня, — и журналисты есть, и газеты, но дан приказ — молчать! Все решается наверху — на очень

высоких уровнях. Тут замешана большая политика. Из газет звонят, спрашивают, беспокоятся, а мы им — «Ну коммент!» Они сами тогда что-то где-то раскопают и публикуют.

Нечто подобное уже было, пять лет назад, когда поливали грязью «Петролиум», из-за того, что крупный Азиатский консорциум пожелал откупить контрольный пакет акций.

Покойный президент сделал тогда блестящий ход — пообещал бонус всем держателям, если не будут продавать три года. И вскоре нефть стала дорожать. И акции бешено пошли в рост. Ретивые покупатели отпали сами.

Теперь же дело принимало иной оборот: поползли слухи, о том, что нас хотят заполучить индийцы и китайцы.

Нихау — значит, привет!

В конце марта пустыня затрепетала подснежниками, в апреле запестрела красно-желтыми полянами тюльпанов, потом чуть подернулась синевой майских колокольчиков и наступила июньская жара.

Все лето циркулировали слухи о том, что в результате переговоров на самом высоком уровне, манипуляций с бусами и огненной водой азиатские конкуренты отступили, а «Петролиум» продолжит работу, приняв повышенные социальные обязательства.

И вот в конце августа сообщили, что нас купили китайцы. Западный народ плотно присел на чемоданы, а с ними вместе за океан на зависть сотням женских глаз отправлялась дюжина местных жен, в основном из бывших переводчиц. Каждая вторая пара сгодилась бы для сюжета картины «Неравный брак». Обычная разница в возрасте молодоженов составляла лет двадцать пять — тридцать. Разумеется невеста была младше и беднее.

Против Джерри завели уголовное дело, и он сам решил не возобновлять визу и не приезжать. Кадырбек просто исчез, и никто не мог сказать, в каком направлении.

Френк уехал в Европу и иногда присыл короткие мэйлы. Я в раздумьях, но пока не дергаюсь. Боб говорит, сейчас бежать не надо, в случае закрытия компании могут выплатить бонус. И, поразмыслив, добавил: «Хотя, вряд ли».

— Печора совсем не плохое место, мне нравилось там, и в Минусинске тоже, — все чаще вспоминал он Сибирь. — Первые годы, когда западные компании пришли в Россию, они получали небывалые, просто фантастические прибыли и держали бы язык за зубами, а то начали трезвонить и хвастаться в прессе.

Наши канадцы ушли, но тоже внакладе не остались — в середине девяностых в период экономического кризиса они взяли месторождение за каких-то сто пятьдесят миллионов долларов, а в хорошие годы получали до миллиарда чистой прибыли. И продали теперь все за четыре с лишним миллиарда. Вот это называется — делать бизнес! — у лопухов третьего мира, которые любят себя называть евразийцами.

Экспатов никто не гонит, наоборот, уговаривают остаться, но у них предубеждение. Не хотят работать и увольняются сами. Китайцы в шоке — своих спецов нет! Вопреки опасениям зарплаты никому не снизили, а по-советски ко Дню конституции даже раздали премию.

У центрального офиса светлый флаг с кленовыми листьями сменился на красный с желтыми звездами. Нападки в печати сразу прекратились, факела продолжали гореть с прежним жаром.

В один из морозных, но солнечных декабрьских дней с дороги в сторону нашей вышки повернула длинная вереница джипов. Ознакомительный объезд делал вице-президент компании — Сунь Кунь.

Фотографы и телеоператоры бегали и снимали делегацию в разных ракурсах на фоне бурового станка. Завтра пойдут репортажи в главных СМИ Поднебесной.

Помнится, после распада Союза, самая большая новость, обсуждавшаяся в китайских газетах, была та, что рядом появилось огромное, величиной с Европу,

государство с населением всего пятнадцать миллионов человек и несказанно богатое природными ресурсами.

Тогда шутили: «Мелкими перебежками по 3 миллиона и проголосуют за присоединение». Но больше не шутят, и вот уже казахский премьер назначен из бывших послов в Китай. И аким областной там учился. И общие саммиты случаются гораздо чаще, чем с другими странами.

Мы с Бобом, усмехаясь, наблюдаем через окно как суперинтендант бурения Берик Абдурахманов семенит вслед за китайским руководителем, преданно заглядывая ему в глаза. Он старается втереться, войти в круг, он уже похож на них, уже почти не отличим — лучший друг и соратник — одна масть.

Но китаец поглядывает свысока. Держит марку.

Чуть поодаль, особняком с чувством собственного достоинства шагает канадец — главный инженер промысла, который пока остается работать.

Зашли к нам в офис.

— Нихау! — говорю.

Вице-президент рассмеялся и ответил: «Нихау».

Поздоровались с Бобом. Задали вопросы. Во встрече чувствуется напряженность. Повисла неловкая пауза.

— Скажите, как по-китайски «я тебя люблю»? — спрашиваю по-английски.

— Во ай ни, — еще громче смеется вице-президент, — и очень четко по-русски произносит: — Зачем тебе?

— Мне для сына. В школе в День святого Валентина хочет подписать открытки на разных языках. У меня уже есть и по бенгали, по-сербски, по-румынски и еще на двадцати языках.

Он начертал мне на листе иероглифы, и только тут я сообразил — а как же их домой по электронке передашь?

Вавилонская вышка

В компании сложилась странная ситуация — существуют три разделенные группы: горстка оставшихся экспатов, прибывшие китайцы и местные. Все держатся отдельными кучками, между которыми вакуум, китайцы — руководят, но решений не принимают, норовят спросить у бывших. Те отвечают уклончиво, в результате — везде тормоз.

— Мы опять среди коммунистов, других, но коммунистов, — ворчит Боб. — Они ждут, пока решит коллектив. Брать на себя ответственность никто не хочет.

А у нас в офисе на буровой теперь тоже поселился худенький тихий китаец — Юй Тень.

Его приставили к Бобу обучаться. По-русски — ни слова. Что-то мяукает, якобы по-английски.

— Ты сам с ним говори, я его не понимаю, — после первых минут общения заявил Боб.

Куда деваться. У меня профессия — всех понимать. Мне за это деньги платят.

Иероглифическое мышление для нас порой смешно своей прямолинейной логикой. Помню документальный фильм 60-х годов — «Великий кормчий проплыл два километра по реке Янцзы и этим он нанес сокрушительный удар по американскому империализму!»

— Мао Цзэдун популярен?

— О да, очень! — отвечает Юй.

— А его культурная революция — это было вправо или влево, или посередине?

Юй что-то промямлил про «большой скачок» и тогдашнюю внешнюю угрозу. В Казахстане он впервые, но ему нравится. На гарнир ест только «мифа» — рис. Рыбу, мясо, консервы — с удовольствием. Не в привычке сметана и сыр.

— Сало попробуй.

— Что это такое?

Я говорю:

— Его с хлебом надо.

Он взял сладкий кекс, положил сверху кусок перченого венгерского шпика и откусил.

— И правда, — согласился, — очень вкусно. Но мясо у вас готовят одинаково. В Китае баранина отличается от говядины.

Махаббат в столовой притихла, подает пирожные с газводой и Бобу, и Юю. Молча. Присматривается.

В «Мунай», наконец, доставили буровой станок, бригада наладчиков — китайцы, остальные рабочие — местные. За месяц смонтировали оборудование, зарезали черного барана, произнесли молитву и начали бурить. Вечером пировали: кувардак-бешпармак, а утром начались проблемы и непонятки. Затяжки на долоте большие, проходка низкая, скважина идет вкось.

Гоша в панике, прикатил к Бобу — помощи! Мы приехали, глядим — ба! Знакомые все лица. Алкаши, которых выгнали у нас, здесь самые главные специалисты. А новички-рафнеки — сплошные юристы и экономисты после института — совсем «зеленые». Мастер — китаец Ой Люли, ни бум-бум ни по-русски, ни по-английски.

— Они ж тебе дорогое оборудование в два счета угробят, — удивляется Боб.

На его вопрос — в чем проблема? — полный разброд.

Ой Люли говорит:

— Может, что-то упало в скважину?

Бурильщик считает, что слишком жесткая компоновка, предлагает убрать стабилизатор.

— Мы менять долото. Следующий долото была тот же самый, — пытается рассказать помбур.

Боб спрашивает по-английски, я перевожу на русский, рабочий переводит на казахский, впервые попавший на промысел парнишка-урумчиец переводит с казахского на китайский мастеру Ой Люли. Ответ поступает в обратном порядке.

Натуральная Вавилонская вышка.

— Может, мне проще выучить китайский? — шутит Боб.

— Но тогда не будет работы мне, — не соглашаюсь я.

Боб тяжелыми шагами поднялся по лестнице, заглянул в жерло стола ротора, потом спустился на землю, походил вокруг, отошел подальше, присмотрелся:

— Да у вас мачта не отцентрована.

Так добурили до лета. Саранчи налетело — серая, с красными подкрылками, лезет во все дырки.

— Можно есть ее? — Спрашиваю у Юя, глядя на ошалевших от изобилия корма и еле передвигающих ноги воробьев.

— Можно, если помыть, посолить и поджарить. Только мы едим такую, которая зеленого цвета, как трава, а другая может быть невкусная.

Они, как говорится, научились есть все, от большого желания съесть хоть что-нибудь.

Первый раз за три месяца Юй Тень собирается ехать домой. Долг родине он отдает по полной программе.

Про любовь к демократии

Роберт — жесткий республиканец. Он только что прилетел из Штатов. Рассказывает возмущенно:

— Еду по Сан-Франциско. На заднем стекле задрипанного «Форда» написано: «Буш — идиот». У вас в стране такое возможно?

— У нас конституцией запрещено публичное оскорбление президента, — ответил я.

— Раз президент сказал, значит, так должно и быть. — увлеченно продолжал Роб. — Раз его выбрали — надо слушать. А иначе не будет порядка. И если нас задела, мы обязаны дать отпор. А с этими либералами и всякими подонками нетрадиционной ориентации сплошной бардак! Я из Техаса, я этих вольностей не люблю.

Но, к сожалению, хозяину «Форда» ничего не грозит. Нас бомбили, и мы вошли, подавить гнездо террористов и установить демократию. Больше ничего нам не надо.

— Но самое интересное, — расхраб्रившись, показал я на карту, висящую на стене, — внедрять свой порядок американцы почему-то лезут в районы основных углеводородных запасов или туда, где должен пройти очередной стратегический нефтепровод, — Афганистан, Ирак, Грузия. А, сидя в Казахстане, они не особенно беспокоятся о здешней демократии. Раскроют рот иногда для профилактики. Главное, чтобы режим был к ним лоялен.

Роберт перестает спорить. Он умолк.

Вообще демократия — любимая тема, обсуждаемая в нашем кругу. Мы про нее можем говорить часами, как женщины про любовь и про детей.

Иностранцы часто повторяют, что мы не умеем самоорганизовываться и заботиться о себе. Что у нас выборы нечестные. Что у нас безответственные правители. Что мы все еще похожи на стадо баранов. Они не критикуют — они констатируют факт. Им даже удобнее, что у нас так. Проще делать свои дела. Хотя и порой рискованно.

Но почему мы не восприимчивы к порядку? Впервые вразумительный ответ я нашел у Тойнби.

Демократия родилась на кораблях. Люди хотели доплыть, а не утонуть, поэтому капитаном выбирали самого умного и опытного. Ему подчинялись не потому, что он власть захватил или унаследовал, а по коллективному договору. Приплывая и колонизируя новые земли, экипаж и пассажиры переносили практику выборов на управление поселением. Подчиняясь закону, жили греческие и римские города, а нынче живут западные страны.

Первые переселенцы из Европы в Америку были объединены общей протестантской идеей, культом чистоты и порядка. В Новый свет бежали энергичные авантюристы, предприимчивые и думающие люди. Конституцию они написали один раз и набело. Зачем переделывать, если она отработана веками практики. Отсюда и все дальнейшие успехи американской цивилизации.

Ну, не было в России до Петра ни кораблей, ни капитанов, а у жителей степей и подавно. Кочевые — и те, и другие. Много общего. И земли много. И лени. И желания жить вольно и по понятиям. И чтоб думали за нас те, кто наверху.

Патриархальность нашего сознания вопиющая! Вот провели опрос общественного мнения — половина россиян считает, что президент должен быть отцом нации (то есть царем-батюшкой). А самый популярный человек по-прежнему — Сталин. Это убеждение малоимущей части, а значит — большинства.

Кому в голову придет жаловаться Джоржу Бушу на поведение Бритни Спирс, с ней суд разобрался, а у нас, пожалуйста — в Интернете требовали от Путина, лично приструнить Ксению Собчак.

Но, казалось бы, это — народ, так сказать — масса, которая всегда дожидается улучшений сверху.

Ничего подобного. Как только ведущий крупной аналитической телепрограммы, регулярно критиковавший президента, был уволен со своего поста, так он тут же принялся апеллировать к тому же президенту — как к отцу родному о восстановлении справедливости.

Или вот — известный юморист рассуждает со сцены:

— Тесно русскому человеку в рамках закона, широка его душа. Не по зубам она западным умникам, которые — британцы, например — еще пытаются нас учить демократии. А сами вели колониальные войны, убивали и грабили по всему миру.

И как-то невдомек искреннему патриоту, что демократия — это не интернациональное равенство и братство, а внутреннее устройство государства, поддерживающее закон и выборность власти. И это не значит, что одна демократия не может воевать с другой или с кем-то еще. Чего ждать от народа, если интеллектуальная элита путается в чувствах и понятиях.

Но в Китае тоже нет демократии, а страна развивается. Дэнсяопиновская кош-

ка отлично ловит инвестиционных мышей. Китайский ширпотреб — от игрушек до автомобилей — прочно овладел всем миром. Японцы только что-нибудь изобретут, а китайцы уже внедрили. Немцы только спроектировали магнитный монорельс, а в Шанхае на нем уже в аэропорт возят. Однако тут же рядом пашут деревянной сохой на волах, а средняя зарплата рабочих в сто долларов для иностранных корпораций не считается выгодной и заставляет их передвигать заводы в глубь страны, где можно платить гораздо меньше.

Однако в Китае растет экономика, а в Казахстане кроме нефтепроводов во все стороны и цен на жилье и продукты пока ничего нового не вырастает. И главное, спросить за это не с кого.

Чайна-таун

Вместо польской «Лаборатории бурения» теперь китайская. Ее мы сразу обозвали — «Чайна-таун». Ее черноволосые обитатели собираются в контейнере, варят что-то свое пахучее, громко кричат и спуют туда-сюда.

Боб недоволен, что убрали поляков. Чайнизы плохо понимают дело, их приборы не всегда исправны, контроль за скважиной никудышный.

Живут они четверо в трехместной комнатке, не меняя простыней. На промысле даже бытует термин — «горячая кровать», в которой спят по очереди.

И вот приехал еще один.

Давно не стриженный патлатый парень в столовой, скрошив полбулки хлеба в тарелку с борщом, принялся метать в рот, чавкая и брызгая вокруг, не обращая внимания на неодобрительные взгляды соседей. В здешних краях так не ест даже самый последний аульный оборванец.

— Скажите ему, чтобы не лез руками в кастрюли, — пожаловалась повариха.

А потом пришла Роза и, сверкнув золотыми зубами, доложила Бобу, что новенький потребовал отдельную комнату, которая якобы полагается ему по контракту.

— Что! — взревел Боб Бустер.

Вот тут я увидел настоящего комодского дракона и бизона в одном лице. Он кричал, рычал, клал клыками, царапал когтями и бил копытом. Его огромное тело сотрясало от гнева, лоб покраснел и покрылся крупным потом, в углах пасти проступила пена. Вся туша двинулась на Чайна-таун.

— Факинг специалисты! Ничего не умеют, а еще требуют. Разгоню всех к такой-то матери! — ревел он, распахивая дверь.

Китайцы, как кролики, чуть не пали ниц и взирали на него исходя мелкой дрожью.

— Ноу, мистер Боб! Все, о'кей мистер Боб!

Они готовы были спать стоя по трое в одной кровати.

Боб был в отвратительном настроении. Отказавшись от штатного шофера, он воевал машину сам и давно не проверял уровень масла. Дороги плохие, пыль из воздушного фильтра порой выгребали горстями. И движок застучал. Угробив мотор, Боб делает вид, что не виноват.

Пришла беда, открывая ворота. Геологи переиграли координаты скважины, маркшейдеры отметили новую точку, а старые колышки не убрали. Под шумок в замешательстве мы пробурили первую отметку и промахнулись на три километра. Вбухали в болото полтора миллиона долларов.

Из города без конца звонил Дыромил. Он метался, не зная на кого перевести стрелок. Бурил Боб, но на техническом наряде стояла подпись его — Бузовича. Заискивающим, заикающимся голосом он умолял:

— Если будет комиссия, не говорите, что скважина пустая.

— Начинаются коммунистические штучки, — положив трубку, ворчал Боб, — всегда стараются сказать то, что начальство хочет от них услышать. Сначала надо врать, потом эту ложь покрывать другою ложью. Любым способом уходить от ответственности. А чего бояться? Если меня спросят — я отвечу прямо.

Китайская грамота

На следующую вахту Боб Бустер не приехал. Его ответом стал отказ продлевать контракт. Ну не любят американцы работать на коммуняк даже с рыночной ориентацией.

Теперь с нами по три месяца будет сидеть Юй Тень, но если Боб — за десятки тысяч долларов, то тихий китаец — за весьма скромные юани.

По вечерам весь «Чайна-таун» толчется в нашем офисе, названивая домой. Круглосуточно слышу китайский. Когда надоедает, ухожу к себе в комнату и закрываю дверь.

Дыромил чуть не упал с кресла, когда выкатили счет за телефонные переговоры, но ругать хозяев не решился.

С китайцем проще, но в английском деградируешь. И все вокруг словно притормозилось. Боб одним взглядом заставлял работать, повелевал одним видом своим. Юй требовать стесняется или боится. Казахи его не уважают, увиливают, хитрят, придумывают всякие отмазки. А он и не настаивает. Как катится, так и пусть.

В перерывах между выходами на буровую площадку и составлением отчетов, надо коротать время, и я слушаю стихи по-китайски с рифмами на четырех тональных уровнях. Юй записал мне в тетрадь строчки иероглифов древнего стихотворения и я сделал подстрочник:

За гору заходит Солнце,
Желтая река течет к морю,
Если ты желаешь увидеть далеко,
Постарайся подняться как можно выше.

Текст начала нашей эры, а прочитать можно и сейчас — язык удивительно законсервированный, но образный и наполненный символикой.

Поднимаясь, главное, не упустить из виду цель! Но порой, в процессе восхождения, может открыться нечто совершенно иное, о чем ты даже и не подозревал. Это переключается с индийской мудростью Тагора.

Юй старается овладеть русским. Я ему помогаю. Он не может произнести «здравствуйте», звука «р» в китайском нет. А тем более такого раскатистого, грассирующего. Рычать он не умеет — но упорно скребет подбородок.

И вот однажды, на закате спокойного дня, в первый раз после долгих стараний внятно произнес звук «р-р-р», Юй в благостном расположении духа разоткровенничался:

— На русском кто говорит? В мире очень мало народу говорит по-русски.

Я аж весь сжался, почувствовав, как он нас посчитал и сравнил со своими полутора миллиардами. Эта цифра даже не помещалась в моей голове. Человеческий муравейник, и все хотят есть, пить, спать, иметь детей, дом, машину и получать прочие радости.

— А на английском говорят многие, — продолжает он, — и в английском языке очень много разных слов.

Я согласно киваю головой, не понимая, куда он клонит.

— Английские словари толстые, и они становятся еще толще. Они просто распухают от слов. А то, что распухает, сказал Конфуций, обязательно когда-нибудь лопнет! Английский лопнет, а китайский останется. И будет во всем мире только китайский!

Вот так считает Юй Тень, такая у них, видимо, распространенная домашняя конфуцианская философия, построенная на мышлении иероглифами.

Лет десять назад занесла меня нелегкая на Гавайи. Аллоха! Вайкики. Перл Харбор. Затонувший крейсер «Аризона». Над его башнями катера доставляют туристов на мемориал американского флота, разбомбленного в сорок третьем японцами.

Вулкан «Алмазная голова» потух сто тысяч лет назад, но до сих пор видны потоки лавы, языками стекавшие в океан, туда же смотрят амбразурами доты для

орудий, обустроенные на вершине гребня, а внутри на дне цирка — остатки американской военной базы. Там же стоит будка с телефоном-автоматом. Позвонил жене домой в Тараз, говорю, что из кратера вулкана — не верит. Говорю, что случайно узнал, что здесь существует школа, где изучают русский язык. Интересно, схожу, проверю.

Порядком поплутав по острову, я нашел-таки школу. Преподают две молодые, стажировавшиеся в Москве американки.

— Русские классы скоро закроют. — Не особо печалюсь, объясняют они. — Холодная война закончилась. Интерес к языку нет. А еще наш директор школы — японец заявляет: «Надо переходить на китайский. Он будет главным!»

Открываю Тойнби — еще в середине XX века он писал: *«Китайцы ищут средний (третий) путь, который бы соединил добродетели традиционного доиндустриального образа жизни, отвергнув его пороки, с позитивным опытом современного индустриального образа жизни в западных и вестернизированных странах. Если коммунистический Китай сумеет одержать победу в этой социальной и экономической борьбе, он сможет преподнести миру дар, в котором нуждается и Китай, и все человечество. Этот дар будет счастливым соединением современного западного динамизма с традиционной китайской стабильностью. Сумеют ли китайцы произвести необходимый синтез, чтобы дать возможность человечеству выжить?»*

— А как же все-таки, — спрашиваю Теня, — печатать на компьютере? Может, удобнее перевести письменность на буквенную систему, как у японцев?

Он подумал.

— Нет, слишком много значений у иероглифа — сразу целое слово и даже неделимое понятие.

— А печатать как?

— Очень просто, — набираешь латинскими буквами слово, как оно звучит, вставляешь один из четырех меняющих значение знаков тона, затем «Enter» и компьютер выдает иероглиф.

«Действительно просто, — подумал я. — Кошмар! Несколько строк жене домой по «мейлу» написать — четверть часа уйдет. Это ж надо было такую китайскую грамоту придумать!»

С чего начинается родина?

Нас с Юем послали на «Мунай». Будем руководить контрактниками. Весной в поле мне нравится работать гораздо больше, чем в вахтовом поселке. Ночью припокрошило снежком, но к обеду растаяло, подснежники подняли головки. Как удержать и не сорвать, не поставить на столе возле компьютера, чтобы глаз радовался. Потом зацвели тюльпаны, потом синие колокольчики и засеребрился ковыль.

Мне казалось, я близок к природе и мне по душе первобытное тенгрианство кочевников. Но тут Юй Тень спросил меня:

— Зачем ты рвешь цветы?

— А что — нельзя?

— Они не принадлежат тебе.

— А кому? — не понял я.

— Полю, природе, они растут и тебя не трогают.

Вон девчонки в столовой целыми охапками набирают, это, конечно, варварство, а у меня всего несколько для красоты, — оправдывался я.

— Ты эгоистичен и самовлюблен, — сурово провозгласил Юй.

Я его понимаю, если каждый китаец выйдет и сорвет по цветку — мир вокруг превратится в пустыню. Конфуцианство скорее не религия, а этика, которая при выборе решения предлагает умеренную середину. В смеси с даосизмом это переплавилось в самоограничение и терпеливость, сдержанную философичность, которых и в помине нет у бывшего кочевого люда. Те, наоборот, стараются все сделать попышнее, пожирнее, чтобы утереть нос соседу.

Утром у нас кофе, вечером — чайная церемония.

— Зеленый чай здесь не такой, как в Китае, не настоящий, — объявляет Юй и достает из красивой цилиндрической шкатулки мелкие мягкие шарики.

Каждый чайный шарик распускается листиком в горячей воде, издавая жасминовый аромат.

— Его пьют без сахара, — объясняет Юй.

— Может, пива? — предлагает Бранко — новый инженер по растворам из Сербии. — Пошлем водителя к чабанам.

Эти чабаны только паленой водкой торгуют, — возражаю я.

— Нет, нет! — в ужасе восклицает Юй. — Пить запрещено, если узнают, меня сразу уволят.

Мы засмеялись.

— Никто ж не предлагает напиваться. Но чуть-чуть на праздник, расслабиться. Даже Боб позволял.

— Нет, нельзя! — отчаянно замотал Юй головой.

Накануне запуска с Байконура корабля с американской туристкой похолодало. Если б похолодало в понедельник, все бы сказали, что ракета повлияла на погоду. Китаец мерзнет как цуцик. В Пекине гораздо теплее. Но до дома далеко. Живой человек, без жены, без семьи, страдает, звонит по вечерам на родину.

Но пока держится, про женщин даже разговора не заводит. Тем более об алкоголе. Наверное, он тут под бдительным оком политработников, хотя, кто знает, какая у них была дана партийная установка.

Юй берет теннисную ракетку и стучит шариком о стенку.

А наша новенькая молоденькая горничная глаз на него положила.

— Интересный, — говорит, — мужчина Юй. Но очень скромный.

— Сколько у тебя детей? — спрашиваю я у него.

— Один. Сын.

— А как получается, что разрешают только одного ребенка, а население Китая растет? — удивился я.

— Контроль только в городе, один ребенок, если ты работаешь в государственной компании, за двоих могут уволить.

— У вас все хотят мальчиков?

— Мальчик — это дракон, девочка — феникс. У вас дракон — страшное, плохое существо. А у нас дракон это — сила, мощь и ум. Он добрый, сделан из разных животных. Голова лошади, рога оленя, тело змеи.

Буровой быт упрощенный. Наш туалет в офисе, у рабочих на улице. Общий для мужиков и для женщин. Кто-то, может, не представляет, какая жуть эта синяя железная кабинка под ветром в степи в тридцатиградусный мороз или раскаленная в жару под сорок, туда не входить, к ней мерзко приближаться даже привычному организму. А кустов вокруг нет, вот и норовит народ присесть, где нужда застигнет врасплох: у корзины с трубами, за контейнером, под насыпью, на свежем воздухе, как за юртой. Пока Россия ломает и чинит туалет на орбите, здесь на земле неподалеку от Байконура его еще учатся строить. Слишком много свободного места и слишком мало людей.

Юй, насупившись, долго вытирает ботинки.

— Скажи, чтобы не срали, где попало, я уже два раза наступил.

Да что там в пустыне, в вахтовом поселке главный инженер-канадец, устав от местной простоты, распечатал на принтере и повесил в мужском туалете обращение на двух языках:

«Проверив штатное расписание, я выяснил, как и ожидал, что в нем не числится ваша мама, которая будет убирать за вами. Поэтому просим поднимать сиденье на унитазе, прежде чем мочиться. Буду рад помочь, в случае необходимости проведения инструктажа — как поднимать сиденье унитаза».

Возле ноутбука Юя лежит томик Конфуция, я открыл его и в разделе афоризмов обнаружил подчеркнутые строчки. Нашел в Интернете пронумерованный абзац и с изумлением прочитал перевод: *«У китайцев даже без царя больше порядка, чем у варваров с царем».*

Про кого это он, интересно, подчеркнул?

Но в душ Юй каждый день, как американец, не стремится. Он может не мыться неделю. Он терпелив и не привередлив. На кухне он просит кость покрупнее и обгрызает жирный мосол, выковыривая мозг, до которого Боб даже дотронуться бы побоялся. За милую душу китаец уплетает и сало, и конину, и казы, и бешпармак. И это надо видеть, как у себя дома американцы из добротного бекона вытапливают жир и едят сухие шкварки, произнося страшное слово — холестерин. Но в итоге всеядный китаец — тонкий, а осторожный американец — толстый.

Американцы широки и расточительны — выедет компания на пикник, так столько жратвы ухайдокает, что полдеревни китайской можно накормить, а в Африке так и маленький городок. Пешком пройти — нет, только на машине, даже до столовой, до которой рукой подать. Если все начнут жить, как они, ресурсы Земли будут исчерпаны лет за пятьдесят. Это тупик! Но зато в Штатах каждый себя уважает и без сомнений готов рулить всем остальным миром.

А Юй и потребовать ничего бытового не может, он не то что не привык требовать, у него идей в голове нет. Ему достаточно того, что дают. От него разит нашим родным кондовым совком. Он даже не особенно ропщет, что семью его выселяют из хорошей квартиры на окраину города, с меньшей площадью, потому что здесь будут сносить дома и строить дорогу к Олимпиаде. Компенсация минимальная, так государству надо. И землю в Китае тоже нельзя иметь в собственности и передавать по наследству.

Показываю Юю свои фотографии, он удивляется:

— О! Ты — богатый!

— Да, какой же я богатый, ну, дача у меня, ну, машина, так я ж работаю.

В общем, Казахстан для них манна небесная, хоть и холодно, они сюда прут, и разрастается их Чайна-таун дешевыми спецами.

Однажды Юй устал от своих болтливых «телефонистов» и разозлился:

— Работать! — воскликнул он с такой хлесткой интонацией — словно выкрикнул не он сам, а его инстинкт. Выдал, как главный муравей своим собратям жесткий приказ и кровную обязанность, понимаемую даже без принуждения. И они побежали. Так молекула катализатора подстегивает скорость химической реакции, и фермент стимулирует процессы обмена. Но та молекула для муравьев, а для местных стрекзлов нужна совсем другая.

Они нас своим конфуцианством приведут в один бессловесный муравейник. Однако если Китай, заваливший мир своей продукцией, старается наладить выпуск качественных товаров и для внутреннего потребления, то Казахстан, шагнув из развитого социализма в дикий феодальный капитализм, по-прежнему меняет «черное золото» на бусы. Купить проще, чем произвести. Банки тянут заграничные займы и раздают ипотеку. Цены растут бешено. В северных областях, куда нас студентами при Союзе посылали в колхоз, помогать убирать картошку, этой картохи не хватает. Газеты трубят о продовольственном кризисе, о массовых приписках объемов убранного хлеба. Чиновники на местах, как и прежде, стараются выслужиться перед столицей и отрапортовать, что все хорошо! Без демократии все опять возвращается на старые заколдованные круги.

Профтехучилищ нет, необученные работяги в зной и стужу за мизерные гроши тягают железо, глотают газ и пыль. А спецов и квалифицированных рабочих тысячами привозят из-за рубежа. И платят им, разумеется, гораздо больше. Какие тут мысли могут родиться о достоинстве и правах у полунищего коренного человека, отравленного вдобавок идеями национализма.

Порой такая тоска одолевает в песках — ни книги, ни Интернет не спасают, ни пиво, ни водка. Сидишь и думаешь — куда податься?

Национальная гордость

«Ужасные физические условия, которые им удалось покорить, сделали их в результате не хозяевами, а рабами степи. Наладив контакт со степью, они утратили связь с миром. В степи человек обречен на постоянное движение. По годовым циклам

перемещаться с место на место. Несмотря на нерегулярные набеги на оседлые цивилизации, временно включающие кочевников в поле исторических событий, общество кочевников является обществом, у которого нет истории».

Тут я надолго закрыл черный том Тойнби, понимая, что автор хватил лишку. И Гумилев его опроверг своим евразийством, доказав, что все что нужно у номадов есть. Он, безусловно, более популярен здесь, хоть и менее авторитетен.

Но наши евразийцы — большей частью азийцы, поэтому сразу принялись переписывать прошлое по образу и духу своему.

Сын пришел из школы расстроенный: в пятом классе отменили историю древнего мира. Как он ее ждал! Сколько прочитал про Египет, Грецию и Рим. Раздали другие учебники, теперь весь год будут запоминать — куда какой род кочевал, кто, где юрту ставил, с кем воевал, кого убил и сколько развел коней и баранов. Александра Македонского придется называть — Искандер Зулкарнайн.

И тут же, пожалуйста, новейшие изыскания:

«Во времена Аттилы завершилось завоевание гуннами Европы. В 451 г. в местности Каталаун (Франция) произошло грандиозное сражение того времени. После победы в этом сражении Аттила разгромил центральные районы Римской империи, взял в жены дочь императора и сокровища Рима. После этого поражения империя пала. После гуннских войн на ее месте образовались другие европейские государства»¹.

Далее с гордостью делают выводы о значительном влиянии гуннов на судьбу Европы. Их предводитель — Аттила, известен в казахских легендах под именем Едиль. Логика проста, как две струны домбры. Гунны кочевники — предки тюрок, а следовательно, и современных казахов. То есть предки казахов значительно повлияли на развитие всей Европы. Что и требовалось доказать.

Увы, хоть у Тойнби, хоть у Гумилева, хоть в любой энциклопедии — все наоборот: В 451 году Аттила действительно двинулся в поход на Рим в ответ на отказ императора выдать за него свою сестру. Но в битве на Каталунских полях войско Аттилы было наголову разгромлено. А через два года Аттила умер. После его смерти гунны потеряли свое могущество и вскоре рассеялись бесследно.

Тойнби также говорит о сходной судьбе всякого государства, успех которого зависит от личности властелина, а не от системы организации.

Аттила, кстати, был самым жестоким из варваров. Чем уж тут особо гордиться. Почему не поискать в веках себе предка не разрушителя, а созидателя?

История постоянно оживает в современности и ловит нас в свои объятия. И тут я сам себя поймал за хвост.

Читаю про султана Бейбарса — главу мамлюков, его родословная по преданию также восходит к предкам казахов. Он убил египетского правителя и занял его место.

«Вот, — думаю, — коварная бестия».

В примечаниях Тойнби беспристрастно пишет: *«Есть предположение, что Бейбарс был русским»*. И вдруг в моей голове все само собой перевернулось, и воссияла мысль: «Однако не хило — смелый парень был!»

И тут же осознаю, что минуту назад думал — «такой сякой вероломный кипчак», а вот если русский, то сразу — молодец!

Национальный инстинкт — чуткий флюгер. Ветер амбиций вертит им как легкой игрушкой. Реакции бессознательны и мгновенны. В точности как мать кидается защитить своего ребенка от опасности. Недаром Нуртаза говорил, что напряженность больше возникает не по религиозной, а по национальной линии.

В Прикаспии на промыслах Тенгиза прошел большой шум — распоясались турки-подрядчики, открыто заявляя:

— Мы вас днем на работе имеем, а ваших баб — ночью.

У местных терпение лопнуло, одним дали арматурой по башке, других из окна выкинули. По телевизору показывали забинтованных возвращенцев в аэропорту Стамбула.

¹ «Рассказы по истории Казахстана». Учебник для 5-го класса общеобразовательных школ. Авторы — Артыкбаев, Сабданбекова, Абиль. Алматы, 2006. Стр. 75.

Самыми умными оказались китайцы: их все боялись, вот придут, заставят работать за миску риса, а они тихо-тихо, ниже травы, тише воды, никого не критикуя, не обижая, зарплату не снижая, наоборот, по-советски к празднику премию подкидывая, качают побыстрее нефть к себе в Поднебесную. Им надо обеспечить топливом бурно растущую экономику.

И вот что примечательно, — у нас в компании официально объявлен проект по утилизации газа. Видно, откуда-то сверху шевелят, поджигают законом и уже не только нас, а по всем промыслам, хоть в газетах это и не шибко афишируют.

В «Петролиуме» газ решено закачивать в скважины для поддержания пластового давления нефти и для будущего использования. Факелы потухнут. А это уже большая победа!

Китайская музыка

Теперь каждое утро слушаем радио. Маленький черненький транзистор Юй Теня ловит Пекин. Играет музыка, которая поначалу мне и музыкой-то не кажется. Слух плутает в извивах пентатоники, и вдруг в этих чужих мелодиях я уловил что-то до боли близкое и знакомое с детства. Что-то простое, как пастораль, похожее на давние советские интонации гимна и массовых песен, обращенных ко всему народу, к площади, к стране. Музыка, как один большой организм, взывающая к семье великой — пастушья свирель, собирающая стадо в поле.

О, мне эта общая идея по советской школе знакома до тошноты! А вот Конфуций мог определить по музыкальному произведению, из какой части Китая родом композитор.

В городе, откуда я после вахты уезжаю на поезде домой, в корпоративной столовой в закутке стоит пианино. Здесь обедают вице-президенты, директора отделов, геологи, супервайзеры — европейцы, американцы, местные и заезжие спецы.

Среди китайцев немало таких, у которых рубашка плотно застегнута у горла воротничком без галстука, как бы раньше сказали — по-колхозному, короткая незаплетенная стрижка и некоторая окаменелость черт лица сельского жителя, много времени проведенного под солнцем и ветром. Но в основном другая публика — рафинированные гладкие светлые ханьцы, учившиеся в Москве или в Лондоне. Не чета нашему буровому Чайна-тауну.

Они внешне похожи на казахов только на первый взгляд.

Что же в них другое? Естественно, лопочут по-своему и лихо мельтешат палочками между тарелкой и ртом. В их лицах чувствуется иерархия, внутренний ритуал, строгость и аскетизм. Эти ребята здесь не просто так, они куда более организованны и трудоспособны, чем недавние кочевые степняки. Они не маются в поисках национальной идеи, исторических корней — их этика и философия, прописанные Конфуцием и даоскими монахами две с половиной тысячи лет назад, безотказно работают до сих пор и на века вперед.

В них нет ни христианской мягкотелости, ни тенгрианской расслабленности, ни исламской ригидности, но есть трезвая аскеза, готовность к лишениям, к самоограничению и неумолимая всеядность. Свою волю к победе они еще продемонстрируют на Олимпиаде.

Какие нас ждут идейные компромиссы на этом пути?

Готовят в столовой вкусно, не хуже, чем в хорошем китайском ресторане в Алматы. Повар-китаец уже вполне освоился, похаживает, насвистывает что-то свое, пощипывает поварих за мягкие места. Те, взвизгивая и кудахча, отбиваются, но несильно.

Когда народ разошелся, я решил подшутить. Пентатоника в принципе простая штука: перебирай пальцами, как бог на душу положит, черные клавиши и, на какой ни остановишься, окажется, что музыкальная фраза завершена. Присел к пианино и заиграл. Повар остолбенел. Забыл про женщин. Выпучил глаза и ничего не понимает — откуда взялась такая окитаенная ахиня. Выскочил из-за своего прилавка, подбежал, заглядывает за перегородку — «Нинхау», — говорит.

Если «нихау» — просто привет, то «нинхау» — значит, здравствуйте с большим уважением.

В последние годы смена строев, государств, хозяев, премьеров почти как мелькание рекламы на телеэкране. Уже ничего не воспринимаешь всерьез и смеяться над этим уже не хочется и даже утешаться библейской мудростью: «Народы сменяются — приходят и уходят, и только Земля пребудет вовеки». Потому как достоверно знаешь, что и это не так. Ощущаешь, что идут подвижки тектонических плит, а повлиять ничем не можешь.

Но вдруг Тойнби не прав в надеждах на китайцев? Может, прав Достоевский в своих «Записках из подполья»: «С муравейника достопочтенные муравьи начали, муравейником, наверно, и кончат, что приносит большую честь их постоянству и положительности».

Если сказать откровенно, я бы давно хотел жить где-нибудь под Москвой или в Калининграде, куда переселились многие мои коллеги. Хоть к какой-нибудь близкой культуре поближе. Хоть раз в месяц сходить на симфонический концерт или в театр. Родственников, знакомых у нас здесь почти не осталось. И в основном общаешься с иностранцами на своей не своей земле. Вот ведь парадокс: здесь родился, живешь, а в футбол-хоккей болеешь по телевизору — за Россию. Но где я там найду такую комфортабельную «кочегарку», в которой можно сидеть как в санатории и писать без спешки, о чем душа пожелает. А между вахтами ты вообще вольная птица.

Под Рождество отправились с женой к друзьям в Германию, гуляли по ярмаркам Баден Бадена и Страсбурга, слетали в Рим, обошли развалины Колизея, бродили по Ватикану потрясенные величием Сикстинской капеллы. Потом в Париже, пока жена терпеливо смотрела на сцену, я с удовольствием вытянулся и проспал в темной ложе на бархатной кушетке под шагаловским куполом Гранд-опера второе отделение балета, который даже не хотелось сравнивать с тем, что видел в Большом театре.

В Париже как раз проходил Всемирный форум по сжиганию газа на факелах. Проблема глобальная и, похоже, что у нас в Казахстане зашевелились даже раньше, чем в России. И, возможно, в чем-то благодаря мне.

В дороге читал «Бойня № 5» Курта Воннегута — о бомбежке Дрездена авиацией союзников. В конце Второй мировой юг Германии тоже весь лежал в руинах, кроме Гейдельберга — чудесного старинного университетского городка, — американский генерал когда-то учился здесь и приказал не бомбить. Вот куда надо посылать детей учиться.

Уже на работе получил электронку от Френка, он вернулся с семьей в Европу и жалел, что мы не встретились в Париже. В конце он писал: «Ты спросил тогда, кто и кому вас продал — вы сами себя продаете по дешевке, вы лезете в рабство иностранных компаний, вы не готовите своих менеджеров и квалифицированных рабочих, не производите собственные товары, а все меняете на нефть, но если цена на нее упадет, вы быстро окажетесь в большой мировой заднице...».

Что ж, со стороны виднее. Наверняка, мы будем наказаны за самонадеянность. Я задумался один на один со своим компьютером.

Американец живет на поверхности, он толстый, но плоский, а китаец при своей мелкоте — объемно укоренен в землю и в историю. Отчего ж мы так примитивно живем и не можем организоваться?

— Не понимаю, что тебя здесь держит? — спросил меня инженер-растворщик Бранко.

— А где мне быть?

— В цивилизованном мире.

— В Сербии с вашим Косово разве лучше?

Он тяжело вздохнул:

— Да. У нас вернешься домой после вахты и можешь попасть совсем в другое государство. Может, ты получаешь энергию от этой земли? — несколько загадочно предположил он.

— Так скорее всего и есть, — ответил я, — получаю.

Фундамент

Далеко-далеко, растворившись в синеве, возвышались Тянь-Шаньские горы и самый высокий в округе — четыре с половиной километра — пик Манас. Я поднимался на него, чтобы взглянуть на уходящие на юг хребты и нагромождения вершин, как гигантским ковшом бульдозера вздыбленные миллионы лет назад врезавшейся в азиатский континент Индией.

А с нашей северной стороны вдоль подножия гор простирались нескончаемые степи, по которым вел войска Александр Македонский, проносились орды кочевников, пролегал Великий шелковый путь и веками брели караваны из Китая в Европу.

Высота — серьезное испытание, но глубина тоже. Здесь, в широте равнин, бывших когда-то дном не менее древнего, чем горы, моря, мы пробурили разведочную скважину на четыре с половиной тысячи метров и, пройдя осадочные породы — глину, песок, известняк, уперлись в фундамент — гранитно-базальтовую материковую плиту, от которой отражались все звуки эхолокации.

Долото буровой вышки подпрыгивало, выстукивая грудную клетку Земли. Стальная колонна на поверхности была в колокола металла, усиливая звуки, восходящие из недр. Я люблю слушать эту глубинную лязгающую музыку.

Фундамент — тонкий, хрупкий и звонкий как фарфор панцирь планеты, по которому невидимо прокатываются приливные волны Луны. Средняя толщина — тридцать-сорок километров. Если уменьшить Землю до размера мяча, оболочка будет всего один миллиметр. У меня часто возникало ощущение, что лучшие игроки на чемпионатах мира по футболу играют глобусом.

При бурении температура растет на градус каждые десять метров. Под фундаментом уже расплавленная магма.

Я шел по площадке увлеченный игрой воображения, почувствовав в теле легкость, как после хорошего отпуска. Незаправленная легкая цветастая рубашка пузырилась на мне, поддуваемая ветерком.

— Алекс, отлично выглядишь. Будто только что с Гавайев! — воскликнул, увидев меня, китаец-геолог.

— Я на буровой, а это почти одно и то же.

Гавайи, вот уж где действительно ощущаешь дыхание недр. Обжигающий сквозь подошвы сандалий горячий черный наст, пористая пемза под ногами и желание дойти до трещины, из которой медленно, почти спокойно истекает лава, образуя остров и медленно раздвигая Америку и Азию. Иногда неожиданные выбросы раскаленной магмы разлетаются и шлепаются горящими ошметьями на десятки метров вокруг. Океанская волна перекачивает через остывающие наплывы, шипя и поднимаемая облака пара. Если не дрейфить и дойти до края, увидишь дрейф континентов.

Отсюда с вышки лучше видно и слышно, но иногда мне кажется, что я здесь спрятался от жизни. Создал себе башню-нору из «слоновой кости». И здесь чужие слова, как магические заклинания, извлекают из мира деньги для меня и моей семьи. Иногда мне кажется все это нереальным, почти миражом, который видишь на каждом шагу — нефть, английский язык, мелькание иностранцев вокруг, все должно вот-вот рассыпаться, исчезнуть. А что реально? Что держит меня здесь?

Моя точка отсчета — эта земля. Отсюда для меня начинается Восток и Запад. Здесь мой форпост. Здесь мой корень, проникающий вглубь, и я, заземленный человек, как приемник и передатчик между Землей и небом — звено всеобщей связи.

Отсюда я могу оценивать ситуацию. Корень Дао тоже подразумевает глубину и привязанность к истокам рождения, откуда берут начало и прочие смыслы земного пути.

Моих предков занесло сюда сотню лет назад, и лишь теперь для меня стало проясняться, что, когда человек рождается и долго живет в одном месте, он прирастает к земле и начинает нести за нее ответственность, независимо от своего желания и от характера власти, которая управляет вокруг. Отсюда и ниоткуда больше я чувствую связь между низом и верхом, и это чувство Земли во Вселенной наделяет меня подлинным смыслом жизни.

«Мы не казахи и не узбеки, мы азиаты...» — поется в новом шлягере. Но кто мы — новая генерация или национальность?

Я многое не принимаю в местных привычках, могу критиковать и посмеиваться,

но я почти такой же, как они, и ни я, ни мой сын никогда не станут скинхедами, это нам чуждо по крови и воспитанию.

И пусть здесь не так много симфонических концертов и театров, как в Европе. Ладно, я найду их себе при желании. Но есть здесь для меня нечто гораздо важнее хлеба и зрелищ.

Я играю в какие-то большие игры с этим местом. И только тут я могу в них играть с этими степями, холмами за последней грядой снежных гор. Чем-то здешний уклад глубин и поверхности соответствует укладу моей головы: от тонкой корки плодородного слоя серого вещества — до центральных структур ядра мозга.

Я застрял на Шелковом пути между трех миров — русским, западным и азиатским. Родился и вырос здесь. В Россию по новому призыву ехать поздно, и куда стариков-родителей потащишь?

Здесь моя родина, хоть и не отечество. Русский язык не стал государственным. Но и гимн не на нем я петь не хочу. Остается сидеть и писать хроники. Взлетевшие нефтяные цены, вздутые фьючерсы и накачка населения пустыми ипотечными деньгами так просто не пройдут. Уже лопнули первые крупные корпорации в США. Как утверждает известный международный спекулянт и миллиардер Дж. Сорос — кризис неизбежен. Но наш нефтяной воз еще долго потягуют «лебедь, рак да щука» — Россия, Штаты и Китай. Все трубы в разные стороны. Будет, о чем рассказать.

Детей жалко, но они повзрослеют и сами разберутся, прочитают умные книжки, а потом зашлю их куда-нибудь в университет в Европу. Английский, конечно, нужен, но дочке старшей, как ни странно, нравится еще и китайский. Они уже сами ищут свой путь на современных перекрестках. Нынче не по времени оставаться привязанным к одной точке. Человек вырос до размеров Земли.

Но как быть с ощущением стагнации и застоя — когда трудно дышать от вязкой азиатчины в воздухе, когда Европа объединяется, а у нас строят новые границы, когда любая мелкая сволочь в кабинете или на таможне глядит на тебя, ухмыляясь, и ждет взятки?

Может, принять все как есть и вслед за Пушкиным махнуть рукой:

Паситесь мирные народы...

Пусть идет все своим чередом. До новых глобальных потрясений? Чего шуметь, дразнить гусей, пока все тихо-мирно, тебя никто не трогает, и ты не трогай, жуй себе в стойле, как миллионы прочих.

Но почему-то не хочется быть быдлом. Хочется себя уважать и честно смотреть в глаза детям.

* * *

Новенькая горничная передала открытку — Турсунбек и Махаббат приглашают нас на свадьбу. С Бобом мы бы наверняка поехали, а с Юем — нет. Его начальство не отпустит и вдобавок он опять простыл и прихворнул к концу третьего месяца вахты.

Скромная девушка из аула трет пол, поглядывает на него, жалеет.

Он еще не запомнил ее имени, а уже научился произносить, старательно раскатывая «р» — «кр-р-расивая девушка».

Она стесняется, но его слова ей нравятся.

Спрашиваю:

— Если замуж предложит, пойдешь?

— А если он не пьет, как наши, — выжимая тряпку, рассудительно отвечает она, — о доме заботится, о детях, так и хорошо, пусть он хоть какой китаец. И лицом мы не так уж сильно отличаемся. Я б не отказалась.

У нее закончилась вахта, уехала домой и звонит ему по «сотке» — привет передает, желает, чтоб не болел, и спрашивает, когда он будет в городе? Хочет увидеться.

Женщине надо цвести и плодоносить, а кто ей в этом поможет, для природы, видимо, не такая уж большая разница.

В общем — как говаривал первый президент Советского Союза — «процесс пошел».

Но движется он явно в направлении конца моей переводческой карьеры, — девушка еще может выучить подушечный китайский, но технический в пятьдесят с лишним мне уже не одолеть.

Попробовать вернуться в журналистику? Вот пробую.

А вчера получил письмо от Боба — он опять в Казахстане в большой американской компании на Каспии. Есть вакансия, приглашает в штат.

Роман Сенчин

Сидя на московской кухне

Четырнадцатый год я живу в Москве. Наш дом не имеет двора: выходишь из подъезда и сразу попадаешь в суету города — буквально в нескольких шагах шумный проспект Андропова, магазинчики и киоски, станция метро. Каждую секунду нужно быть начеку, чтобы с кем-нибудь не столкнуться, не попасть под разворачивающуюся на узком пятачке перед мини-маркетом машину.

От того, чтобы не захлебнуться в городском круговороте, спасает близость Коломенского парка. Нельзя сказать, что я часто там бываю — то времени не хватает, то энергии дойти, погулять. Но когда выбираюсь, стремлюсь в овраг, разделяющий территории двух находящихся здесь когда-то деревень — Коломенского и Дьякова. На дне оврага бежит ручей, из труб льется ледяная вода. Рядом с трубами — поваленные столбики с табличками, предупреждающими, что пить эту воду опасно. Но люди набирают ее в бутылки, бидоны, канистры. Утверждают, что она целебная, чуть ли не чудодейственная. Частенько можно встретить омывающихся ею.

Есть в овраге два камня. По преданию, это голова и внутренности коня Георгия Победоносца. Если верить коломенским старожилам, часто дежурящим в овраге, бой Георгия со змеем произошел именно здесь, и змей, уже пронзенный копьем, сумел хвостом разрезать коня на куски. И вот эти куски окаменели, два из них частично выступают из земли.

На камень, действительно очень похожий на клубок кишок, ложатся страдающие бесплодием женщины. Считается, что камень помогает зачать ребенка. Деревца и кусты вокруг камня пестры от тряпичных ленточек. Эти красные, голубые, белые кусочки ткани напоминают мне тувинскую чаламу. В Туве тоже есть традиция украшать деревья и кусты вблизи священных мест цветными ленточками.

Это, говорят, языческая традиция, противная христианству, но я, если есть возможность, тоже привязываю на ветку или прут ленточку. И вспоминаю Туву — землю, где родился и жил до двадцати двух лет.

В последнее время вспоминаю все чаще. Даже тоскую. То ли серьезно устал от Москвы, то ли тянет к себе малая родина. (Многих, как я знаю, родившихся в Туве или хотя бы раз там побывавших, она к себе тянет.) И будто тяжелые, вымывающие силы волны, накатывают воспоминания. Тогда я послушно ложусь на диван и вспоминаю: гуляю в воображении по улицам Кызыла, столицы Тувы, сижу на берегу Енисея, бегаю по степи, готовлю удочку для рыбалки, собираю то черемуху, то конские яблоки для удобрения нашей дачки; смотрю «Сыщика» в напоминающем сарай кинотеатре «Пионер»...

Много с чем связана для меня Тува, но память удерживает не все, и этот край, по которому вроде бы изрядно поездил, который неплохо узнал, постепенно затуманивается, заслоняется другими впечатлениями, событиями, а в основном же — хламом мелких проблем, потоком никчемных, но необходимых дел. И поездки на родину на пять, семь, десять дней раз в несколько лет не делают Туву реальной, не способны разогнать туман. Ведь наложились на нее Питер, армейская служба в Карелии, Минусинск и село Восточное под Минусинском, Абакан, тринадцать лет в Москве, Берлин, Париж, Франкфурт, десятка два городов в России...

Но Тува то и дело всплывает в памяти, воображение рисует картинки то ли действительно бывшего, то ли придуманного, невольно нафантазированного мной.

И, чтобы попытаться отделить реальное от придуманного, я решил записать некоторые свои личные воспоминания, факты, вычитанные в книгах о Туве. Может быть, пригодится мне самому или окажется полезно тем, кто интересуется этим уголком на юге Сибири... Этот уголок — моя родина, от которой я отделен четырьмя тысячами километров, делами, обязанностями, так называемой ежедневной жизнью, которая держит крепче стальных клещей. А то ли мозгу, то ли душе не прикажешь — что-то там крутит и крутит некую пленку с неясными кадрами и требует навести резкость, замедлить скорость, нажать кое-где стоп-кадр и разглядеть детали.

По вечерам после работы и в выходные, отложив начатые повести о московских буднях московских людей, я сижу на кухне спиной к плите за маленьким письменным столом. На час-другой, а то и на день погружаюсь в свое детство, юность, в историю, которую когда-то отбросил, желая жить настоящим. Но без прошлого оказалось тяжело и пусто — необходимо иногда оглядываться.

1. За Саяны

Въезжаешь в Туву по Усинскому тракту, и создается впечатление, что как раз после пересечения вполне условной границы между Тувой и Красноярским краем наступает настоящая Азия и больше не будет тайги и вообще деревьев — почти сразу за стелой «Республика Тыва» начинается голая, до горизонта, степь. Лишь холмы, а может, огромные курганы, разнообразят пейзаж да вереницы до сих пор деревянных телеграфных столбов.

Степь открывается задолго до того, как в нее попадаешь. Автобусы, грузовики, легковушки долго спускаются с перевала Нолевка, петляя по крутым склонам, огибая ущелья, и то и дело далеко внизу, но и словно бы уходя в небо, из-за торчащих по обочинам дороги хилых лиственниц появляется вечно желтоватая, в дрожащем мареве, степь. Зимой марево морозное, густое, летом раскаленное, как испаряющееся масло, весной парное, живительное, осенью — липкое... Видимо, какие-то потоки сталкиваются в этом месте, и потому воздух всегда подвижный.

Глядя в окна медленно сползающего вниз автомобиля, кто-нибудь обязательно выдохнет: «Ну вот и Тува». И даже если прожил в Туве всю жизнь и ездил за Саяны на пару дней, поежишься, будто приближаешься к неведомой, таинственной стране, которая неизвестно как встретит, у которой, по существу, и названия нет. Когда-то, в царское время, называлась она Урянхайским краем, и точного перевода этому слову, «Урянхай», так и не нашли, да и последующим — «Тува», «Тыва» тоже нет.

Сложно сказать, к какой этнической группе относятся коренные жители — тувинцы. По языку вроде бы тюрки, а письменность имели старомонгольскую (в 1930 году была введена письменность, созданная советскими учеными на основе латиницы; в 1941 году латиницу сменила кириллица), по внешнему виду похожи на бурят и монголов, но есть среди них и те, кто напоминает финно-угров. Не исключено, что эти последние — потомки того огромного, полумифического народа, что населял до прихода русских всю Сибирь — чудь.

Старые названия тувинцев — «урянхи» («урянхайцы») и, особенно, «сойоты» — считаются оскорбительными. В сознании большинства людей это синонимы, но вот цитата из статьи «Сойоты» дореволюционного издания Словаря Брокгауза и Ефрона: «Имя С. присвоено главным образом двум племенам — сойотам и урянхам, или урянхайцам, к югу и зап. от которых живут более малочисленные племена — дархатов и сойонов. Присвоение названным племенам общей клички «С.», вероятно, явилось следствием того, что в некоторых местностях отдельные племена или колена сойотов и урянхайцев живут смешанно между собой. С. представляют, по-видимому, помесь финской расы с тюркской и говорят частью на наречии, близко подходящем к наречию самоедов, частью по-монгольски; их насчитывается приблизительно 8000 душ. Более многочисленно племя урянхов, считаясь принадлежащим к тюркской расе, говорит преимущественно на тюркском наречии».

Вообще тувинский народ, это потомки нескольких десятков племен, — Хертек, Иргит, Кужугет, Ондар, Салчак, Дархат, Оюн и т.д. (теперь это распространенные в Туве имена и фамилии), — пришедших в центр Саян с разных сторон... И земля эта, окруженная хребтами гор, тоже неизвестно чья исторически. В древности совершались в нее походы, объявлялась она владением то хунну, то уйгуров, то кыргызов, то татаро-монголов, то китайцев, то русских, но владение ею было скорее обременительно, чем выгодно, и на многих картах территория нынешней Тувы закрашивалась серым цветом — цветом ничейности...

Тувинцы — один из немногих народов Сибири, который не был обращен в православную веру в XVII—XX веках. Традиционной верой считается шаманизм; в XVII веке утвердился ламаизм, и на протяжении более чем трех веков обе религии прекрасно уживались на одной земле, дополняя друг друга. Русские переселенцы — и православные, и древлеправославные (староверы) — тоже не испытывали притеснений из-за своей веры. Но в эпоху социализма шаманизм и ламаизм были практически уничтожены (староверы уцелели, и православные имели свою церквушку на окраине Кызыла). И если в 70—80-е годы прошлого века ходили слухи, что в отдаленных районах есть шаманы, а в степи встречались оваа (ритуальные насыпи из камней), то ламаизм, казалось, совершенно стерся из народной памяти. Я был поражен, когда, придя в один из сентябрьских дней 1992 года на центральную площадь Кызыла, где ожидалось появление Далай-ламы XIV, увидел в многотысячной толпе, как мне представлялось, таких же любопытствующих, как и я, сотни обритых наголо юношей в буддийских нарядах. С той поры ламаизм стал возрождаться в Туве очень бурно. По крайней мере внешне...

С семидесятых годов позапрошлого века вслед за казаками, совершавшими за Саяны короткие разведывательные походы, и купцами сюда стали просачиваться староверы. Были они разных толков и согласий, шли из Тверской, Нижегородской, Пермской, Омской губерний, с Алтая, и все с одной целью — подальше спрятаться от государства, зажечь свободно, ни от кого не завися. Чтобы поддержать себя во время многомесячных тяжелейших, почти тайных путешествий, староверы рассказывали друг другу о Беловодье, что лежит за Китаем, в океане на семидесяти островах. Живет в Беловодье свой, древлеправославный патриарх, в церквах красоты необыкновенной служат свои священники... Мало кто добрался за Китай, Беловодья там не нашли, но и в Индонезии, и на Филиппинах до сих пор есть пусть крошечные, но все же общины староверов. А вот в Туве староверы сильны и многочисленны до сих пор. Целые поселки сохранились.

И когда спускаешься с перевала Нолевка и видишь впереди и внизу колышущуюся в мареве бесконечную степь, представляешь, какими глазами смотрели первые переселенцы туда, в эту даль. Тогда не было асфальтовой ленточки, не тянулись ряды телеграфных столбов, а за степью не стоял город Кызыл с гостиницами и магазинами, через быстрый Енисей еще не перекинули мост. А были тогда неизвестность и надежда на свободу...

Сейчас от поселка Шивилиг, что находится на границе Тувы и Красноярского края, на кромке тайги и степи, до Кызыла легковая машина долетает часа за полтора. Дорога по-своему, на любителя, живописна. Сначала — степь, холмистая, почти голая, лишь в низинках, где когда-то, наверное, текли речки, — крошечные тополевые колки; на горизонте — цепи разноцветных, как на картинах Рериха, гор... Когда-то, лет двадцать назад, степь пахали, засевали пшеницей, овсом, которые, правда, не вызревали, шли на корм скоту; бывало, засевали подсолнухами, и в июле степь была очень красива от желтых огромных цветов. Теперь же — ковыль, колючки, перекасти-поле...

Постепенно с северо-восточной стороны к дороге подступают Саяны, и вместе с ними возвращается тайга. Здесь находятся два села — Туран (правда, формально он город) и Уюк. Основали их русские переселенцы в конце девятнадцатого века, но теперь живут по большей части тувинцы. Дома скучноватые, белёные, огороды бедные, и трудно поверить цифрам, судя по которым население сто лет назад было богатое, земли давали тысячи пудов зерна, в степи паслись огромные стада быков.

Сегодня Туран с Уюком — захудалые населенные пункты. Но все равно они радуют глаз, как радуют в пустыне усталого путника несколько пальм...

Правда, не всегда эта степь была пустыней. Летом 2000 года я случайно оказался в Туране как раз в тот момент, когда питерские археологи начали раскапывать неподалеку курган, позже получивший название Аржаан-2. В верхнем слое обнаружили осколок, видимо, огромной плиты с рисунками, неизвестными науке письменами. Гадали, откуда этот осколок попал сюда, или, может быть, это след местной, почти бесследно исчезнувшей цивилизации?..

На следующий год археологи раскопали могилу, в которой лежали скелеты мужчины и женщины, усеянные золотыми изделиями (в общей сложности около двадцати килограммов). Время захоронения датировано VII веком до нашей эры, но кто именно был захоронен, к какому народу принадлежали «вождь» и его спутница в загробный мир — неизвестно.

Вообще в степи, вокруг поселочка Аржаан (с тувинского — «родник»), что километрах в тридцати от Турана, находится целое кладбище скифского времени (термин «скифское время» многие считают более чем условным) — некоторые курганы достигают ста метров в диаметре и двадцати метров в высоту. Раскопки этих курганов (правда, редкие) приносят открытия мирового значения. Но ответить на вопрос, существовали ли в этой степи поселения, где изготавливались золотые украшения, бронзовое оружие, тонкой работы статуэтки, высекались на каменных плитах замысловатые рисунки и писались нерасшифрованные тексты, или же все это откуда-то привозилось специально для похорон царей и вождей в этих безлюдных, непригодных для жизни местах (и откуда привозилось? где в то время могли делать столь искусные украшения, оружие?), ученые пока не могут. Главный аргумент в защиту того, что жить здесь нельзя — отсутствие пресной воды. Даже в артезианских скважинах — вода соленая (нынче для небольшого населения Аржаана ее привозят), но не так давно обнаружили колодец, где, видимо, брали воду пресную... (Символично, что одно из сел в этой степи называется «Суш», хотя вряд ли оно названо в честь суши, царящей здесь.)

Но вернемся на Усинский тракт.

О дороге, которая бы связала Российскую империю и Урянхайский край, в Енисейском генерал-губернаторстве задумались в 1906 году. Строительство тракта началось в 1910-м, первые обозы прошли через четыре года, но лишь в 1937-м Усинский тракт стал более-менее проходимым для грузовиков.

С тех пор дорогу периодически изменяют — спрямляют петли, огибаяют крутые перевалы. Теперь почти не осталось дорожных станций, исчезли и поселки, заезжки, возникшие рядом с этими станциями. И лишь у старых шоферов приятно екает в груди, когда они слышат названия — Кулумыс, Оленья Речка, Буйба, Иджим, Пограничное, Тещин Язык, Тайга, Веселый. Но мало кто жалеет об их исчезновении — трасса стала легче, удобнее.

Река Ус, которая и дала название тракту, — вдоль нее раньше была протянута внушительная часть дороги, мостов пятнадцать через Ус было построено, — теперь лишь в двух-трех местах посверкивает кипящей от течения водой за придорожными кустами и уходит в сторону. Точнее, в сторону уходит дорога — нет теперь надобности следовать извилистому руслу реки: современная техника может скрыть какие угодно горы, сгладить перевалы...

Выезжающие часов в десять утра из Абакана легковушки к пяти вечера прибывают в Кызыл. А если гнать, и за четыре с небольшим часа долететь возможно.

Километров за двадцать до Кызыла поднимаются последние, поросшие жидкими лиственницами гребни гор, а дальше спуск и снова — степь.

Кызыл виден издали — расплывчатое пятно зданий и зеленые островки сквериков вдоль синей ленты Енисея. А вокруг желтоватое, выжаренное солнцем пространство, окруженное ободком гор. На юге горы далеко-далеко, и почти неотличимы от облаков, на востоке и западе (Усинский тракт подходит с севера) ближе... Летом пейзаж красив, небо огромно, глубоко, но зимой картина другая. Здесь, на подъезде к городу, как обычно бывает в горах, солнечно, ясно, внизу же — серый туман. Копоть там, в котловине, ядовитый смог.

Была копоть и тогда, когда Кызыл представлял из себя несколько десятков домишек — климат такой: зимой в котловине затишье, и весь дым скапливается, висит в воздухе. Часто бывает хиус, от которого больно дышать, но копоть он никуда не уносит, лишь колеблет ее своими ледяными потоками.

Если расколоть слежавшийся сугроб в Кызыле, он окажется похожим на слойный торт. Темно-серый, почти черный слой — насыпавшаяся сажа, затем слой белый — выпавший снег, потом опять темно-серый, потом — белый... Снега за зиму выпадает немного, зато морозы крепкие, минус сорок не редкость. И по утрам многие школьники замирают возле радио, ожидая услышать объявление диктора, что сегодня из-за мороза занятия в школах отменяются.

В конце апреля — начале мая город обязательно продувают ветры, и не простые, а такие, что валят тополя, срывают шифер с крыш. А после них начинается жаркое, выжигающее все живое лето. Люди стараются поменьше бывать на солнце, некоренные в котловине растения нуждаются в частом поливе, даже елочки, сосны. Коренные здесь — ковыль да полынь, перекати-поле, акация, тополя и тальник на берегах Енисея...

С одной стороны, место, на котором решили строить Кызыл (первоначально — Белоцарск), удобно, живописно. Где еще быть городу, как не рядом со слиянием двух больших рек — Бий-Хема и Ка-Хема, которые образуют Улуг-Хем (Великая река), более известный как Энэсай (Мать-река) — Енисей. Но, с другой стороны, климат суровый, что называется резко-континентальный. Недаром котловина, куда пришли в начале XX века русские чиновники, врачи, учителя, солдаты, была почти необитаемой. Лишь несколько юрт кочевников да торговая лавка купца Георгия Сафьянова, стоявшая на том самом месте, где в 1914-м стали строить первый за Саянами город.

Город был основан вскоре после того, как российские министры решили, что край этот выгоден России, и подготовили документы, а император Николай Второй во время отдыха в ласковой Ливадии, черкнул на указе о протекторате России над неведомым Урянхайским краем слово «Согласен». Генерал-губернатор Восточной Сибири Князев, узнав о протекторате, схватился за голову: зачем?!

2. Тува и Россия

Русскую столицу Урянхая называли красиво — Белоцарск. Правда, под таким названием городок просуществовал недолго — вслед за Россией в Урянхайском крае разгорелась гражданская война, побывали здесь колчаковцы и армия красных партизан; местные красногвардейцы боролись с феодалами и купцами; в ноябре 1921 года на территорию только что образованной Тувинской Народной Республики (ТНР) вторглась из Монголии, держа путь на Иркутск, армия генерала Бакича, которая почти вся погибла на берегу речки Элегест, неподалеку от Белоцарска.

Менялась власть в Урянхайском крае, менялось и название ее столицы. То становилась она Хем-Белдиром, то Красным Городком. В итоге в конце 1925 года утвердили название — Кызыл, что в переводе с тюркского означает «Красный».

Довольно долгое время неясен был статус Урянхайского края — ТНР. Одни высказывались за то, что земля эта должна стать частью России, другие за присоединение ее к Монголии и даже Китаю, третьи выступали за независимость, четвертые предлагали объединить Бурятию, Монголию и Туву и в будущем включить это образование в СССР на правах автономной республики. Тянулась неопределенность до конца 1927 года, когда в Китае произошел чанкайшистский переворот и над независимой Монголией нависла угроза китайской оккупации. СССР выступил за сохранение двух отдельных государств — Тувинской и Монгольской народных республик; их независимость контролировал Коминтерн.

Мне долго было непонятно юридическое положение русского населения Тувы с 1920-х до 1944 года. Русские жили в суверенном государстве, но являлись гражданами СССР, во время Великой Отечественной войны мужчин призывали на фронт (тувинцы же шли на фронт добровольно, и сейчас жива последняя из тех добровольцев — старуха-чабанка). В вышедшей в 1964 году «Истории Тувы» (издательство «Наука») о

периоде ТНР было написано скуповато, а о русском населении ТНР и вовсе почти не упоминалось... Отчасти ответ я нашел в книге Нелли Москаленко «Этнополитическая история Тувы в XX веке» (то же издательство «Наука», 2004 год).

На учредительном хурале (съезде) 1921 года, где обсуждался вопрос о самоопределении тувинского народа, поднималась проблема статуса русского населения, которое в то время составляло около 12 тысяч человек. «Съезд признал право русского населения объединиться в Советскую автономную колонию, живущую по Конституции Советской России. На первом съезде жителей колонии (февраль 1922 г.) было разработано положение о местном самоуправлении. 13 июля 1922 г. советское правительство официально утвердило положение о самоуправлении русского населения. Русская самоуправляющаяся трудовая колония (РСТК) функционировала на основе Конституции Советской России и Конституции ТНР».

В последующие годы автономию колонии постепенно сокращали и тувинские, и советские власти. Не раз возникали конфликты между РСТК и правительством ТНР. «1927 г. стал переломным в истории РСТК, — пишет Нелли Москаленко. — В ведение государственных органов ТНР передавались торговые и промышленные предприятия, подконтрольные РСТК, а затем были ограничены и функции в области финансового управления, прежде всего сбор налогов, а также в сфере судопроизводства».

«24 мая 1932 г. между правительствами СССР и ТНР было подписано соглашение, по которому РСТК преобразовывалась в Комитеты советских граждан. В отличие от РСТК они получили право заниматься лишь культурно-просветительской работой среди русского населения, включая систему народного образования, клубную деятельность и т.п. <...> Русские школы в Туве находились в ведении Наркомпроса РСФСР, который посылал туда учебные пособия и программы. Они не отличались от программ и учебных пособий, использовавшихся в школах РСФСР».

В 1942 году Комитеты советских граждан были ликвидированы, «русских законодательно приравнивали к тувинским гражданам, а культурно-просветительская работа подчинена соответствующим тувинским правительственным органам и их администрации на местах». А в октябре 1944 года ТНР стала автономной областью в составе СССР... Интересно было бы подробнее узнать, как жили русские в эти неполные три года, например, забирали ли парней, достигших в это время призывного возраста, на войну...

Впрочем, вернусь немного назад.

Да, формально Тува была независимой, на картах мира 1920-х — начала 1940-х годов крошечный Кызыл обозначался столь же большим кружком, как и Москва, Берлин, Париж, Рим. На деле же республика напрямую и почти во всем зависела от Советского Союза. СССР давал Туве солидные кредиты, а потом списывал их, держал в республике войска, решал вопросы Тувы на международной арене. Посольств в зарубежных странах Тува не имела, кроме представительств в Москве и Улан-Баторе. С Монголией, кстати сказать, отношения складывались непросто — между молодыми государствами шел спор о границе, их лидеры — монгольский Чойбалсан и тувинский Тока — даже обменивались прямыми оскорблениями и пощечинами при встречах. Георгий Жуков, будущий прославленный полководец, а в 1939—1940 годах командир советских войск в Монголии, их разнимал.

В политической и экономической жизни ТНР происходили те же процессы, что и в СССР. И чистка партии в конце 1920-х, и коллективизация, и борьба с религией, и процессы над врагами народа, и борьба с нацистской Германией, и борьба с космополитами... Космополитов, правда, искали и карали уже после вхождения Тувы в состав СССР.

Произошло присоединение в дни, когда Красная Армия катилась к границам Германии и победа в Великой Отечественной была делом решенным. А на Востоке, вблизи границ СССР, в это время было тревожно — помимо того, что Китай воевал с Японией и война эта в любой момент могла переклестнуться на территорию советского Дальнего Востока, еще и между двумя социалистическими государствами росла напряженность — ТНР и МНР были готовы к открытому конфликту. И та, и другая сторона просили помощи в разрешении вопроса о границе у «старшего брата». Глава Тувинской республики Салчак Тока не раз ездил в Москву, встречался с Молотовым,

Калининым, Кагановичем, Маленковым и предлагал официально присоединить его государство к Советскому Союзу. «У тувинского народа, — говорил он, — нет другой жизни, как в составе СССР».

В разгар войны вопрос этот откладывался, а осенью сорок четвертого, видимо, созрели условия.

Много позже, в перестройку, начались разговоры, что это присоединение устроил Сталин, чтобы расширить свою империю; что присоединение было оформлено с нарушением правовых норм; что от лица тувинского народа действовала группа людей... Может, все это справедливо. Но, к примеру, нужно посмотреть на то, как снизилась помощь Туве Советским Союзом во время войны, и, скорее всего, учитывая человеческие и экономические потери, помощь эта вряд ли вскоре после победы возобновилась бы на довоенном уровне. Роль именно Сталина в процессе присоединения в открытых документах вообще не просматривается, а Молотов с Калининым, судя по всему, не были в восторге от настойчивых предложений Салчака Токи. Калинин даже завуалированно предостерег: «Вступление в СССР должно привести к улучшению положения трудящихся, а не к ухудшению».

Неизвестно, как бы развивалась Тува, останься она независимой. Может, процветала бы, превратившись в один из мировых центров туризма (природа создала для этого все условия — на территории, равной Греции, есть и тундра с карликовыми березами и пихтами, и песчаные пустыни с барханами и верблюдами; в изобилии горные реки, соленые озера с целебными грязями, радоновые источники; имеются северные олени, нечто очень напоминающее джунгли, возвышаются горы, притягивающие альпинистов). А может быть, была бы Тува одним из тех государств, о которых ничего не слышно, где, кажется, ничего не происходит, где почти никто не бывает — немало таких в Азии, Африке...

Но так или иначе, а Тува стала составной частью Советского Союза — была включена в РСФСР в ранге автономной области. В шестьдесят первом году ее «повысили» до автономной республики.

В восьмидесятые она была довольно-таки благополучным регионом. Кызыл приобрел вид действительно города — чистый, благоустроенный, нарядный, зеленый, застроенный в основном пятиэтажными домами (в середине восьмидесятых начали возводить и девятиэтажки, несмотря на сейсмическую опасность), с парком культуры и отдыха, кинотеатрами, кафе, стадионами, универмагами... Остальные города Тувы — Туран, Ак-Довурак, Шагонар, Чадан — напоминали скорее поселки городского типа, но ощущения затхлости, скуки, какое часто производят российские райцентры, в них не возникало.

С конца 1940-х в Туве стала активно развиваться промышленность. Потребовались специалисты. Русские (а в разряд русских попадали представители многих национальностей — от собственно русских и украинцев до армян и грузин) охотно ехали в республику — здесь быстрее двигались по служебной лестнице, легче было получить квартиру, зарплата была выше, чем во многих других местах в стране, да и романтиков среди переселенцев хватало, для которых Тува оказалась неизвестным, «молодым», а потому благодатным для приложения своих сил краем.

Через тридцать-сорок лет многие приезжие и их дети спешно стали выезжать обратно «в Россию». Трясло тогда весь разваливающийся Союз, но Туву, подобно Прибалтике, Молдавии, Северному Кавказу, особенно. До военных действий не дошло, но и нескольких убийств, угроз, высказываний тогдашнего лидера Народного фронта Тувы Бичелдея, что Тува не исключает выхода из СССР, а затем Российской Федерации (что в октябре 1993 года было подтверждено в первой же статье Конституции Республики Тува), хватило, чтобы русские собрали вещи и поспешили прочь. Не все, но очень многие.

«Что нам ждать, когда нас прихлопнут в этом мешке?» — говорили уезжающие. Опасения были небезосновательны: Тува связана с остальной Россией воздушным сообщением (нестабильным из-за финансовых проблем) и двумя узенькими автодорогами — Усинским трактом (Кызыл — Минусинск — Абакан) и Абазинским (Ак-Довурак — Абаза — Абакан), которые легко перерезать. Железной дороги в Туву нет. Сплав по Енисею в сторону Красноярска — дело из разряда фантастических...

Точных данных, сколько выехало из республики в девяностом — девяносто третьем годах (период наибольшей напряженности), да и позже, нет. Может, и есть, но их не афишируют. Больше внимание в последние годы уделяют тому, что русские в Туву прибывают. Была, к примеру, в 2002-м шестьдесят одна с половиной тысяча, а в 2004-м уже около ста тысяч (по данным из книги Сергея Маркуса «Тува: словарь культуры»).

Трудно поверить. Скорее всего, русское население убывает. Достаточно спросить нескольких человек, бывавших в Туве, скажем, в восемьдесят девятом, девяносто третьем и в две тысячи третьем, когда русских в республике было больше. Уверен, ответят, что в восемьдесят девятом было больше, чем в девяносто третьем, а в девяносто третьем больше, чем в две тысячи третьем.

Точно знаю лишь об одной волне приехавших в Туву русских после девяностого года, и приехавших не откуда-нибудь, а из США.

Это — около ста семей староверов часовенного согласия. Поселились они возле озера Азас и в верховье Малого Енисея, где с 80-х годов XIX века находятся поселки их единоверцев (впрочем, есть и представители других толков) — Знаменка, Бояровка, Ильинка, Бельбей; позже, еще выше по течению, в труднодоступных местах возникли Сизим, Эржей, Ужеп, Шивей, а в окрестных горах скиты и монастыри...

3. Верховье

До установления протектората жилось староверам в Урянхайском крае более или менее вольно. Казалось, нашли они если и не свое Беловодье, то тихий угол на земле, где можно блюсти истинную веру. Угол этот, в верхнем течении Малого Енисея, называли Верховьем.

Но затем, когда появились в крае царские чиновники, укрепилась православная церковь, «мир» все сильнее вмешивался в жизнь староверов. Молодых забирали на войну с Германией, но большинство из них или бежало в тайгу, становилось монахами, или дезертировало по дороге на фронт.

В годы гражданской войны староверы в большинстве своем заняли сторону белых. Точнее, не за белых они были, а против красных с их новыми порядками. Много тогда погибло смелых мужиков, но еще больше женщин и детей покончило с собой — решив, что настало царство антихриста, люди уходили в горы замирать голодом, замерзали на снегу или в землянках, сжигали себя, бросались целыми семьями в полыньи. Нередко случалось так, что умирали дети (а в семьях было по пять—семь детей), а выжившие родители бродили потом десятилетиями из скита в скит, молились до иступления, постились, лили слезы... Десятки таких рассказов есть в книге (советской по духу, но исполненной сочувствия и даже симпатии к староверам) кызылского писателя Анатолия Емельянова «От мира не уйти», вышедшей в Тувинском книжном издательстве в конце 1970 — начале 1980-х несколькими изданиями.

Пассивное, а иногда активное сопротивление советской власти в Верховье продолжалось до падения самой советской власти. Хотя и ту крепкую однородность, какая была в общине в начале XX века, староверам сохранить не удалось. С другой стороны, сложно сказать, была ли когда-нибудь такая крепость на самом деле...

(Меня поразило, что подавляющее большинство староверов Верховья было неграмотным, что противоречит мнению о староверах, как о людях образованных. Грамотой владели единицы — наставники. Они выбирали ребенка и обучали его чтению и письму, держа при себе годами. Содержание священных книг и пророчества передавались членам общины устно, нередко в искаженном виде.)

Лет в двенадцать я прочитал «Житие» протопопы Аввакума и заинтересовался церковным расколом. Даже негодовал, что навязанные народу силой, грубо введенные обряды до сих пор исполняются в церкви, считаются каноническими... Я искал материалы о расколе, старался лучше понять его суть, и очень скоро эти поиски вывели меня на жизнь последователей Аввакума. Я узнал, что староверы делятся на поповцев и беспоповцев, а те и другие, в свою очередь, на множество толков и

согласий. В итоге, как я понял, чуть ли не каждая семья верит в Бога, а вернее, пытается спастись, по-своему. Кто-то признает деньги, а кто-то нет, есть признающие брак, а есть не признающие, кто-то может взять воду из мирского колодца, а кто-то скорее умрет от жажды, одни признают таинство крещения, а другие крестят себя сами, одни считают часы бесовским изобретением, однако среди них есть те, кто пользуется часами, но лишь теми, где нет ни одной металлической детали... Фанатизм доводил людей до невероятных мучений, и в то же время никто из них не сумел совершенно не поддаться искушению сношения с миром, его влиянию. Даже семья Лыковых, полвека прожившая изолированно в верховьях реки Абакан, выращивала картошку и принимала помощь геологов.

Лыковых открыл советским людям журналист Василий Песков в начале 1980-х. Тогда он напечатал в «Комсомольской правде» серию очерков о жизни Лыковых «Таежный тупик». Оказалось, что в конце 1920-х годов Карп Лыков с женой и маленьким ребенком ушли из скита еще глубже в тайгу, построили избушку, расчистили делянку под огород. Там, в тайге, у Лыковых родились еще несколько детей, большинство из которых выросли и умерли, не увидев других зданий, кроме своих низеньких избушек, не узнав, что за пределами их тайги есть огромный и разный мир...

Эти очерки мой отец читал вслух в нашей уютной трехкомнатной квартире в центре Кызыла. Помню, как по спине у меня пробежали ледяные мурашки ужаса и любопытства. Хотелось оказаться на месте Пескова, увидеть самому эту первобытную жизнь, поговорить с людьми из прошлого времени. И даже хотелось стать таким же, как Лыковы, — вот так же охотиться на медведей, вволю ловить рыбу на горных речках, по вечерам читать древние книги. Ни школы нет, ни хулиганов, ни всей этой городской тяжести...

Лишь недавно, перечитав «Таежный тупик» (в подъезде московского дома, где живу теперь, нашел тонкую книжечку среди других, предназначенных в макулатуру), я понял, какое преступление Карп Лыков совершил по отношению к своей семье. Уморил жену, не женил сыновей, не выдал дочерей замуж, всех их пережил (кроме самой младшей, Агафьи) и в итоге, состарившись, обессилев, сдался миру. Стал принимать помощь, подарки от охотников, геологов, журналистов. А жена и дети, не справившись с голодом, болезнями, тоской по другим людям, лежат в могилах.

Особенно меня потрясла такая деталь — Лыков держал дочерей и сыновей за несколько километров друг от друга, объединяя семью лишь по праздникам. Наверняка боялся кровосмешения. И невозможно представить, как парни лет двадцати, физически крепкие, обходились без женщин. И ведь догадывались, что есть где-то люди, и когда столкнулись с геологами, не бросились прочь или же на них с ножами, а были спокойны. Лишь обменялись братья между собой замечаниями: «Гляди, девка в штанах». Среди геологов была женщина.

Семей, подобных Лыковым, в верховье Малого Енисея, да и в тайге Тувы наверняка было немало. Может быть, и не жили десятилетиями совершенно изолированно (впрочем, не исключено, что были такие), но мучения принимали не меньшие. Ютились в щелях и ямах, изводили себя постами, еду употребляли лишь ту, что приносили им монахи, а при появлении чоновцев, милиционеров, сельсоветовцев шли замерзать, бросались в полыньи, самосжигались. (Мой дед, Семен Степанович Шмелев, в 40—60-е шоферивший на Усинском тракте, рассказывал о живущих в ямах неподалеку от тракта мужиках-отшельниках; но кто это был — староверы или власовцы, — трудно было определить, да и рискованно выпрашивать: многие маскировались под староверов.)

С конца сороковых годов случаи самоубийств почти прекратились. Впрочем, и давление на староверов поослабло. В колхозы и совхозы их не сгоняли (хотя формально объединяли в некие хозяйства), голосовать на выборах не принуждали. Даже детей насильно в школы и интернаты не тащили. Больше убеждали, но мягко — уговаривали, скорее... Да и сами староверы к середине прошлого века утеряли свою каменную крепость. Кто-то из самых крепких погиб во время гражданской войны, кого-то сослали или приговорили к высшей мере, кто-то покончил с собой. От мира прятались, уходили в монахи люди в основном пожилые, доживающие свой век. А более молодые пользовались благами цивилизации почти наравне с мирскими. По-

няли, что мотор на лодке — это удобно и полезно, автомобиль и мотоцикл тоже нелишние механизмы, и электричество не мешает, и с радио повеселей...

В общем-то «расейские» староверы это давно поняли, недаром именно из их среды вышло столько миллионеров, меценатов, коллекционеров. Староверы Верховья стали проявлять любовь к земной жизни много позже. Сегодня сложно отличить староверский поселок от другого таежного поселения: если лет двадцать назад можно было целый день ходить по Эржею или Сизиму и не встретить ни одного местного жителя — все сидели в темных, крытых корой избушках, боясь встретиться с мирскими, — то теперь в Эржее, к примеру, проводятся фестивали старообрядческой культуры, неподалеку от поселков и скитов находятся туристические базы, часто принадлежащие староверам; в последние годы в Верховье часто бывают высокопоставленные чиновники, деятели культуры, которых встречают довольно гостеприимно...

Ужеп — самый дальний в Верховье поселок. Выше по течению Малого Енисея лишь скиты. По рассказам, где-то там до сих пор живут те, кто соблюдает древнее благочестие, но, скорее всего, это уже просто сказки — обмирщающимся староверам хочется верить, что есть праведники. А может, и правда: тайгу даже при помощи вертолета не разглядеть, а скиты строят там так, что, даже пройдя от них в нескольких шагах, не заметишь: так, кочки какие-то, а оказывается, под этими кочками кельи, где обитают десятки людей.

Добираются до Верховья и по воде, и вертолетами, и на автомобилях. По воде легче всего... Когда-то в Кызыле была целая флотилия теплоходов «Заря» — небольших, но мощных, напоминающих формой катера. Эти теплоходы способны бороться с енисейским течением, преодолевать пороги. Теперь на ходу два теплохода, принадлежат они частным предпринимателям, и уже несколько лет в правительстве Тувы идут споры, давать ли субсидии коммерсантам, осуществляющим пассажирские перевозки, или не давать. Билеты на «Зарю» стоят недешево, но перевозка пассажиров все равно убыточна. Многим кызылчанам навестить родню в Верховье или, наоборот, верховьевцам побывать в столице республики не по карману...

«Заря» отчаливает от пристани в Кызыле (рядом — обелиск «Центр Азии») и медленно, надривно гудя, начинает ползти вверх по течению. Налево — Большой Енисей, направо — Малый. У обоих рек течение бешеное — этакие горные потоки, но широкие, с глубинами, позволяющими проводить по ним теплоходы, баржи.

Цель большинства отправляющихся вверх по Большому Енисею — Тоджа. Там удивительный микроклимат. Вокруг озера Азас буйная, разнообразная растительность, пестреют цветы, многие из которых занесены в Красную книгу; озеро богато рыбой, можно поймать даже тайменя килограммов на тридцать. Едут за брусникой, особенно крупной здесь, просто полюбоваться природой... В Тоджинской котловине обитают северные олени, как утверждают местные жители, самые крупные в мире.

Традиционное жилище тоджинских тувинцев не юрта, а чум, как у большинства народов Крайнего Севера...

Кстати сказать, с середины XVII до начала XVIII века Тоджа фактически входила в состав Российского государства под названием Саянской земли. Правда, вхождение это ограничивалось тем, что жители Тоджи вносили ясак в Красноярский острог...

Те, кто плывут вверх по Малому Енисею, в основном хотят увидеть староверские поселки. «Заря» причаливает сначала в Сарыг-Сепе (в прошлом — Знаменка), районном центре, затем берет курс на Эржей, который благодаря пристани, частым приездам сюда туристов, делегаций стал столицей Верховья.

Но чтобы узнать более первозданную жизнь староверов, нужно пробраться дальше — в Ужеп, в скиты, на заимки. «Заре» туда уже не пройти — много порогов и мелей, река узкая, с течением уже не справиться. Люди пользуются моторными лодками, на которые часто ставят по два мотора, или идут горными тропами... Раньше доставка грузов в скиты производилась только зимой, когда Енисей замерзал. Но при таком течении лед редко становится надежно толстым и лошади с санями, люди проваливались. Вода тут же уносила их вниз. Страшная, но, наверное, быстрая смерть. И потому раньше староверы часто кончали с собой, бросаясь в полыньи.

Едут к истокам Малого Енисея и туристы-экстремалы со своими байдарками, альпинисты, охотники.

Если сидишь в каюте «Зари» (она, правда, больше напоминает салон самолета — одно помещение с рядами кресел), уткнувшись в книгу или дремля, то путь в Тоджу или Эржей покажется долгим и нудным. Лучше любоваться окружающими пейзажами. Скалы чередуются с клочками подобравшейся к берегу степи, часто к самой воде спускается тайга. Иногда среди стволов лиственниц можно увидеть палатки туристов и рыбаков — «Заря» способна причаливать к заранее не подготовленному берегу, главное, чтобы глубина позволяла, поэтому желающие отдохнуть среди дикой природы покупают билет примерно до такого-то километра, и «Заря» высаживает их в приглянувшемся месте.

Чем выше по течению, тем больше скал и гор. Порой Енисей мчится по узенькому коридору, зажатому багровыми каменными стенами. Теплоход кажется крошечным, хрупким, вода треплет и трясет его, подкидывает, тянет воронками и бурунами на дно. Девушки повизгивают...

До Верховья можно добраться на вертолете, но это транспорт избранных, и на автомобиле. Путь от Кызыла сравнительно недолгий для такой местности — раньше часов пять, а сейчас, после постройки моста на месте паромной переправы, на час-полтора меньше... Сначала по асфальтовой дороге доезжают до Сарыг-Сепа, а оттуда уже грунтовой, проселками держат путь в Сизим. Почти напротив Сизима, на другом берегу реки, — Эржей. Можно проехать и выше по течению, — дорога переходит с одного берега на другой (выручают паромы), — но до Ужепа, последнего большого поселения в Верховье, на машине не добраться. Только лодками или тропами.

4. Личное

Что-то я увлекся историей, слишком погрузился в общие описания. А какие мои личные воспоминания о Туве? Что меня с ней связывает?..

Как и большинство русских людей, я почти ничего не знаю о своих предках, даже о бабушках и дедушках мне известно очень мало. Да и ничего удивительного в этом нет. Мало кто в советское время рассказывал детям о прошлом своего рода, о судьбах родных — могли привести такие воспоминания к неприятным последствиям (в 1970-е — к неприятным, а раньше, может быть, и к трагическим).

Знаю, что мой отец родился в Красноярске в 1944 году. Его мать, моя бабушка, Наталья Семеновна, в девичестве Дрянных (из-за фамилии ее брата-фронтовика не хотели принимать в партию), уроженка села Суханово Сухобузимского района Красноярского края, работала в годы войны в одном из красноярских госпиталей медсестрой. Там она познакомилась с тяжелораненым (сквозное ранение груди) Петром Платоновичем Сенчиным. Они поженились, у них родилось двое сыновей, мой отец, Валерий, и мой дядя, Геннадий. Дед построил дом в Красноярске, в районе Покровка, там, где стоит на высоком яру символизирующая город часовня. Дед Петр умер от раны в 1955 году, когда моему отцу было всего одиннадцать лет.

Бабу Наташу я помню, родители привозили нас с сестрой Катей в Красноярск; она жила в том же домике, у нее был муж, тогда в моем детском представлении, мой родной дед — дед Коля. Бабушка умерла в начале 80-х, с той поры на Покровке я не был (хотя в Красноярске время от времени оказывался) и лишь прошлым летом, по пути в аэропорт, увидел в окно автобуса часовню на яру, длинные лестницы к ней, речку Качу у подножия яра, в которой мой отец лет пятьдесят назад ловил пескарей, и не из удовольствия, а для прокорма...

Дед Петр, родом из Нальчика (или, скорее всего, из одной из станиц возле этого города), попал в один из красноярских госпиталей, которые были самыми восточными пунктами медицинской эвакуации. Сюда направляли безнадежных, непригодных для дальнейшей службы бойцов. Многие умирали от осложнений ранений — дорога сюда была долгой, во время войны неделю и больше, но многие и выживали, вставляли на ноги, казалось, вопреки всему... Когда я прочитал в биографии священника-

хирурга Войно-Ясенецкого, какие чудеса он творил в Красноярске в 1941—43 годах, мне захотелось верить, что этот замечательный человек спас и моего деда.

Отец с детства занимался вольной борьбой, побеждал на соревнованиях, но после травмы вынужден был уйти из спорта. Работал на комбайновом заводе, во время службы в армии (служил в Польше) участвовал в театральной студии. Режиссером там была Людмила Бузина, которую позже пригласили в Тувинский драматический театр. Собирая труппу, она вспомнила о моем отце, нашла его, уговорила переехать в Кызыл. В Кызыле отец встретил мою маму, актрису того же театра. Они поженились, некоторое время работали в Минусинском театре, потом вернулись в Кызыл. Мама еще некоторое время служила актрисой, а отец устроился монтажником на строящуюся под Кызылом ТЭЦ, которая теперь обогревает Кызыл и поселок Каа-Хем...

С Тувой по рождению связана моя другая бабушка — мамина мама — Валентина Мартемьяновна. Она родилась в 1922 году в русском селе Верхне-Никольском (ныне — Бай-Хаак), знала немного тувинский язык и иногда им пользовалась.

(Кстати сказать, русские поселения в Урянхайском крае образовывали почти правильный круг: на севере Туран и Уюк, на северо-востоке деревни и заимки в районе Тоджи, на востоке Верховье, на юге Владимировка, Кураны, на юго-западе Сосновка, Верхне-Никольское, Атамановка, на западе — торговые фактории в районе нынешнего города Шагонар и на реке Хемчик. Почти в центре этого круга в 1914 году был заложен город Белоцарск.)

Точно не знаю, когда родители моей бабушки приехали в Урянхай. В 1993 году мы поселились в селе Восточном на юге Красноярского края, и мама вспомнила, что ее бабушка, баба Катя (Екатерина Михайловна Медведева), рассказывала, что она в юности жила в «Востошном» и по всем приметам это было как раз то Восточное. Может, родители бабушки решили перебраться за Саяны в новые земли или муж увез...

Муж ее, мой прадед, Мартемьян Васильевич Шаталов, был из Тобольской губернии, родился в 1883 году. Он считался грамотным человеком — окончил четыре класса церковно-приходской школы.

Моя мама родилась в 1943 году в Красноярском крае, в селе Викторовск Северо-Енисейского района. Там в то время жили ее родители... До войны бабушка Валя была замужем, но потом развелась, вышла за другого — Павла Васильевича Червошенко, родом из Новосибирской области, продавца, из-за травмы глаза не попавшего на фронт. Он обучил бабушку торговле, увез из Тувы куда-то на золотые прииски. Бабушка много рассказывала мне о лагерях, врачах-вредителях, пленных японцах, десятками умиравших от холода и плохого питания... Да, много чего рассказывала, но почти все забылось, смешалось с прочитанным позже...

В конце сороковых бабушка, дед и их дочери Валентина и Галина вернулись в Туву. Бабушка с дедушкой разошлись. (Позже баба Валя вышла замуж за Семена Степановича Шмелева, уроженца Минусинска, шофера.)

Бабушка работала продавщицей в разных селах республики. Есть фотокарточки, где она за прилавком или возле магазина. Интересны надписи. Вот бабушка показывает ткань покупателям; на стене портрет Ленина, а ниже табличка: «Полка стахановцев шахты. Лучшие товары горняку-стахановцу». А вот стоит на крыльце. Над дверью магазина красивая, как герб, вывеска: «Центросоюз. Раймаг Барун-Хемчикского района».

(В конце 80-х дед Павел приехал в Кызыл, — сам он жил на юге Красноярского края, — нашел мою маму, несколько дней пожил у нас. Все вспоминал, как, уезжая с золотых приисков, обхитрил охрану: зашил золото в помпончики на шапочках дочек, так и вывез. Золото это потом очень им помогло...)

Постепенно вся семья моей бабушки собралась в Кызыле, в районе, известном под названием Кожзавод. Этот завод был построен в 30—40-е годы, его окружили избышки, огороды. Место живописное — низина в пойме протекающего справа Енисея, с левой же стороны, у подножия крутого древнего берега Енисея, бежит речка Тамасук, быстрая, не замерзающая даже в сорокаградусный мороз. (И в такой мороз в нее ныряют крошечные птички оляпки, что-то выискивая на дне.) Правда, хозяйева

окрестных домов до предела ее замусорили — берег превращен в свалку, в самой речке потопленные покрышки, кузова машин, битые кирпичи, стекло.

Раньше почти каждую весну Кожзавод затапливало, по улицам ползали льдины, сносили заборы, давили кур и поросят. Затем была насыпана дамба, лед на Енисее стали подрывать, но наводнения иногда все же происходят.

На Кожзаводе моя родня построила несколько изб и однажды снялась вся вместе. Под большим тополем сидят прадед и прабабушка, Мартемьян и Катерина, старые, но основательные, преисполненные достоинства. Прадед с окладистой бородой, взгляд одновременно суровый и мягкий; прабабушка полная, в теплом платке, лицо умиротворенное. Большие, широкие руки у обоих лежат на коленях... Вокруг них стоят человек двадцать. Кого-то узнаю — баба Валя, ее старшая сестра Анна, моя мама, ее родная сестра Валентина, их сродные сестры и братья Маша, Галя, Володя, Ваня... Но много и незнакомых лиц, не знакомых мне, но по крови родных...

После окончания школы моя мама поступила в театральное училище, затем работала в театрах Барнаула, Дальнего Востока, Кызыла. Осталось много фотографий со спектаклей. Маме прочили большое актерское будущее, но она, как говорит-ся, выбрала семью, детей, ушла из театра.

Устроившись в Кызыле, отец пошел работать на строительство ТЭЦ. Молодой паре дали коттеджик в поселке Каа-Хем — пригороде столицы Тувы. Здесь прошли мои первые месяцы жизни, может быть, здесь бы я и вырос, но однажды, во время бури, произошло короткое замыкание, и несколько коттеджиков сгорело. Следы того пожара встречаются мне до сих пор — в домашней библиотеке есть раздутые от воды книги, в альбомах хранятся фотографии с обгоревшими краями... Помню, через много лет после пожара мы оказались всей семьей рядом с местом, где когда-то стоял коттедж. Мама попросила отца остановить машину. Участок был до сих пор не застроен, среди полыни заметно пятно старого пожарища. Отец закурил; мы с сестрой (нам было лет по десять — двенадцать) с любопытством осматривались. Мама взяла какую-то палку, поковырялась ею в углях и вывернула ржавую гардину. «Она у нас в большой комнате висела», — вспомнила и заплакала.

После пожара родители со мной маленьким недолго прожили в избе моей бабушки и ее мужа, Семена Степановича, а потом въехали в трехкомнатную квартиру в доме на центральной улице города — улице Кочетова, — рядом со сквером, метрах в трехстах от единственного в то время в Кызыле моста через Енисей.

Дом был четырехэтажный, в то время еще довольно свежий... Хотел написать «благоустроенный», но вспомнил титан в ванной — печку с огромной, до потолка, емкостью для воды. В банный день отец рубил возле подъезда какие-то палки на растопку (дрова хранили в подвале, в то время не разоренном, — у каждой семьи была клетушка для вещей, дров, картошки). Мытье было событием; мама заправляла постели свежим, прокрахмаленным бельем.

В детстве квартира казалась мне огромной, таинственной. В ней была темнушка, а в отцовском кабинете — закуток, где стояли коробки и ящики с разными вещами, которые мне не разрешали смотреть (наверное, обгоревшие книги, остатки обстановки погибшего коттеджика). Позже стену темнушки сломали, и она стала частью спальни, а коробки из закутка исчезли, и там поселился дог по имени («кличка» не подходит) Сэм и по фамилии Гарс. Отец привез его из Красноярска еще щенком, но для нас с сестрой он уже тогда был большим, высоким, как лошадь. У Сэма была медаль за отличие на собачьей выставке и документ с печатью, где были перечислены его родственники нескольких поколений.

Сэм прожил шесть с половиной лет. Рос вместе со мной и сестрой, но, как и положено собакам, повзрослел и постарел очень быстро. Из задиристого молодого пса, дерущегося на прогулках с овчарками (растаскивать их было сложно даже взрослым), срывающегося с поводка и путешествующего по городу, пугая кызылчан, резвящегося так, что стулья летали по квартире, он стал степенным, с седоватой шерстью (а был черным, лишь на груди — белое пятно), степенным дядькой.

На нашей Рыжулке — четырехста двенадцатом «Москвиче» — мы всей семьей часто ездили за город, нередко довольно далеко. Впятером (включая Сэма) уместиться в салоне было непросто. Мама или я садились на переднее сиденье, а Сэм

растягивался на заднем, и между его передними и задними лапами устраивались два человека. Часами Сэм лежал неподвижно (каждое его движение сталкивало бы людей с сиденья), лишь морду тянул к приоткрытому окну, откуда тек свежий ветер.

Запомнился такой случай. Однажды подъезд заволокло едким дымом. Мама испугалась, что это пожар и позвонила 01. Но пока пожарные ехали, дым рассеялся. Видимо, кто-то в подвале сжег фотопленку или таблетку от грибка. Не обнаружив ничего подозрительного, пожарный постучал к нам и стал высказывать неудовольствие тем, что их потревожили, угрожал штрафом. Но тут из-за маминой спины высунулась огромная голова Сэма. Пожарный побледнел, извинился и спиной вперед спустился на улицу... Из-за Сэма происходили мелкие аварии — водители засматривались на него, теряли управление.

Умер он на моих глазах. Ночью вдруг страшно взвыл, задержался и обмяк. Вскрытия не делали, кое-как погрузили в «Москвич», похоронили на даче... С тех пор к собакам я отношусь почти равнодушно. Никто Сэма не заменит...

Родители очень любят животных. Отец постоянно приносил то подраненного стрижа, то ежика, то бросившегося на его машину в степи и сбитого зверька, названного нами Колей-колонком (его поселили в загородке на кухне, чтобы он оклемался, и при каждом приближении человека Коля выпускал струю воню; в итоге, когда он стал вырываться из загородки, отец отвез его обратно в степь)... Как-то во время обеда мы увидели, как с дерева (был сильный мороз) упал голубь. Отец выбежал, принес его. После того как голубь согрелся, наклевался крупы, он был отпущен... Особенно мне запомнился Жура — журавль с поврежденным крылом, которого отец откуда-то привез. Жура привязался к нам так, что ничего не давал делать — путался под ногами. Если копали землю, он тоже кидался на лопату, желая работать, если перебирали картошку, брал клювом клубни и бросал в ведро. Ревновал отца к кошке и собаке — даже кормить их не давал. Сестра бегала по двору и размахивала руками, а Жура скакал рядом, расправив крылья. Это называлось «учиться летать»... Однажды он исчез — может быть, действительно улетел...

В конце 1970-х — начале 1980-х Кызыл активно перестраивался, облагораживался. Нашу улицу Кочетова (ее называли в честь красного партизана, одного из руководителей Тувы в первые десятилетия Советской власти Сергея Кузьмича Кочетова) раскопали, заложили под нее огромные трубы, заодно расширили; снесли какие-то сараюшки рядом с кинотеатром «Пионер» («Пионер», ныне «Отчугаш», напоминающий огромный амбар, в котором я пересмотрел сотни фильмов, стоит до сих пор), в том числе и тир. Сам тир я почти не помню, а вот как искали под его вскрытым полом монеты, представляется до сих пор очень ярко. Мы с пацанами играли в искателей клада, и каждый найденный среди мусора двоячок, пятак становился драгоценным золотым пиастром... Некоторые монеты были дореформенными — 40-х, 50-х годов — и ценились особенно высоко. Кстати, они находились в обороте до начала 90-х наравне с выпускавшимися после 1961-го.

В октябре 1984 года в Туве отмечалось сорокалетие вхождения республики в состав СССР. К этой дате в центре Кызыла построили девятиэтажный дом, между «дворцом правительства» и музыкально-драматическим театром забил фонтан, vyplненный в национальном стиле (вырезанные из камня сарлыки). По Кызылу стали ездить длинные оранжевые «Икарусы», прозванные в народе «гармошками». Сиденья, помню, были в целлофане... Поначалу некоторые кызылчане просто катались в этих автобусах, наслаждаясь удобством и новизной, тем более что проезд стоил всего четыре копейки, да и те можно было не платить: в салоне находилось несколько билетных аппаратов — ящики с прорезью для монет и ручкой сбоку. Бросил двоячок и накрутил штук пять билетов. Кондукторов в то время в Кызыле не знали, контролеры появлялись очень редко, да и то на конечных остановках.

Праздник 40-летия Советской Тувы проходил на стадионе «Хуреш» (названном так в честь национальной борьбы) в глубине парка культуры и отдыха, на берегу Малого Енисея. Что там происходило, на стадионе, я не видел — нас, пионеров, держали за задними воротами, и в определенный момент группу то из одной школы, то из другой выгоняли на поле исполнить свой номер. Группа, в которой был я, исполняла танец маленьких утят. Перед праздником мы несколько недель репетиро-

вали этот очень модный тогда, гэдэзровский, кажется, танец на спортплощадке. Сперва репетировали в школьной форме, а потом нам выдали белые костюмы, напоминающие исподнее... Очень было неловко стоять в этих белых одеждах, стыдно приседать и вертеть задом на глазах у тысяч людей.

Но вообще атмосфера была праздничная, погода отличная — светлый, сухой, совсем не осенний день. По дорожкам парка гуляли люди, смеялись, ели мороженое, которое в обычное время в Кызыле было не найти (хладокомбината не было).

Тогда, в 1984 году, никто, наверное, не предполагал, что через несколько лет Тува станет для многих враждебной территорией, с которой нужно будет скорее бежать...

На моей памяти в Кызыле всегда были довольно суровые нравы. Дело здесь даже не в межнациональной вражде, которая в общем-то существовала всегда, то обостряясь, то почти (но — почти) исчезая. Скорее, дело в составе русского населения, которое до конца 80-х было в городе подавляющим.

Люди здесь жили активные, переполненные энергией. Это были дети и внуки первых переселенцев, ссыльных и каторжан, или добровольцы, приехавшие благоустроить «молодую Туву» после 1944 года, а также отбывшие срок уголовники (вокруг Кызыла находилось несколько колоний строгого режима). Но выхода их энергии почти не было, а были, скорее, ощущение запертости в этом «каменном мешке» и злость разочарования у тех, кто ехал в Туву в надежде построить особый мир (позже такое же разочарование я встретил у жителей забытых городков на БАМе). И особенно явно эта нерастроченная энергия и злость проявлялась у молодежи.

Русская молодежь враждовала между собой. Дрались квартал на квартал, ребята с правого берега Енисея готовы были убить тех, кто жил на левом. Парень с «Найырала» (район вокруг центрального кинотеатра) не мог безнаказанно ухаживать за девушкой с «Пионера» (район вокруг кинотеатра, который находится в пятистах метрах от центра)... Денежные разборки случались редко, грабежи были нечасты, — в основном калечили друг друга бескорыстно. В 70-е в Туве существовало хулиганство, а затем, в середине 80-х, к нему присоединились и бандитизм, межнациональная рознь, и в начале 90-х — уже открытая бандитская война: парни в машинах без номеров гоняли по городу и палили из автоматов, нападали на милицмейские посты... И — похороны, похороны молодых парней на унылом, в каменистой степи на западе Кызыла, кладбище, и известия об арестах, о судах, сроках... Такое на стыке 80-х и 90-х происходило по всей стране, но в небольших городах (а население Кызыла в то время составляло тысяч 80 — всех можно было рассадить на трибунах «Лужников») выкашивание молодежи молодежью виделось особенно отчетливо, и оставаться в стороне от смертоносного вихря было сложнее.

Да, много погибло парней в драках или было убито просто так (в темное время по городу ходили, и до сих пор ходят, в основном лишь большими компаниями); в 80-х нередко привозили и «груз-200». Люди шептались, что это из Афганистана, но официальной причиной гибели солдат значились несчастные случаи в Таджикистане, Туркмении...

Вернувшись в декабре 1991 года, после более чем двухлетнего отсутствия, в Туву (сначала учеба в строительном училище в Ленинграде, затем служба в погранвойсках), я застал в нашем дворе, объединяющем три четырехэтажки, лишь одного приятеля детства, да и он явно был на грани тюрьмы или кладбища. Из пяти одноклассников, с которыми я закончил в 1989-м десятый класс, все были живы и на свободе (двоих посадили позже, в середине 2000-х за торговлю гашишем), но одного чуть не убили: стоял он на улице, мимо пробежал парень-тувинец и ткнул в живот заточкой. Ни с того ни с сего. По крайней мере, так мой одноклассник рассказал...

Я пошел в школу в 1979 году. Школа имела № 15 и была самой новой в то время. Три этажа, стандартный козырек перед входом; за школой теплица и огородик, физплощадка с футбольным полем. На этом поле после чемпионата мира в Мексике мы, назвавшись каждый именем великого футболиста, — я, например, выбрал имя «Сократес», — часами играли в футбол. (Но перед этим минут двадцать убивали на то, чтобы очистить поле от камней, палок, а особенно от стекол, которые появлялись там каждый день, зато не росло ни травинки.)

Учился я неважно. С начальных классов желание что-то узнать на уроках тонуло в чувстве протеста. Я просто не понимал, зачем мне знать наизусть словарные слова или таблицу умножения, правила деления, постулаты Бора, и даже не пытался вникнуть в математику, физику, химию, биологию, русский язык, немецкий язык. (Лучше было с историей, географией, литературой, но я читал всегда не те параграфы, какие мы проходили, и потому оценки у меня и по этим предметам редко бывали выше тройки.)

Однажды, правда, когда наша классная руководительница Галина Григорьевна, преподававшая алгебру, оставив меня на дополнительное занятие, стала объяснять что-то, я почувствовал кайф процесса считать, но тут же этого испугался и снова предпочел не понимать. Теперь жалею.

Жалею о многом. Что не знаю нотной грамоты, не умею танцевать, играть ни на одном инструменте, не занимался как следует шахматами, не научился плавать, рисовать, кататься на коньках... Мама водила меня из кружка в кружок, упрасивала, убеждала. А я упирался.

Вообще я был домашним ребенком. В садик ходить не любил, на улице играл редко, да и то лет до двенадцати. Зато много смотрел телевизор, листал и перебирал книги (у нас была большая библиотека), но чтением в то время не увлекался. Художественную литературу терпеть не мог, считал ее враньем, пустой выдумкой. Одно время я всерьез занимался историей (ранним средневековьем, «гражданской войной в СССР», великими географическими открытиями), но просто изучать исторические книги мне было скучно, и я стал пытаться обобщать сведения из разных книг, записывая в хронологическом порядке разные факты об одном и том же событии в тетради. Но и это быстро надоедало, потребовались фигуры, которыми бы можно было связать события. И так как исторические фигуры чаще всего появлялись в документах эпизодически, я выдумывал судьбы героев — например, рыцаря, который прожил лет девяносто, участвовал во всех значимых событиях своего века, или простого солдата, чья фамилия раз мелькнула в каком-либо документе, которого я делал прошедшим все испытания гражданской войны 1918—1922 годов... Особенно много таких людей с необыкновенными судьбами было у меня среди путешественников — один даже успел поплавать и с Колумбом, и с Магелланом... Лет с четырнадцати меня больше стал интересоватъ окружающий мир, события собственной жизни.

Делая вид, что учу домашние задания, я писал рассказы и повести, переписывал их по несколько раз, заботливо сохранял черновики... Писать я начал, видимо, подражая отцу. С детства видел его за столом в окружении исчерканных листов или за пишущей машинкой.

Иногда его рассказы выходили в газете «Тувинская правда», в альманахе «Улуг-Хем»; отец отправлял рукописи в центральные журналы, но оттуда приходили обтекаемо-отрицательные ответы (позже, познакомившись с устройством работы толстых журналов, я узнал, что из «самотека» публикуется хорошо если одна рукопись в десятилетие)... Много лет отец писал роман под названием «Урянхай» — о Туве накануне принятия под протекторат России. Собирал материалы в фондах Минусинского музея (крупнейшего музея южной Сибири), когда меня еще не было на свете, а оставил работу над романом, когда мы поселились в селе Восточном в 93-м году. Несколько лет назад отец передал мне рукопись «Урянхая»; иногда я пытаюсь набирать роман на компьютере, мечтаю издать его, но быстро оставляю работу: слишком больно становится.

Накатывают тяжелые, душащие воспоминания, и опускаются руки... Бывает такое, что то, на что одним человеком потрачено слишком много сил, становится неподъемным другому человеку. Так же, видимо, и с романом отца. Я не могу его осилить.

Помню, как отца критиковали за название, настоятельно советовали изменить его («урянхай», по распространенной версии, переводится с монгольского как «страна оборванцев», что в общем-то не доказано), но потом появился роман тувинского писателя Михаила Монге «Урянхайцы», стал издаваться журнал «Урянхай»... Или — как-то отец дал почитать рукопись приятелю-писателю Вячеславу Бузыкаеву, а потом увидел в новой книге того факты и детали из своего романа...

Да, многие годы отец переписывал, переделывал «Урянхай», менял стиль, вставлял, убирал эпизоды, менял главы местами, копался в архивах. Хотел написать большую, настоящую книгу... У него вообще характер максималиста. Поэтому, наверное, он не мог работать подолгу на одном месте, хотя нередко занимал довольно высокие посты, на какие в то время беспартийных не допускали. Например, был председателем Всероссийского общества автомотолюбителей. Это общество считалось добровольным, но на деле его членами являлось большинство владельцев автомобилей, мотоциклов; не миновать ВДОАМ было и тем, кто хотел получить права, оценить свое транспортное средство. Отец пытался развивать автосервис, улучшить технику обучения, добивался строительства картинговой трассы... Но в конце концов, поняв, что ничего ему не улучшить, перенес несколько сердечных приступов, плюнул и уволился.

Так бывало несколько раз. Случалось, что он долго нигде не работал, жил в доме на Кожзаводе (бабушка с дедушкой переехали, как оказалось, на время в Минусинск, где у деды Сени была большая изба). Отец устроил большой огород с парниками и отапливаемой теплицей, завел кроликов, и для них мы сколотили просторный крольчатник... С кроликами связывались несколько раз, но очередная эпидемия уничтожала все племя. Но были и благоприятные моменты, и тогда повсюду висели выделанные шкурки, а морозильники были забиты тушками...

В Туве сложно без автомобиля. Многие, в том числе и мои родители, использовали для поездок служебные «Москвич» или «УАЗ» (в советское время это было обычным делом), но все-таки хотелось личную машину. Чтобы заработать деньги, занялись кистями.

Несмотря на то что в начале 80-х валики, пульверизаторы получили распространение, люди еще всю белили ковыльными кистями. Даже предприятия их покупали.

Вообще этот промысел был довольно доходным, но и трудоемким. Одно время, на стыке 80-х и 90-х, наша семья благодаря в основном ему и выживала.

Ехали в степь, находили лог, где рос высокий, крепкий ковыль, и рвали его. Если захватывать ковылевые нити слабо, то, когда тянешь, можно серьезно порезать пальцы, поэтому в захват и рывок нужно вкладывать максимальную силу. В итоге в кулаке остаются пятнадцать-двадцать нитей; их кладешь между согнутой в локте левой рукой и грудью, рвешь новые пятнадцать-двадцать нитей...

Выезжали за ковылем на два-три дня, набивали машину под завязку. (Некоторые, особенно не имеющие транспорта, проводили «на кистях» по месяцу, жили в шалашах или палатках, хранили траву под укрытием; там же, в степи, вязали кисти.)

Затем ковыль нужно было просушить, лучше всего в защищенном от солнца месте, чтобы он не пожелтел, а после, желательнее не затягивая, чтобы нити не стали ломкими, вязать. Вязал кисти отец, а мы с сестрой и мама в это время убирали из ковыля дудки, мусор.

У отца был широкий монтажный ремень, к которому прикреплялся тросик с дощечкой для ноги — своего рода рычаг. Пук ковыля зажимался тросиком и связывался крепко-накрепко бечевкой. Потом на месте вязки ковыль выворачивался, чтобы получилась шишечка, и вокруг шишечки связывался еще раз. В центре шишечки образовывалось углубление, в которое позже, перед побелкой, вставляли черенок.

Конец кисти выравнивался топором, после чего изделие клали на стеллаж. Когда кистей скапливалось достаточно, везли на приемный пункт или на базар. Перед Пасхой их очень хорошо покупали — народ белил дома и квартиры, готовился к празднику...

За годы жизни в Кызыле у нас было четыре дачи, но со всеми нам не везло.

Участок под первую мы получили в начале 80-х в живописном месте — вокруг тополевого леса, под боком протока Енисея, которая весной становилась полноводной, а к осени мелела, почти высыхала (в лужах кишели мальки, тугунки, вьюны). Соседей вокруг не было, и мы называли этот участок помещьем.

Отец огородил землю длинным штакетником — «макаронником» (ставить глухой забор посреди леса казалось кощунственным), стал копать яму для бассейна, забил колодец, положил первые венцы сруба бани. Были посажены фруктовые деревья (каждую осень их утепляли соломой, тряпками), делянка виктории, вскопано поле

для картошки. Но вскоре на дачу повадились воры, точнее не воры даже, а, наверное, рыбаки, которым нужно было картошечки для ухи, лучку; они ломали макаронник, топтали грядки. К тому же участок в одно из половодий довольно сильно затопило, виктория, деревца погибли. Как раз в то время освободился дом на Кожзаводе, и родители решили дачу продать.

Кстати, неподалеку от нее находится одно из моих любимых мест на земле. Если идти по проселочной дороге от дачи на запад, то окажешься на песчаном полуострове. Справа — тихий, тенистый залив, в котором, кажется, полным-полно щук (хотя рыбаков на полуострове я почти не встречал), а слева — та протока, что протекает рядом с дачей. Постепенно полуостров становится уже и уже, превращается в узенькую песчаную косу, на которой торчат невысокие, редкие прутьики тальника. Самый кончик косы точит течение Енисея; и вот там, на этом остром кончике, так приятно стоять, глядя на сверкание мчащейся воды, на бордовые скалы на правом берегу и на тополевы лес на левом. Словно не на земле стоишь, а на воде. И стоять так можно часами — завораживает это место, наяву усыпляет...

Несколько лет дачей нам служил дом на Кожзаводе, но когда бабушка с дедушкой вернулись (прижиться в Минусинске им не удалось), отец получил новый участок земли. Был он довольно далеко от Кызыла — за горой, называемой Бомом (бом — это скала или гора, нависающая над рекой или ущельем). До сих пор эта местность вызывает у меня одновременно и отвращение и восхищение. Очень красиво, но человек и человеческие жилища там нечто инородное, нелепое, и природа выдавливает тех, кто пытается поселиться... Рядом, буквально в ста метрах, Енисей, а земля сухая, скудная, усеянная камнем-плитняком. Дождей почти не выпадает.

Не знаю, чем руководствовались те, кто выделял на этой пустоши сотки под дачи, но еще сильнее удивляют решившиеся разбивать там огороды, строить домики. Наверное, угроза голода на стыке 80-х и 90-х заставляла обустроиваться в настоящей азиатской степи, где царствуют лишь караганник да ковыль.

Люди везли чернозем и перегной, колотили заборы, ставили сараюшки, дома, забивали колодцы. Но уже тогда лично я был уверен, что это все на время, что степь победит, хотя и работал искренне, не отлынивая (а что было делать? — свой клочок земли был тогда единственным спасением от возможной катастрофы, которая бросит народ в первобытное состояние).

В итоге степь победила. Прошлым летом я оказался в той местности и не поверил глазам — ни следа от того, что лет двадцать назад здесь что-то было построено, почва удобрена тоннами плодородной земли. Так же, как до дач, покачивается ковыль, торчит караганник, ближе к Енисею зеленеет крапива, которая зелена здесь до всяких дач (помню, мы приезжали сюда давным-давно рыбачить)... Лишь в одном месте, как какая-то огромная кость, белеет обломок стены. И все, ничего больше.

Правда, степи помогали снова стать дикой. Конечно, воровали, лазали в сарайки, но самым обидным было такое: на ночь на некоторые участки загоняли овечьи отары. Что ж, чабанам удобно, а все, что росло внутри участка, наутро было вытоптано, выщипано, вытравлено.

Отец ночевал на даче, охранял посадки. В первое же лето мы построили большую теплицу для помидоров, и урожай был неплохой. Правда, колодец еще не был забит, и воду возили на «Москвиче» из Енисея в баках... Года три продержались мы на этом месте, и в итоге решили, что толку не будет. Тем более что я, закончив школу, решил ехать в Ленинград, получил вызов в строительное училище; приближалась и армия. Дачу за Бомом бросили.

А сил потрачено было море. И здоровья. Мама там, в этой степи, на холодном, едком, как сквозняк, ветру заболела бронхиальной астмой...

Четвертая дача появилась в 90-м. Родители купили ее уже готовой — с двухэтажным кирпичным домом, под которым находился гараж, со временкой и баней, с удобренной землей. На некоторых соседних дачах жили люди, — меньше шансов, что воры открыто будут хозяйничать.

На этой даче, вернувшись из армии, я провел весь 92-й год. Общаться с людьми, встраиваться в изменившуюся за два года жизнь было непросто и как-то противно.

Казалось, что правильнее всего — ни с кем не связываться, ни во что не ввязываться. Запершись в доме, я читал книгу за книгой (теперь предпочитал художественную литературу), бился над своими, написанными в 1986—89 годах повестями и рассказами, пытаюсь довести их до того вида, в котором они понравились бы мне самому. Переделывал и то, что написал в армии. А привез я оттуда три девяностостраничных тетради прозы, стихов и дневников. Однажды во время шмона их конфисковали офицеры (нашли под матрасом), но потом вернули с предупреждением, что если еще раз обнаружат, то бросят в топку в кочегарке. Весной 1993-го я сам бросил их в печьку, устав от попыток извлечь оттуда что-то дельное... Да, от того периода почти ничего не осталось в моем нынешнем архиве, но те многочасовые сидения за столом, лежания на печке с тетрадями вспоминаю с удовольствием и тоской, — редко с таким увлечением, вдохновением (прошу извинить за высокопарность) я писал.

На этой печке, кстати, большой, но слабо гревшей, я однажды чуть не погиб. Были сильные морозы, кирпичный дом вымерзал моментально, даже обогреватель не помогал; и спать на кровати я не решался. В тот вечер, как следует протопив печь, я залез на нее. Проснулся в белом едком тумане, соскочил на пол, задыхаясь, выбежал на улицу. Когда дом слегка проветрился, стал искать причину дыма. Оказалось, стала тлеть подушка...

Дачу эту мы отдали за бесценок осенью 1993 года. Тогда в Кызыле и квартиры, и дачи стоили копейки — люди вовсю выезжали за Саяны. (Интересно, что, продав гараж весной 93-го, мы на эти деньги купили домик в селе Восточное, где сейчас живут мои родители, за дачу мы получили «Москвич-2141», который потом постоянно ломался, и еще какие-то деньги, которые ничего не стоили, а за трехкомнатную квартиру в начале 1994-го даже не помню, сколько нам заплатили, какую-то мелочь, или, может, миллионы, которые тоже тогда были мелочью.)

Не знаю, цел ли тот двухэтажный дом, обитаем ли. Большинство дач под Кызылом брошены, растащены. Да, воруют страшно, и не только воруют, а грабят, жгут, вынуждают владельцев выселяться. На дачах разрешена прописка, и на многих устроились переселенцы из районов — в основном безработные. Они-то и являются хозяевами бывших «садовых товариществ».

Правда, это беда не только Кызыла, — бросают дачи и абаканцы, и минусинцы: нет возможности бороться с воровством, нет смысла строиться, работать на земле, выращивать что-то, зная, что в любой момент выросшее соберут чужие, жилища осквернят...

Одно из самых светлых воспоминаний о жизни в Туве — поездки на рыбалку, за грибами, ягодами, да и за ковылем тоже, хотя тогда рвать его я ненавидел.

Когда мы были маленькими, родители чаще всего оставляли нас с бабушкой и привозили гостинцы «от зайчика», «белочки», а потом стали брать с собой. Бывало, ехали в лес на нескольких машинах — родня, приятели. Я любил искать грибы вместе с бабушкой. Она, полная, с большим сердцем, не могла лазать по зарослям, но издали определяла места, где наверняка есть грибы, посылала меня «поглядеть», и я чаще всего их там находил. Однажды мы наткнулись на огромный обабок, явно старый и червивый. Я для порядка хотел срезать его, но бабушка остановила: «Не трогай. Это грибной царь. Пускай стоит». И мы, оглядываясь на него, побрели дальше.

На нашем 412-м «Москвиче» забирались порой туда, куда и на «уазике» не все решались забраться. Рвали клубнику, жимолость, голубику, черемуху, гребли специальными совками бруснику, на скалах в Саянах отыскивали редкую, вкусную ягоду кызырган; уже по холоду обдирали с веток заледеневшую облепиху.

Но набрать и привезти домой ягоду было половиной дела, — нужно было ее перебрать, одну сварить, другую перекрутить с сахаром. Грибы почистить, помыть, маслята замариновать, обабки пожарить, грузди, рыжики, белянки, волнушки засолить.

Рыбачили мы довольно часто. Иногда рядом с домом — там, на быстрине, клевали ельцы, попадались ленки, а очень редко, на закидушку, вместо ожидаемого таймешонка, брала таинственная, жутковатая на вид рыбка — широколобка. Вся в каких-то наростах, шишках, с огромной, по сравнению с туловищем, головой. Если ее

ловили взрослые, то, брезгливо сняв с крючка, бросали обратно в воду, а если пацаны, то убивали жестоко — растирали камнями в жижу. Говорили, что широколобки страшно ядовиты, и их можно есть, только сварив в перце. Считалось, что эти рыбки засоряют реку. Недавно я узнал, что они живут только в очень чистой воде, поэтому, видимо, и попадались вдалеке от берега. После того как Саяно-Шушенское водохранилище наполнилось и Енисей в районе Кызыла, несмотря на течение, стал грязнее, широколобки почти перестали встречаться. Да и ельцов, ленков, хариусов, тайменей стало заметно меньше. Зато ловятся невиданные раньше здесь подлещики, часто большие.

Вообще-то ничего не будет удивительного, если какие-то виды рыб исчезнут. Не так давно я был поражен, узнав, что половое созревание у рыбы наступает много позже, чем у многих млекопитающих. У хариусов, например, в три года, у ленков в пять—восемь лет, у тайменей в шесть—восемь лет, у самок стерляди в семь лет, даже у пескарей — в два-три года. Если реки будут по-прежнему вычищаться так же активно, как сейчас (сетями, переметами, мордами, электроудочками, легкой отравой), то вполне можно добиться, что вскоре те же ленки, хариусы, таймени, стерлядки окажутся в Черной книге.

Но в 80-х, начале 90-х рыбы в Енисее и его притоках было немало. Где-то лучше брал окунь, где-то ленок, где-то один за другим шел на червя пескарь, удивительно вкусный, когда пожаришь его на сковородке до золотистой корочки... Из детства запомнилось, как мы сидим семьей на песочке на правом берегу Енисея. Тенек от тальника, на скатерке еда, газировка. Отец установил закидушки с колокольчиками. И вот один колокольчик начинает бешено звенеть, толстая зеленоватая леска режет воду... Сейчас отец вытащит большого, с розовой чешуей, сильного и нежного ленка.

Особенно нравились мне поездки (правда, немного их было) за хариусом. Это даже и не совсем рыбалка — больше охота.

Маленькая, узенькая, но быстрая речка в горах. Мы подбираемся к ней тихо, осторожно налаживаем удочки без поплавков и грузил. Лишь на конце лески мошка — крючок с намотанными на него волосинками. На первый взгляд изготавливать мошки проще простого, они все одинаковые, но есть те, на которые хариус не обращает никакого внимания, зато другие хватает с жадностью... И вот бросаешь мошку на течение; она скачет по воде как живая. Иногда может скакать час, а хариусы (их черные спины хорошо видно в прозрачной, мелкой воде) стоят и словно не замечают ее, но наступает время питаться, и они пулей кидаются на приманку. Бывает, подгадаешь так, что кидаются сразу и идут один за одним. Но хватают всегда неожиданно — из воды молниеносно выскакивает морда с открытым ртом и с добычей-обманкой скрывается обратно. Теперь главная задача — не запутать леску в ветках окружающих берега деревьев, когда подносишь бьющегося хариуса к себе.

Снимаешь его с крючка, и сердце бьется в груди, руки дрожат, будто поймал не рыбу, а ценного пушного зверька.

Хариус и ленок считаются самыми чистыми рыбами верхнего Енисея. Их едят обычно слабосолеными, иногда прямо во время рыбалки — почистят, выпотрошат, посыплют солью и — готово. Некоторые любят хариуса с душком — специально дают ему слегка (бывает, и не слегка, а так, что рядом находиться невозможно) подтuhnуть.

...Давно я уже не рыбачил на реке, не ловил не то что хариуса, но даже и пескаря. У родителей в деревне есть пруд с карасями, но это скучноватая ловля, как и сам карась — скучноватая рыба. Хариусов, ленков покупаю на рынке в Минусинске. И когда за ужином едим эту покупную рыбу, с грустью, но грустью сладковатой, вспоминаем наши давние рыбалки, порой, забавные случаи (например, как приехали на речку Элегест большой компанией, мама забросила первой и тут же вытащила крупного хариуса, а потом, сколько ни бросали, ни меняли снасти, ни у кого ничего не поймалось); вспоминаем поездки по Туве, поля, красные от клубники, голубые от ягод кусты жимолости, ведра напоминающей икру брусники, грибы в кадках... Тянет в Туву.

Родители живут недалеко от нее — каких-то триста с небольшим километров, но

вряд ли в нее еще попадут: страшно увидеть дорогие места, потерянные, ставшие чужими. Страшно возвращаться туда, где прошла жизнь.

Я бываю в Туве раз в несколько лет; а чаще на московской кухне разворачиваю карту, путешествую по ней. Взгляд ползет на юг от Кызыла. В этом направлении мы с родителями в основном ездили на нашей оранжевой Рыжухе.

5. На юг

Дорога, ведущая в сторону Монголии, является частью трассы Красноярск — Госграница. Асфальт подновляется, и машины мчатся с огромной скоростью. Правда, грузовиков сейчас на трассе почти не бывает, да и вообще движение не очень интенсивное. Лишь в выходные летом оживление — люди едут купаться на ближайшие к Кызылу озера — Хадын и Дус-Холь (Сватиково).

Лет двадцать назад до этих озер, расположенных в полусотне километров от столицы Тувы, добраться было непросто. Небольшой отрезок проселочной дороги вблизи озер становился ловушкой для автомобилей, и нередко приходилось или помогать вытаскивать из песка чужой «Москвич» или «Жигуленок» или упираться руками в раскаленный солнцем зад своей машины, добавляя ей силенок для форсирования опасного участка. Нынче буксующий автомобиль встречается редко — то ли моторы стали мощнее, то ли пески уже не такие злые...

Степью окружающую Хадын, а особенно Сватиково, землю сложно назвать. Скорее, это полупустыня, песок которой еле-еле сдерживают редкие кусты караганика, еще какие-то чахлые колючие растеньица. Однажды, бродя неподалеку от Сватикова (озеро названо по фамилии предпринимателя начала прошлого века, который пытался добывать здесь соль), я обнаружил шарики с иголками, очень напоминающие кактусы. Потом искал их изображение в словарях и справочниках растительного мира Тувы, но не нашел. Есть здесь и кусты с синими мясистыми листьями.

Озеро Хадын — большое и очень популярное у любителей плавать. (В Енисее особенно не покупаешься даже в июле — вода холодная.) Оно слабосоленое, говорят, состав воды очень напоминает морскую. Но мне скучно находиться на Хадыне — берега пологие, пейзаж унылый. Куда интересней маленькое Сватиково, находящееся километрах в трех западнее Хадына, за небольшим барханным перевальчиком. Сколько я себя помню, Сватикову прочат скорое высыхание. (Тем более что неподалеку есть еще две-три котловины, где когда-то были такие же озера; в одной из них еще сохранилась влажноватая грязь.) И действительно, трудно представить, что под палящим солнцем эта «лужица» может долго протянуть. Спасают ее крошечный ручеек бьющего на берегу источника и, видимо, ключи на дне самого озера.

На южной стороне — несколько пансионатов. В конце 90-х почти все они были заброшены, полуразобраны на дрова, но сейчас многие вновь обустроены. Хотя отдыхающих не столько, сколько было в 70-е и 80-е годы. Тогда озеро сплошь, кроме болотистого северного берега, окружали палатки, тенты, машины «дикарей». В пансионатском городке работала столовая, был кинотеатр, вечером устраивались шумные дискотеки.

Но жить здесь долго (хотя бы месяц) кажется невозможным. Воздух напитан солью озера, солнце печет по шестнадцать часов в сутки (темнеет поздно — горы далеко). Вокруг песок, колючки и... изможденные, обгорелые тела. Сватиково считается лечебным, чуть ли не чудодейственным, сюда едут из разных мест России, путевки купить очень трудно. Но, глядя на людей, часто очень больных на вид, в лечебные свойства как-то не очень верится — подсознательно хочется видеть на курорте таких античных полубогов. Поэтому, наверное, я любил проводить время подальше от остальных, радовался, когда на моем месте — «у пальм» — было свободно.

«Пальмы» — несколько растущих на западном берегу ив. Это единственные деревья в округе, не считая посаженных людьми и потому вечно полумертвых тополь-

ков возле пансионатов. Озеро рядом с «пальмами» очень удобно для купания — не мелкое, глубина увеличивается постепенно, дно напоминает ступени лестницы. Как раз здесь в воде очень много веселых, деятельных «бекарасиков» — крошечных рачков артемий. Считается, что в столь соленой воде ничто живое существовать не может (по насыщенности солью Сватиково не уступает Мертвому морю), но эти рачки существуют и, кажется, неплохо себя чувствуют. Каждого заходящего в озеро они окружают, изучают кожу, особенно интересуются ранками и царапинами, выются вокруг них — лечат.

За «пальмами» начинаются барханы, по которым тянет погулять, обследовать никем, кажется, не изведанную землю. Но стоит пройти километра два по песку — ноги устают, голова даже в кепке тяжелеет от солнцепека, и приходится возвращаться к озеру, прятаться в тень.

К месту тут будет сказать, что чуть южнее Кызыла, сразу за взлетно-посадочными полосами аэропорта, есть и самая настоящая пустыня — участок голых песков. Но и здесь удивительный контраст — среди них растет черемуха с крупными, мясистыми ягодами. Мы часто забирались сюда, чтобы набрать несколько ведер черемухи, которую не сравнить с лесной. Вкуснящая, ароматная. (Черемуха в Сибири очень популярна — ее перекручивают на мясорубке вместе с косточками, пересыпают сахаром и хранят в банках. И просто можно есть, и пироги начинять; делают черемуховую муку [лучше всего — грубый помол], которую добавляют в пироги и торты.) До сих пор сладко становится во рту, когда вспоминаю название этого места — Щёлы.

(Захотелось узнать, что именно обозначают «Щёлы». После продолжительных поисков в интернете нашел: «Местечко Шол русские называют Щелами. Шол — это довольно широкая, возвышающаяся над окрестностями гряда песков, дюн и барханов, протянувшихся на юго-юго-восток от села Сукпак до озера Дус-Холь». Есть еще и речка Малая Щела [Большой ни в интернете, ни на карте я не обнаружил], протекающая как раз в тех местах и теряющаяся в песках. Может быть, ее воды и подпитывают корни черемухи.)

Немного южнее своротков на Хадын и Сватиково и, следовательно, дальше от Кызыла есть еще один — к озеру Чедер. Оно тоже целебное, но особой красотой не отличается, хотя тут вполне цивилизованный курорт, источник с минеральной водой. Правда, запах сероводорода, тем более в жару, переносить трудно.

Раньше почти от самого Кызыла и до Балгазынского бора (а это километров семьдесят) степь по обе стороны дороги была распахана, засеяна зерновыми культурами. Поля выглядели словно наброшенное на неровную поверхность огромное клетчатое покрывало: клетка зеленая, клетка черная (весной), клетка зеленая, клетка желтая (осенью). Теперь степь не пашут, на ней появились редкие кустики акаций, кое-где березки. Может быть, лет через сто здесь будет лес.

Пейзаж за окном автомобиля не очень разнообразный, но сама дорога веселая. Она прямая, но неровная. И поднимаясь на вершину очередного увала, кажется, что впереди крутой, почти отвесный склон, но по мере спуска склон точно бы распрямляется, и на соседний увал машина поднимается почти без усилий.

Перед Балгазынским бором (о котором речь впереди) находится село Целинное, центр совхоза «Победа». Совхоза, наверное, давно нет, но село это чаще называют именно Победа — прижилось. Победа — типичное тувинское поселение советского времени: расположено в степи, но у подножия гор с жидкими островками деревьев по склонам, дома однотипные, белые, в самом селе зелени почти нет, единственное многоэтажное здание (построенное, видимо, под школу) заброшено. Скучное местечко с такими же скучными, кажется, жителями. Когда я слышу песню Александра Башлачева «В отдаленном совхозе «Победа» был потрепанный старенький «ЗИЛ», а при нем был Иван Грибоедов, он на «ЗИЛе» том воду возил...», мне всегда представляется именно эта тувинская «Победа».

А еще вспоминаются шоколадные конфеты «Каракум» — за ними чаще всего мы с родителями ездили в село, так как в городе купить их было почти невозможно. В

сельских же магазинах шоколадные конфеты, а еще тушенка, венгерские фруктовые консервы и прочие дефицитные деликатесы лежали свободно.

Несколько в стороне от трассы, за Победой, есть село Шамбалыг. Население в нем тоже полностью тувинское. Иногда мы торговали в Шамбалыге маринованными маслятами, вареньем, овощами, которые тувинцы любят, но выращивать и изготавливать не хотят или не умеют, хотя поля вокруг пахали, засеивали в основном они; впрочем, это злаки, а не огурцы или редиска. Люди относились к нам доброжелательно, приветливо, некоторые расспрашивали о политике, о перестройке. Однажды их приветливость нам, быть может, спасла жизнь: подошли озабоченные мужчины и женщины и сказали, что в селе свадьба и нам нужно уехать, так как во время свадьбы обязательно кого-нибудь зарежут, могут и нас. Мы собрали нашу редиску, баночки с вареньем, уехали и, кажется, больше в Шамбалыге не бывали.

Километрах в десяти-пятнадцати южнее Победы начинается Балгазынский бор — одна из жемчужин Тувы. Сначала в степи появляются одинокие, кривоватые, с пышными кронами сосны, а за ними — уже ровные, высокие стены оранжевостволых красавиц. Трасса проходит по краю бора, большая его часть (он занимает около тридцати тысяч гектаров) находится восточнее и смыкается с горной тайгой.

За грибами кызылчане ехали именно в бор — здесь почти каждый год бывали богатые урожаи сырых груздей, волнушек, белянок, маслят, обабков, встречались и рыжики. Часто можно было увидеть косуль, зайцев, по веткам прыгали белки, куковали наперебой, путая и сбивая друг друга, кукушки... Вообще райское место было.

В конце 90-х Балгазынский бор почти полностью выгорел. Говорят, специально подожгли — очень активно стали валить и вывозить горелый лес, будто специально готовились. А что такое горелый лес? Хвоя опалилась, кора закоптилась слегка, но по сути тот же строевой материал. В Балгазынском бору лесозаготовками заниматься было нельзя (заказник), а после пожара — никаких проблем. Сейчас бор восстанавливают, но даже если сосны приживутся, прежним он станет через многие десятилетия. А скорее всего, никогда не будет в нем того микроклимата, что был до пожара.

Южнее бора находится село Балгазын. Это один из узловых пунктов Тувы. На восток ведет дорога к старинному русскому селу Владимировке, на запад — к озеру Чагытай, еще недавно богатому щукой, жирной, нежной пелядью, язем; озеро расположено у подножия хребта Танну-Ола, самой высокой горной цепи в центральной Туве (и само озеро возвышается над уровнем моря больше чем на километр). С запада Чагытай обступает настоящая тайга (сюда мы нередко ездили за брусникой), и существует множество рассказов о том, что на туристов, на детей из пионерских лагерей нападали медведи. Но внешне сам Чагытай очень спокойное место — настоящее горное озеро, задумчивое и тихое.

Село Балгазын расположено на границе соснового бора и широкой полосы тайги, протянувшейся с востока на запад. За этой полосой начинается южная Тува. Здесь разводят сарлыков, лошадей; когда-то было много верблюдов, целые совхозы занимались их разведением, но постепенно их поголовье в Туве почти сошло на нет. Природа величественная, впрочем, долго находиться в этих местах приезжему человеку утомительно — тех, кто не вырос в степи, тянет к деревьям, воде или в города.

Столица южной Тувы — большое село (сумон) Самагалтай. Дома в основном одноэтажные, типовые, никаких достопримечательностей, хотя это, пожалуй, старейший населенный пункт на территории республики. Во второй половине XVIII века он стал административным центром Урянхая — здесь находилась ставка амбын-нойона (высшего чиновника края, правда, подчинявшегося правителям Китая), затем здесь разместилась резиденция Камбы-ламы (главы ламаистской общины); в 1914 году в Самагалтае было составлено прошение о принятии Урянхайского края под протекторат России. До 1921 года это село (а не Белоцарск — Кызыл) являлось столицей Урянхая — Тувы.

Километрах в семидесяти южнее Самагалтая расположено село Эрзин, где заканчивается трасса М-54 «Красноярск — Госграница». Кстати сказать, асфальтовой дороги из Тувы в Монголию до сих пор нет. С одной стороны, это можно объяснить

сложным рельефом (горы), но, не исключено, трудность связи с Монголией была создана умышленно: и в царское, и в советское время, и в постсоветское Монголия не раз претендовала на Туву, да и в Туве периодически возникают идеи либо обрести независимость, либо «воссоединиться» с монгольским народом. Но, с другой стороны, граница никогда особенно не охранялась, и для тувинцев не представляло большой сложности сходить в Монголию, а монголам — в Туву. Даже скот друг у друга угоняли.

6. Кураны

Неподалеку от Балгазына, немного южнее, рядом с трассой находится удивительное село. Официальное название Куран, а народное — Кураны.

Машины проносятся мимо, и мало кто его замечает, эти несколько крыш в низине, на кромке тайги. Я считаю, что мне повезло — я несколько дней прожил в этом селе. Правда, давно это было, больше двадцати лет назад.

У моего отца был приятель, писатель Вячеслав Бузыкаев, занимавшийся историей Тувы, староверами, вообще, что свойственно многим творческим людям советского времени, имевший тягу к живущим патриархальным, суровым укладом. И однажды он пригласил нашу семью погостить в доме, который снимал в Куранах, староверческом поселении под Балгазыном. Мы приехали.

Многие детали нашего пребывания там за эти годы, конечно, забылись. Личные впечатления смешались с чужими рассказами. Но осталось и постепенно усиливается ощущение счастья, когда я вспоминаю Кураны.

На поляне, но не голой — кое-где растут лиственницы, тополя, осины, — стоят крепкие срубы. Заплотов — неизменных в Туве глухих заборов — вокруг изб и огородов нет. Лишь жидкие прясла — от скотины. Всё и все на виду. Из земли бьют ключи, их много, но почва не болотистая, и картошка здесь рассыпчатая, словно выросшая на песке.

Хочется написать «тишина, покой». Да, покой был, покой и надежность, и тишина тоже. Но не мертвая тишина — первый день, и особенно первую ночь раздражал, сверлил уши непрерывный гул мчащейся неподалеку от села горной реки Шуурмак. (У нее наверняка есть и русское название, но мне его отыскать не удалось — русские обычно называют ее и одноименное село — Шурмак, с одним «у»).

Спали мы на полу, накрывшись меховым одеялом. Помню, что от меха, видимо, закладывало нос, было трудно дышать. На некоторое время я засыпал и тут же просыпался от удушья, садился и удивленно осматривался, забыв, где нахожусь.

Вообще все было непривычно, а особенно жители Куран. До того я видел подобных людей только по телевизору, в исторических фильмах (в то время часто показывали фильм «Россия молодая») — мужчины с окладистыми длинными бородами, в холщовых одеждах, на головах войлочные шляпы, на ногах сапоги вроде яловых; женщины в серых, до самой земли, платьях, платки повязаны как-то по-монашески, скрывая волосы. Жители села были почти все пожилые, молчаливые, сумрачные на вид; взгляд при встрече отводили. Один раз я увидел на их лицах улыбки — по улице (хотя улиц как таковых в Куранах не было, избы стояли поодаль друг от друга без особого порядка) шли розовощекий, с негустой бородой, здоровенный парень, а рядом с ним — девушка, тоже румяная, крепкая. Одеты так же, как остальные, но ярче. И глядя на них, наверняка молодоженов, куранцы светлели лицами, губы растягивала улыбка. Радовались, наверное, что благодаря им, молодым, село не погибнет.

Поначалу мне было неловко, стыдно за этих людей, существующих по собственной воле словно бы век назад. А потом, через два-три дня, я почувствовал неловкость уже от своей модной майки, брюк «под джинсы», кроссовок.

Теперь, спустя два с лишним десятилетия, я очень жалею, что не попытался поговорить с этими людьми, не запомнил интонацию их речи, особенные слова; не запомнил их имен. Но в тринадцать-четырнадцать лет, а столько мне было тогда,

человек обычно замкнут, стеснителен, ершист. И я ходил по Куранам с кислой миной, показно скучал, звал отца на рыбалку, а он о чем-то подолгу разговаривал с Бузыкаевым и приходившим в избу, где мы жили, стариком, видимо, старшим в селе. Вместо того, чтобы послушать взрослых, я уходил на двор или кидал камешки в бегущий Шурмак.

В памяти остался лишь один по-настоящему живой эпизод: мы с мамой собираем клубнику недалеко от села. Вдруг появился бородатый старик и сказал мне: «Это мужинское место. Женщинам тут нельзя». Я не стал спорить и увел маму на другую поляну, убедив, что там ягода лучше.

Много позже я задумался, почему вдруг настоящие староверы (а население Куран составляли исключительно они, несмотря на то, что ели картошку, — она давно стала основной едой староверов) оказались в таком месте — вблизи оживленной трассы, в стороне от основных староверческих поселков Верховья? Но посмотрел карту и понял, что, по всей видимости, пробираясь все дальше в тайгу вверх по горным рекам, предки нынешних куранцев оказались здесь, в глухом тогда, уединенном, укромном месте. (От Верховья до Куран, оказывается, не так уж и далеко.) Прокладка в советское время трассы «Красноярск — Госграница» стала для куранцев ударом, но не заставила покинуть облюбованное местечко.

Между Верховьем и Куранами находится большое село Владимировка, некогда тоже староверческое. Завоевание села «миром» шло долго и трудно. О Владимировке писал в книге «От мира не уйти» Анатолий Емельянов. Вот, например, отрывок про школу: «Владимировская средняя школа занимает особое место в истории жизни поселка. Можно сказать, что владимировцы выстрадали свою школу. До этого наставники учили отдельных детей на дому. <...> Первая настоящая школа была открыта в 1927 году, и ее первым учителем был Гавриил Тимофеевич Копцев.

В то время многие верующие родители выступали против школы, не отдавали в нее детей. А в 1930 году вообще отказались от школы, перевезли ее здание в Балгазын и даже сами помогали переставлять — только бы не было школы во Владимировке. Неприятно теперь это вспоминать, да, как говорится, из песни слова не выкинешь.

В 1934 году построили новое здание школы. Приехал из Кызыла и новый учитель, Спиридон Исакович Роцин, впоследствии погибший на фронте Великой Отечественной войны. И эта школа недолго просуществовала. В 1937 году она сгорела, и, по всей видимости, не случайно: очень уж жарко была натоплена печь. В 1939 году школу построили снова, а в 1944 году — снова пытались сжечь».

Есть в той книге и очерк о Куранах (датирован 1968 годом). Начинается он так:

«Десяток-полтора неказистых домиков разбросаны там и сям среди полыхающих осенним пламенем лиственниц и тополей. Спокойные голубоватые дымки поднимаются повсюду и незаметно тают, сливаясь с прозрачностью осеннего воздуха. Кураны. Не без любопытства всматривался в эти домики, в людей, убирающих картофель на огородах. Разное говорили о Куранах. Приходилось слышать, что живут здесь одни верующие — старообрядцы, фанатики, без электрического света, радио, газет, живут как одиночники, обзаведясь скотом и огородами, и нигде не работают».

Спустя примерно два десятилетия после этого описания в Куранах ничего внешне не изменилось. Чего-либо вроде сельсовета, магазина я не заметил, техники — тоже. Электричества, по крайней мере, в том доме, где мы жили, не было. Не знаю, как там теперь, спустя еще двадцать лет. Однажды я услышал, что Куран больше не существует, но, позвонив знакомым в Кызыл, узнал, что домишки стоят, правда, в сами Кураны никто из них не заезжал, да и раньше не бывал никогда.

В интернете почти никакой информации об этом селе нет. Лишь краткие упоминания и лишь одно сообщение, с Куранами связанное: на сайте газеты «Центр Азии» (число и год я не обнаружил, но явно недавнее), в разделе криминальной хроники: «В с. Куран Тес-Хемского кожууна обнаружен труп 65-летнего мужчины с ножевым ранением в область сердца. Задержана подозреваемая: 62-летняя сожи-

тельница, которая, по предварительным данным, нанесла ножевое ранение сожителю».

Вот такая весточка из села, которое в моем представлении является идеалом.

...Не знаю, удастся ли мне еще когда-нибудь очутиться в Куранах. И во многих других местах Тувы, которые колют душу ностальгией. Да и не видел я в Туве многого — почти не знаю запад ее, не бывал на Уш-Белдире — целебных источниках на востоке Тувы, где есть, говорят, древние, вырезанные в скалах ванны, а теперь устроен курорт. Добраться до Уш-Белдира можно только самолетом-кукурузником, и то лишь при благоприятной погоде, которая случается очень редко. Не бывал я на озере Тере-Холь, где на острове находятся знаменитые развалины Пор-Бажына (то ли крепости, то ли ламаистского монастыря); не видел и Убсунурскую котловину, одно из чудес Центральной Азии. Очень плохо я знаю свою малую родину.

С одной стороны, конечно, довольно легко узнать ее лучше — скажем, взять и провести в Туве отпуск. Тем более есть где пожить. А с другой... Все непросто, все как-то не складывается. И даже когда бываю в Кызыле, поездки по Туве ограничиваются озером Сватиково, ближним загородом. К тому же весь отпуск посвятить Туве вряд ли получится — нужно родителям в деревне помочь, дочек свозить на море.

Моя жизнь все сильнее завязывается на Москву. И все сильнее тянет к себе Тува. Иногда, выпив вечером, повспоминав, послушав записи «Ят-Хи» или «Хуун-Хуур-Ту», я прихожу к мысли, что ведь запросто могу уехать. Заявить, что мне нужен творческий отпуск, собрать сумку, поцеловать жену и дочек, пообещать стабильно высылать деньги и сесть в поезд «Москва — Абакан». Забраться на верхнюю полку плацкартного вагона. Трое суток в пути копить силы, потом — дня два провести у родителей и — в Туву.

Устроиться в одну из кызылских газет, ездить по республике, писать репортажи, изучать современную жизнь, собирать материал для романа. Может быть, закончить отцовскую книгу об Урянхайском крае. Там, на месте, это сделать будет, наверное, легче.

Много мыслей, во хмелю становящихся четким планом, возникает в голове. Но наутро звенит будильник, я поднимаюсь и продолжаю московскую жизнь, заполненную, забитую делами, проблемами, событиями, но в целом пустоватую, какую-то ненастоящую. Или я себя убеждаю, что она пустоватая и ненастоящая? Известно же — хорошо там, где нас нет. А Тува, маленький уютный Кызыл — страна моего детства и юности, и меня там нет. Я здесь, в Москве...

Леонид Фишман

Мы попали

Касательно реальной истории говорят, что главный ее урок следующий: она никогда никого ничему не научила. Даже если мы пытаемся прилежно усвоить ее уроки, то они оказываются бесполезны для нас по той простой причине, что одна ситуация никогда не повторяется дважды. Опыт предков ничему не может научить нас, поскольку время, когда он мог быть эффективно применен, уже безвозвратно миновало.

Однако люди, хоть сколько-нибудь неравнодушные к прошлому, никогда не перестанут интересоваться двумя вопросами: что было бы, если события в какой-то временной точке повернулись не так, а иначе? Как мог бы повлиять на историю наш современник, окажись он в прошлом? Если первый вопрос нередко затрагивается профессиональными историками, то второй ставится почти исключительно фантастами. Но от этого он не становится менее значимым для тех, кто желает узнать, чего хочет современный «средний человек», как он оценивает свою способность повлиять на ход событий и, главное, какие уроки он извлечет из мировой истории и конкретно истории России? В конечном счете, большинство книг альтернативно-исторического жанра пишутся «средними людьми» (в хорошем смысле — пусть писатели не обижаются!) для «средних людей», а героями их являются все те же «средние люди» — иначе они не вызвали бы у нас отклика и читать их нам было бы не так интересно. Конечно, какие-то бонусы вроде владения боевыми искусствами герою, отправляемому в прошлое, давать почти всегда необходимо. Но интерес ведь состоит в том, что изменить историю герой может скорее не благодаря бонусам (они для того, чтобы выжить в первое время, не более), а благодаря своим вполне обычным для нашего времени знаниям и способностям.

Два попаданца

Во многих произведениях отечественных и зарубежных фантастов наш современник¹ попадает в прошлое или вообще в другой мир. Часто этот мир средневековый, фэнтезийный, с магией и т.д. Хотя попаданцы в иные миры не являются объектом нашего интереса в этой статье, мы не можем совсем пройти мимо них по той причине, что это все те же «наши люди». Т.е. те же самые «средние люди», которых другие авторы отправляют в прошлое. Все же некоторые различия существуют, и мы специально коснемся их ради того, чтобы на фоне портрета попаданца в иные миры некоторые характерные черты попаданца в прошлое проявились ярче.

Итак, являются ли путешественники в иные миры и попавшие в земное прошлое попаданцами одной природы? Во многом на этот вопрос можно ответить положительно. В конечном счете, все эти люди — наши с вами современники со всеми вытекающими отсюда последствиями. Далее начинаются некоторые различия.

Попаданец в фэнтезийный мир часто до некоторой (иногда большой) степени чужд своему родному миру. Например, увлекается не тем, чем большинство, имеет

¹ Мы будем называть его «попаданцем», как это принято среди любителей произведений данного жанра.

другие ценности и даже выходящие за рамки обыденного способности, например, экстрасенсорные. Другой, новый мир ему соответствует гораздо больше, поэтому он в нем успешно ассимилируется. «Ubi bene, ibi patria».

Попаданец в прошлое обычно не испытывает особых проблем в родном мире. У него тоже могут быть увлечения, которые у большинства современников не пользуются особой популярностью — например, боевыми искусствами или историей — вплоть до участия в ролевых играх и т.д. Что накладывает определенные штрихи на его систему ценностей. В целом же — довольно успешно социализированный человек. Правда, это не мешает ему столь же успешно ассимилироваться в прошлом и даже существенно изменить его «под себя». После чего не очень хочется возвращаться назад. Тут уже работает не принцип «Ubi bene, ibi patria», а скорее принцип «self made man», установка чуть ли не колонииста времен европейской экспансии.

Попаданец в фэнтезийный мир часто *вызывается* туда ради выполнения какой-то очень важной миссии. (Случаи, в которых герой просто делает успешную магическую, военную и политическую карьеру, нам в данном случае не интересны, хотя и могут представлять ценность с развлекательной точки зрения.) В этом мире он оказывается не случайно, даже если его никто специально не вызывал. Просто — возникли проблемы, которые не решаются без вмешательства извне. Тогда герой данный мир спасает, нередко корректирует отклонения в естественном развитии этого мира, которые возникли благодаря чуждому вмешательству или стали плодом внутреннего развития. Но тут надо заметить, что такого рода герой обычно существо скорее консервативное, чем наоборот, что неудивительно для спасителя и восстановителя статус-кво. Даже если он вынужден вносить некоторые изменения в новый мир, например, насаждать элементы науки, техники, новые вооружения и т.д., то это не делает из него революционера или реформатора по мировосприятию. Ведь это только для иного мира его деяния кажутся чем-то необычным, сам же герой действует по привычному шаблону, просто отчасти меняя окружающую среду под себя. Он изменяет мир как внешняя сила, ни революционная, ни консервативная сама по себе, просто — другая.

Впрочем, для фэнтезийного попаданца такая роль неудивительна. Ему вовсе не надо быть чем-то особенным. Здесь и так целый мир особенный. Попаданец оказывается в нем чаще не для того, чтобы учить кого-то, а чтобы научиться жить другой жизнью — той, которая ему больше подходит по внутренним склонностям.

Если читатель подумал, что попаданец в земное прошлое является психологической противоположностью своему фэнтезийному близнецу, то он ошибается. Попаданец в прошлое еще более ограничен в своем революционно-реформаторском потенциале. В каком-то смысле он — антиреволюционер до мозга костей. Попаданец в фэнтезийный мир чужд этому миру и тем самым невольно может стать революционизирующим фактором. Но его альтернативно-исторический аналог попадает в свой же родной мир!

Что это значит?

В общих чертах он уже знает, как наш мир будет развиваться, что произойдет через 300, 200, 100 или менее лет. Он знает, какие проблемы возникнут и какими способами они будут решаться, какие факторы дадут кому-то преимущества, а для кого-то окажутся фатальными и т.д. С высоты времени своего рождения он знает, какие мероприятия окажутся эффективными для достижения определенных целей, а какие ошибочными. Иными словами, у него уже есть готовое представление о том, что ведет к успеху во всемирно-историческом масштабе, а что нет, какие пути правильны, а какие ведут в тупики. После всего этого ему лишь остается выбрать верный путь и уклониться от неверных; в конечном счете, подвести своих предков к выстраданным ими же решениям... только пораньше.

Действуя в пределах набора уже известных решений, такой попаданец принципиально изменить мир не может. Если все слагаемые успеха известны, то от их перемены сумма не меняется. Но что меняется? Меняется список победителей и побежденных, «проигравших историю» и выигравших. Огрубляя: те, кого били раньше, в альтернативном варианте сами побьют своих обидчиков. Кто был богатый, станет бедней — и наоборот. Кто владел половиной мира, существенно потеснится. В целом же мир останется тем же самым, он не станет ни лучше, ни справедливее. Потому что авторы, как правило, не посылают в прошлое таких безумцев, которые хотели бы навязать «человечеству сон золотой». У них на таких безумцев иммунитет.

Есть ли у попаданца идеология?

Сразу отбросим произведения, в которых «наш» человек успешно адаптируется и принимает правила того мира, в котором оказался, не пытаясь их изменить. Это развлекательное чтение, не более. Нас интересует человек, меняющий другой мир, будь то фэнтезийный или же мир нашего собственного прошлого. Чем он руководствуется?

В ряде произведений герой явно руководствуется определенными политическими если не взглядами, то симпатиями. Он может быть либералом, монархистом или сталинистом (точнее — сторонником советского строя).

Либеральные попаданцы действуют в цикле Василия Звягинцева «Одиссей покидает Итаку». Группа интеллигентов конца 1980-х попадает то ли в наше прошлое, то ли в альтернативную ветвь истории, получает доступ к инопланетным технологиям, переигрывает Гражданскую войну отчасти в пользу белых и организует что-то вроде Острова Крым. Другой условный либерал — Дмитрий Беразинский. В его книгах — «Путь, исполненный отваги», «По ту сторону черной дыры» — переделка российской истории попаданцами начинается со времен Петра Первого, на место которого ставится Софья. Можно начать вообще со времен Смуты, как у Алексея Махрова в «Вихре времен»: тут симпатии наших современников отдаются цивилизованному и приятному во всех отношениях Лжедмитрию Первому. У Дмитрия Шидловского («Враги», «Противостояние») в прошлом оказываются два университетских друга: один — сторонник социализма, другой — либерал. Либерал действует в загоды (в других книгах цикла «Орден») созданной буржуазно-демократической Северороссии, государстве на территории примерно Ленинградской области и Прибалтики; сталинист же проходит карьеру революционера, а потом партийного и хозяйственно-го работника. Симпатии автора явно на стороне первого.

Среди произведений с монархическими попаданцами можно отметить сериал Александра Прозорова «Боярская сотня», в котором уже целая тусовка реконструкторов попадает в начальные годы правления Ивана Грозного и по мере сил способствует ему во всех начинаниях — от политических до промышленных и военных. Единственный отщепенец, сторонник западной цивилизации, откалывается и всячески вредит России с турецкой территории. У Валерия Елманова в цикле «Обреченный век» разворачивается альтернативный вариант истории, где в результате вмешательства группы попаданцев Русь объединяется еще перед началом монгольского нашествия и превращается в могучую империю, безусловного мирового гегемона. К условно монархическим попаданцам можно отнести героя цикла Евгения Красницкого «Отрок», там в еще более ранний период Киевской Руси попадает не воин, не ученый, а профессиональный управленец. Сериал не закончен, но, судя по вышедшим трем книгам, подрастающий отрок лелеет объединительно-монархические замыслы.

«Сталинистские» попаданцы, т.е. сторонники советского строя, оказываются в прошлом накануне Великой Отечественной или в ее начале, как в книгах Владислава Конюшевского «Попытка возврата» и Сергея Буркатовского «Вчера будет война». Они по мере сил помогают выиграть войну СССР. Герой первой книги, обладая военными навыками и техническими познаниями, выступает как боевик и советник самого Сталина, якобы способный предвидеть будущее. Более скромный и по-человечески привлекательный герой Буркатовского — обычный веб-дизайнер и никакой не супермен. Сыграв роль советника Сталина на начальном этапе, он уходит на фронт и там погибает, как миллионы советских людей.

Очень многих попаданцев по идеологическому критерию идентифицировать весьма непросто. Герои с явными вроде бы либеральными симпатиями (как в произведениях Шидловского, Беразинского или Махрова) охотно помогают царям и королям, способствуют укреплению их власти. Герои Конюшевского и Буркатовского вполне могут быть квалифицированы не как сталинисты, а как патриоты своей страны. При чтении других произведений жанра альтернативной истории возникают еще большие затруднения. Видимо, срабатывают ограничения грубой идеологической классификации.

Как, скажем, квалифицировать взгляды главного героя в «Командоре» Волкова? Оказавшись в прошлом, после своей бурной пиратской одиссеи он с командой при-

бывает в Россию и начинает активно помогать Петру Первому. На монархиста он при этом нисколько не похож. Просто заботится о промышленном и военном развитии родины. При реформаторе Петре это в некоторых отношениях делать проще. Другая героиня, тоже пиратка — из цикла Елены Горелик «Не женское дело», — в отличие от волковского командора в Россию вообще не наведывается, а организует эгалитарную, промышленно и научно развитую республику в Карибском море. Однако и о России не забывает. Меняя потихоньку мировой расклад сил, она делает это с расчетом на то, что у ряда европейских стран в альтернативной истории возникнут такие проблемы, что им будет не до России. И та сможет развиваться спокойнее. Особенно если опять-таки поспособствовать укреплению власти Софьи, а молодого Петра выписать к себе на обучение-воспитание... Все это нельзя назвать ни монархизмом, ни либерализмом.

Еще более характерные примеры идеологической некалфицируемости мы находим в ряде появившихся за последние годы произведений, в которых наши современники оказываются в России конца XIX или начала XX века.

Герой цикла Глеба Дойникова «Варяг» дает согласие на перенос своего сознания в тело командира крейсера «Варяг». Вслед за главным героем по той же «дорожке» во времена русско-японской войны следует еще несколько наших современников. Понятно, что война с Японией начинает разворачиваться иначе, чем в реальности. Кроме того, овладев доверием Николая Второго, попаданцы склоняют его к неолжым социальным и экономическим реформам.

Примерно так же обстоит дело в цикле «Господин из завтра» Алексея Махрова, Бориса Орлова и Сергея Плетнева. Только у них простой русский инженер оказывается сразу в теле юного цесаревича Николая Второго, а еще несколько друзей и знакомых, обладающих широким спектром познаний и навыков, в телах других членов царской семьи, военных, промышленников. Конечно же они развивают науку и технику, заключают союз с Германией, организуют спецслужбы, проводят некоторые социальные реформы. Японию, воспользовавшись нападением на молодого Николая, когда он ее посещал, решают задавить, пока она еще маленькая.

В «Кавказском принце» Андрея Величко герой, обладающий возможностью перемещаться из своего времени в параллельный мир России начала XX века, помогает великому князю Георгию Александровичу, лечит его от туберкулеза, потом способствует тому, чтобы он стал императором и т.д. И, конечно, периодически таскает из своего времени нужных людей, технологии, технику. Разумеется, он развивает технику, в первую очередь военную, модернизирует промышленность, строит железные дороги, заключает союз с Германией, выигрывает войну с Японией, а потом мирится и дружит с ней. В итоге происходит небольшая победоносная война с Англией.

Герой «Спекулянта» Валерия Самохина, после удара по голове очутившийся в прошлом, на рубеже XIX—XX веков, в теле купеческого сына обладает помимо боевых навыков не столько знанием науки и техники, сколько знанием финансовых технологий. Их-то он и применяет с размахом. Вначале — чтобы стать богатым, а затем — чтобы ввергнуть мир в экономический кризис и принудить ведущих финансовых магнатов инвестировать в российскую экономику. Потому что в спланированной им ситуации для них это остается единственным способом сохранить благосостояние. И, конечно, чтобы не появилось лишних денег для финансирования злополучной Японии, которая, как известно, вела войну с Россией в долг. К сожалению, в финале героя опять бьют по голове, и мы лишаемся возможности увидеть, к чему привели его действия на благо России.

К этим книгам можно добавить «Тринадцатого императора» Н.Сомова и А.Биверова, а также «Главное — воля!» А.В.Андреева¹. В первой из них герой оказывается в теле цесаревича Николая и раньше реального исторического времени наследует скончавшемуся Александру II, во второй наша современница обнаруживает себя в теле невесты Николая, Алисы Гессенской. Оба сразу развивают кипучую деятельность по реформированию армии, промышленности и государственного аппарата — с далеко идущими замыслами. Оба создают себе спецслужбы и начинают активно

¹ В настоящее время они существуют только в электронном виде, но это не принципиально, поскольку нам интересен не факт издания или неиздания, а сами авторские представления о том, что наш «средний человек» будет делать в прошлом.

работать с общественным мнением вплоть до создания особых ведомств по манипуляции общественным мнением России и Запада. При этом у «тринадцатого императора» никаких особых политических симпатий не обнаруживается: свою задачу он видит в том, чтобы просто сделать Россию величайшей империей, дабы в далеком будущем предотвратить ядерную войну. Взгляды попаданки в теле Аликс представляют собой причудливую смесь воззрений Андрея Паршева и Сергея Кара-Мурзы... что, впрочем, мало влияет на ее конкретные мероприятия.

В общем, картина складывается следующая. Занимая либо высшие посты в государстве (вплоть до императора российского), либо приближенное к высоким особам положение, попаданцы начинают всячески развивать науку и технику, отстраивать промышленность и заключать выгодные союзы. Все это делается с двумя главными целями: чтобы Россия не проигрывала войн и чтобы в ней не случилось революций. Попаданцы укрепляют империю. Но при этом герои вовсе не тянут на полноценных монархистов. Авторы скорее посадили их на высокие посты ради облегчения реформаторской деятельности. Задача — столкнуть Россию с катастрофического пути, пока это еще можно сделать. Дается им на это не более 10—20 лет. Тут сразу слышится сталинское: «Мы отстали от развитых стран на сто лет. Мы должны пробежать этот путь за десять лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут». Правда, пробежать отпущенный срок авторы хотят не по-сталински — с минимальными жертвами. Это в альтернативной истории, конечно, возможно, если, выражаясь по-геймерски, активно читерствовать¹. Чем герои и занимаются.

Окинем взглядом нашу политическую классификацию альтернативной истории в последний раз, дабы к ней более не возвращаться. Слишком уж много она не учитывает.

Так что же, в большинстве альтернативно-исторических произведений вообще нет никакой идеологии и написаны они исключительно для развлечения читающей публики? Позволю себе с этим не согласиться. Кто хочет просто развлекать публику, в большинстве случаев выбирает гораздо менее трудоемкие жанры. Писатели-альтернативщики к таковым не относятся — для написания альтернативной истории надо иметь достаточно глубокие познания в истории реальной. (И не в последнюю очередь в истории развития науки и техники.)

На самом деле в большинстве альтернативно-исторических произведений есть общая идеологическая парадигма, которая не замечается только потому, что стала для нас привычной как воздух и вода. Это парадигма модернизации, точнее — «догоняющей модернизации».

Что бы ни говорил «средний» российский человек о своих политических взглядах, у него есть столь же «усредненное» представление о «правильном» обществе и правильном пути исторического развития. Это так называемое модернизированное общество.

Поэтому когда такой «средний человек» забрасывается автором в прошлое, программа его действий автоматически нацеливается на то, чтобы история пошла «правильным» путем. Политические взгляды вроде монархических, либеральных или коммунистических, как мы могли увидеть, сами по себе роли не играют, мало влияя на то, что попаданец станет творить в прошлом или в ином мире *по существу*.

Он будет модернизировать общество по вполне определенному шаблону. Это шаблон ранних теорий модернизации примерно 1950—70-х годов. Согласно этому шаблону (по Нейлу Смелзеру) «в экономике отмечаются (1) появление новых технологий; (2) движение от сельского хозяйства как средства к существованию к коммерческому сельскому хозяйству; (3) замена использования мускульной силы человека и животных «неодушевленной» энергией и механизмами; (4) распространение городских типов поселений и пространственная концентрация рабочей силы. В политической сфере модернизация означает переход от авторитета вождя племени к системе избирательного права, представительства, политических партий и демократического правления. В сфере образования под модернизацией мыслятся ликвидация неграмотности, рост ценности знаний и квалифицированного труда. В религиозной сфере она выражается в освобождении от влияния церкви; в области семейно-брачных

¹ То есть в компьютерной игре путем введения специальных «кодов» давать себе разные преимущества, которыми противники, играющие честно, не обладают.

отношений — в ослаблении внутрисемейных связей и все большей функциональной специализации семьи; в области стратификации — в усилении значения мобильности, индивидуального успеха и ослаблении предписаний в зависимости от занимаемого положения»¹.

В то же время в модернизированных обществах распространен тип личности, имеющий такие свойства: «(1) независимость от традиционных авторитетов, антидогматизм мышления, (2) внимание к общественным проблемам, (3) способность приобретать новый опыт, (4) вера в науку и разум, (5) устремленность к будущему, умение воздерживаться от удовольствий, (6) высокий уровень образовательных, культурных и профессиональных притязаний»².

Неорганический органический модернизатор

Неудивительно, что большинство наших героев-попаданцев нельзя квалифицировать иначе чем как «просто модернизаторов». Им ничего иного не остается. Стоит вспомнить, что сама по себе парадигма модернизации, как справедливо замечает Александр Тарасов, возникла, во-первых, в качестве альтернативы социализму, а во-вторых, «чтобы выработать для западной общественной науки оптимистическую парадигму исторического развития, отличную от той, что была популярна между двумя мировыми войнами — от концепции кризиса и «заката» западного мира, представленных именами Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнби, Питирима Сорокина, Карла Ясперса и других»³.

Все это как нельзя более подходит к нашей ситуации. В социализм в своем большинстве мы уже не верим. Правда, теперь у нас из того же корня, откуда на Западе выросли взгляды Шпенглера, Тойнби и др., растут воззрения сторонников различных версий русского «особого пути», определенного нашей уникальной цивилизационно-культурной идентичностью. Однако, хотя подобного рода взгляды сейчас довольно популярны, так сказать, в теории, вряд ли средний постсоветский человек извлечет из них что-то практически полезное, оказавшись в прошлом и попытавшись изменить историю в русле какого-либо «особого пути». Ему поневоле все равно придется действовать как прежде всего «абстрактному» модернизатору. Еще в 1926 году, когда Вениамин Гиршгорн, Иосиф Келлер и Виль Липатов в «Бесцеремонном романе» отправили уральского инженера в наполеоновскую Францию, чтобы изменить историю, их герой, при всех своих социалистических симпатиях, осуществлял во Франции вполне стандартную модернизационную программу. Новые вооружения, наука, техника, железные дороги, паровой флот, элементы конституционализма и т.д. — все это превращало Францию в могущественнейшую страну мира, которая легко сокрушала или подчиняла своих противников. Конечно же во имя прогресса. От ставшего ненужным под конец мавра-Наполеона авторы элегантно избавились с помощью торпеды. В наше время А.Громов в книге «Последний шанс для динозавра» обрисовал ситуацию, в которой герои, сбежавшие с отвратительно либеральной Земли будущего на отсталую планету, стремятся облагодетельствовать ее — т.е. своротить с пути, который ведет в бездуховный потребительский рай земного будущего. Взамен они хотят построить что-то вроде смутно ими самими представляемого традиционного общества. Вот только на пути к этому обществу им поневоле приходится заниматься все той же научно-технической модернизацией. Ведь надо создать индустриальную базу для завоевания всей планеты, чтобы потом насадить свои вообще-то исключающие модернизацию ценности.

Но наш современник в прошлом будет действовать как модернизатор не только потому, что более разумной стратегии ему не придумать в любом случае. Он просто такой по природе. Сделав скидку на отечественную специфику, мы без труда обнаружим, что подавляющее большинство попаданцев являются типичными индивидами модернизированного общества. Поэтому описываемые попаданцы могут занимать

¹ Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996, с. 173.

² Там же, с. 174.

³ Тарасов А. Теория модернизации, вид оружия идеологической борьбы // «Рабочий вестник» (Пермь), № 71, 2004.

места князей, графов, прочей элиты, но ведут себя с людьми «демократично», в них нет и не может быть сословной спеси. Это получается не специально, таковы их привычки, социальные инстинкты. Они насаждают вокруг себя нормы цивилизованного отношения к рабочему человеку, сами организуя профсоюзы. Даже занимая «посты» высшей аристократии, они способствуют введению ограниченного конституционализма. С революционерами они борются передовыми методами НКВД и Гестапо¹, особенно с террористами. Но не гнушаются и использовать их «втемную». Изменения, которые они производят, полностью укладываются как в сформулированные выше представления о модерновом обществе, так и в представления о том, что есть модерн по-советски и постсоветски. Иначе говоря, несмотря на развиваемую попаданцами бурную деятельность, они на самом деле не создают ничего нового.

Тут мы сталкиваемся с тем стремлением, которое, похоже, овладело большей частью нашего общества, начиная с элит и заканчивая низами, с конца 1990-х. А именно — стремление ничего по большому счету не менять, не придумывать ничего нового. Все уже и так придумано, если не другими успешными народами, так нашими предками. Россия исчерпала лимит на революции, и теперь ей следует идти по пути уже опробованных кем-то решений. На этом в конце 1990-х сошлись практически все, начиная от либералов и заканчивая патриотами. Правда, в ситуации непредсказуемого будущего такая позиция выглядит сомнительной. Но для попаданца-то как раз такой проблемы нет! Перенос человека в прошлое открывает уникальную возможность действовать именно по шаблону. Ему уже известны правильные, т.е. оправдавшие себя в пределах известного ему прошлого стратегии развития, не говоря уж о конкретных технических решениях. Не надо изобретать ничего нового. Он уже знает, что при успехе последствия будут приемлемые. Главное — успеть и все сделать правильно.

Иными словами, в лице описываемых авторами попаданцев мы сталкиваемся с парадоксом. Безусловно, человек, который не хочет ничего менять в настоящем, не стал бы писать альтернативную историю, не стал бы выводить в качестве ключевых героев, стремящихся менять общество. Но эти авторы посылают в прошлое наших с вами современников, которые ранее согласились на то, что ничего нового в социальном и прочих планах придумать уже невозможно, что мир по большому счету изменить нельзя. Теперь, в реальной истории, до них начинает доходить потихоньку, что надо бы что-то поменять. Но, с их нынешним мировоззрением, они могут представить себя только меняющимися... прошлое — и по известному шаблону.

И вот с таким противоречивым мироощущением герои и создавшие их авторы начинают менять историю.

Что из этого выходит?

Выходит то, что альтернативная история оказывается не слишком-то альтернативной. Просто делается так, чтобы те, кто выиграл в реальной реальности, проиграл в альтернативной. Пусть тот, кто реально стал первым, таковым не будет. Или пусть у него возникнут такие проблемы... Принципиально мир не меняется. В нем не побеждает коммунизм, развитие цивилизации не идет по биологическому вместо технологического пути и т.д. Жить новый мир будет по старым правилам взаимоотношений сильных и слабых, богатых и бедных, раба и господина. Других правил писатели за редким исключением не представляют. Правила существующие им кажутся справедливыми, естественными. Меняются только места глобальных игроков. Иногда такая смена доходит до абсурда, как в рассказе С.В.Муратова и Ф.А.Славкина «Благими намерениями» — про Россию, которая вместо США, которые сидят себе тихо, воюет в Афганистане и Ираке. Или же вообще Россия частично превращается в Америку, как в рассказе Ирины Андронати и Андрея Лазарчука «Зяц белый, куда бегал?», в котором разворачивается альтернативный вариант истории, берущий начало не от казни декабристов, а от высылки их в Америку.

В целом этот мир справедлив, законы его верны. Одно плохо — история незас-

¹ Они учли опыт попаданца из «Бесцеремонного романа», который, встречая сопротивление своим мероприятиям со стороны французских реакционеров, периодически восклицает: «Эх, чеки на них нет!» Наши современники едва ли не первым делом заводят себе что-то вроде «чеки» — сразу против реакционеров и революционеров. У них исторический опыт побогаче, чем у еще в чем-то наивного героя «Бесцеремонного романа».

луженно обидела Россию, обойдясь с нею по этим законам. А могла бы и сделать исключение. Желая изменить историю, авторы заставляют героев обманывать ее законы.

Но и в этом они тоже не оригинальны. Дело в том, что законы истории пытаются обманывать давно, причем не в фантастике, а в реальности. И не только в России, а в доброй половине мира, где осуществляется (или раньше осуществлялся) модернизационный транзит. Причем вполне себе альтернативно-историческими методами: руками натуральных «засланцев из будущего» с передовыми технологиями (в том числе и социальными). Ведь в конечном счете, как говорил еще Маркс, сегодняшний день развитых стран — это завтрашний день стран отсталых. Русские были едва ли не первыми, кто ходил по этой дорожке в реальности и ходит теперь. Так что стремление сыграть с историей крапленой колодой — это наш, можно сказать, национальный спорт. «По-честному» мы не можем быть самими-самыми. Не сложилось. Но мы зато можем подсмотреть будущее в его техническом и социальном аспекте за границей (вариант — у социальных теоретиков). А потом перенести его к себе. Причем сделать это быстрее, не повторяя промежуточных этапов развития. Натуральный скачок в будущее, обычный для мышления попаданцев из фантастики.

Итак, попаданец — это однозначно модернизатор. По крайней мере, по отношению к средневековому или еще не далеко ушедшему от него контексту «наш» человек ощущает себя как вполне современный. Нисколько не хуже янки при дворе короля Артура, который тоже ведь был человеком модернизированного общества, только вековой давности. В книге Николая Якубенко «Игра на выживание» именно так и воспринимают себя два наших современника, оказавшихся в мире с магией и т.п. Из уст героя звучит прямо-таки манифест модерна как антитрадиционализма: «Я предлагаю начать менять этот мир последовательно и радикально. Пока мы принесли сюда только войну и убогое подобие прогресса. Но прогресс должен нести не только пушки! Он должен нести освобождение от вечного страха и глупой, бессмысленной работы.

Новые идеи, ценности. Технологии должны ломать старое мышление, быть лучом света, который разгонит мракобесие и принесет надежду на перемены. Технология будет двигателем этих перемен. В глобальном масштабе».

Иными словами, когда мы обращаемся к прошлому на предмет самооценки, то проблем нет — мы воспринимаем себя как современное общество, а наш человек видит себя однозначно модернистом. Проблемы с самооценкой возникают в настоящем, поскольку модернизация модернизации рознь.

Как известно, различают две основных разновидности модернизации: *органическая* и *неорганическая*. Органическая модернизация естественна, как долго вызревавший продукт развития общества. Неорганическая является собой ответ на внешний вызов со стороны более развитых стран и совершается путем заимствования нововведений, специалистов и т.п. извне. То есть неорганическая модернизация совершается путем целенаправленных усилий «сверху», с экономики и политики, а не с глубинных культурных изменений. Разница между органической и неорганической модернизацией это разница между Россией и Европой.

В случае альтернативной истории мы наблюдаем попытку модернизации с заимствованием своего собственного опыта, который приобретен в будущем. Это опыт не только технический, но и социальный, и культурный. Строго говоря, модернизацию проводит индивид, являющийся продуктом неорганической модернизации. Он отлично знает это и ставит себе цель сделать модернизацию несколько более органичной. Что возможно только в условиях получения некоего преимущества — чтобы твоей стране не бросали таких в первую очередь военных вызовов, на которые она могла бы ответить только на пределе своих сил. В альтернативной истории поэтому концепция «догоняющего развития» элегантно преобразуется в концепцию «обгоняющего развития». Попаданец — это обгоняющий модернизатор, действующий традиционными средствами модернизатора догоняющего.

Возникает впечатление, что фигура попаданца в отечественной фантастике пришла на смену фигуре другой, внешне близкой ему фигуры отечественной фантастики — прогрессора. По сути они оба обладают сознанием человека современного общества. Но чем отличается попаданец от прогрессора? Практически всем. Начиная от того, что за прогрессором, в отличие от попаданца, обычно стоит сила развитой цивилизации, и заканчивая тем, что прогрессор не ставит цели изменить ход

истории. Прогрессор, если брать его в изначальном варианте, каким он появляется у Стругацких, это фигура с больной совестью, разрывающаяся между жалостью к аборигенам и рационально обоснованным отказом от вмешательства в чужую историю — «потому так будет еще хуже». Он боится быть богом, поскольку знает, что, как только уступит соблазну, тут же превратится в колонизатора и культуртрегера. Ни тем, ни другим он тоже быть не хочет, ибо помнит об отрицательном земном опыте культуртрегерства и колонизации.

Но самое важное отличие прогрессора от попаданца в том, что, кроме гуманистических соображений, его ничего не толкает радикально менять историю чужого ему мира. Прогрессор имеет теоретическое представление о том, что естественный ход развития данного мира весьма жесток сейчас и еще долго останется таким. Еще прольется много крови, совершится много несправедливости и т.д. Но это абстрактное знание. Как вся эта жестокость свершится, каковы будут жертвы, прогрессору точно не может быть известно. Он не провидец. Но он на опыте своего мира знает точно, что попытки форсированного развития редко приводят к чему-то однозначно хорошему.

Попаданец-модернизатор — это человек, не имеющий моральных и гносеологических ограничений прогрессора. Столкнувшись с каким-нибудь разделенным в себе Доном Руматой, он мог бы ему ответить на возможные упреки: «Не меряй меня по своей мерке. Я совсем не бог и не боюсь быть им, потому что все равно не смогу. Я не чужд этому миру, он мой. А вот это моя страна. Мне поэтому особенно не безразлична ее судьба. Это ты не знаешь, что будет через века, а я знаю. Ты боишься опасностей быстрой езды по дороге прогресса, тебе жаль *аборигенов*, которых раздавит «слишком быстро» несущаяся его колесница. Поэтому ты предпочитаешь не делать ничего. А я точно знаю, что бывает с теми странами и народами, которые отстают и потом платят страшную цену за то, чтобы догнать. Если тебя интересует цена, я тебе могу даже привести цифры и факты, достоверные в той мере, в какой их установила современная мне историческая наука. Так представь, насколько же *мне* жаль *своих собственных* предков? Поэтому я буду делать все, что в моих силах. И главное: в отличие от тебя, я знаю, что надо сделать, чтобы успешно изменить историю хотя бы для конкретно моей страны. Это ведь даже и не мое собственное знание, это знание моих предков, которые добыли его кровью и потом. Только теперь это знание придет по назначению не слишком поздно... Пока не поздно, я должен успеть! Ты говоришь мне, что я хочу купить счастье для своего народа ценой несчастья других. Ты призываешь меня пожалеть другие народы, которые в результате моего вмешательства проигрывают. Какое мне дело до них? Разве эти другие, более везучие народы бескорыстно делились своими преимуществами с другими, когда обретали их? Нет! Они использовали их совсем для другого. Я такой же человек, как представители этих народов, не хуже и не лучше. И поступлю так же».

Произнеся эту краткую, но энергичную речь, попаданец отправится вершить свои модернизаторские дела. А Дон Румата, отступив в смятении, поймет, что на сей раз мы, кажется, *попали*.

Потому что если верно то, что реальная история ничему не может научить нас, то, похоже, история альтернативная очень даже может. Она учит нас, что мы проиграли XX век не из-за того, что оказались не способны предложить человечеству действенной альтернативы развития, а потому, что просто оказались недостаточно модернизированы. Парадигма модернизации является сухим остатком, главной моралью, которую мы вынесли на сегодняшний момент из всей нашей истории последних веков.

Поэтому, будь наша воля, мы хотели бы просто «читерски» обмануть историю, которая незаслуженно обидела Россию, не сделав для нее исключения из своих законов. Мы ничего не забыли, но ничему и не научились.

Ольга Балла

Рай для всех

«Теперь только я уразумел, насколько правилен и как глубоко продуман был ответ благородного философа Анахарсиса, который, когда его спросили, какое судно представляется ему самым надежным, ответил: "То, которое стоит в гавани".

— Это что! — сказал Пантагрюэль. — А вот когда ему задали вопрос, кого больше: мертвых или живых, он в свою очередь спросил: "А куда вы относите плавающих в море?"»

Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

Ни одной постоянной черты у Облака не было. Оно могло принимать любой вид — в зависимости от того, как захочется мне, его единственному тайному владельцу и капитану, — а для прочих оставалось невидимым. Оно и Облаком называлось просто потому, что надо же как-то называть. Оно умело быть подводной лодкой, самолетом, лифтом, поездом, космическим кораблем — и, разумеется, машиной времени. А также и *машиной пространства*: было способным моментально перенестись в любую точку мироздания. А еще могло заплывать в такие затоны времени, где оно не движется — и позволяло медлить и лениться сколько угодно, тратить время, не тратя его, — а потом возвращаться точно в тот же момент, из которого отправилось. А еще, а еще... всего и не перескажешь. И самое главное: человек, пока оставался в Облаке, был бессмертен.

Я летала на нем все детство — каждую ночь перед сном — лет до семнадцати точно. И потом время от времени. Стоило открыть — спустя много лет — «Вавилонского Голландца», как сомнений не осталось: да вот же оно — магическое Облако из детства! Только теперь оно оказалось тем, чем и должно было быть, — кораблем-библиотекой. Естественно, волшебным, другими такие вещи и не бывают. В новом облике оно может почти все то же самое — и еще многое другое, о чем в моем детстве оно и не задумывалось. Повзросло, наверно.

Такое неожиданное совпадение с детскими, никому даже не выговоренными, фантазиями совершенно случайного читателя быть случайным просто не может. Без сомнения, здесь задеты какие-то очень глубокие особенности человеческого существа — те, что уходят корнями прямо в мифологию, питательную почву всех культур, прямую родственницу снов.

«Вавилонский» этот корабль потому, что ближайшая родня библиотеке Борхеса, которая содержит в себе все мыслимые и немыслимые книги Вселенной: именно этим он и занят. «...специально оснащенный корабль-библиотека, — объясняют при поступлении на корабль герою рассказа Макса Фрая «Библиотекарь», — должен плавать по морям, заходить в разные города, стоять там по нескольку дней и работать в качестве читального зала»¹. Книги, как сообщили герою «Второго помощника» Кэти Тренд, — разумеется, «на всех языках»² (надо полагать, на несуществующих — тоже!).

Вавилонский Голландец: [антология] / [Составитель Макс Фрай]. — СПб.: Амфора, ТИД Амфора, 2009.

Правда, на самом деле корабль занят не только этим и даже, как ни удивительно на первый взгляд, по существу совсем не этим. «Голландец» же он потому, что — вечный скиталец по свету, подобно своему «летучему» собрату-прототипу. Хотя ни в том, ни в другом он не признается открыто, предпочитая именовать себя «Морской птицей».

Собрание рассказов о корабле-библиотеке — вроде бы антология. Так, по крайней мере, сообщает его подзаголовок. Однако, — что, кстати, очень в духе и книги, и плывущего по ней корабля, — весьма особенная. Согласно рутинной практике, в антологиях, от самых их античных начал, собирались тексты, хотя чем-то друг другу и родственные, но возникшие независимо друг от друга. С текстами, вошедшими сюда, все с самого начала было гораздо сложнее.

«Мы писали эту книгу почти два года, — признается в аннотации на обложке инициатор проекта Макс Фрай, — все вместе, но каждый в полном одиночестве. Мы собирали ее как мозаику из пестрых, разрозненных, зачастую совершенно разнородных фрагментов».

Однако чего у собранных сюда фрагментов точно нет, так это разнородности.

Напротив: они едины настолько, что переход от одного к другому почти не замечается — не замечался бы, если бы эту цельность не делили на отдельные истории их названия. Но при пересечении этих границ не происходит — по большому счету — ни перерыва ведущей интонации (разве что модификации ее), ни вообще перемены качества взгляда.

«Голландец» — не просто цельное и связное повествование. Уговаривались ли об этом авторы специально, нет ли, оно — почти такое, как будто его написала одна (пусть и способная на большие разнообразия) рука, — по крайней мере, такие руки, «владельцы» которых хорошо чувствовали друг друга и уж несомненно работали в одном смысловом поле.

Так вот, никакая он, конечно, не антология. Это — самый настоящий роман в новеллах, во множестве сюжетных линий, параллельных друг другу, пересекающихся, вынырывающих друг из-под друга. И этим он отличается от всех решительно, кажется, фрамовских сборников такого рода, по крайней мере тех, что мне случалось читать — во всех них сюжеты вольно разбегаются каждый в свою сторону, объединяемые разве только поводом своего возникновения — часто довольно формальным. Так было, например, в «Праздничной книге», где каждый рассказ возникал по поводу какого-нибудь праздника — где бы тот ни отмечался, хоть в Гренландии, хоть в Африке; в книгах «Чайной» и «Кофейной» — очень родственных, кстати, «Голландцу» (фрамовским книгам вообще) по ведущему чувству мира — собравших свои истории вместе лишь на том основании, что каждая из них каким-нибудь образом, хоть краешком, да касалась «темообразующего» напитка.

По существу, здесь рассказана всего одна история. Просто для ее осуществления — такая уж она большая — требуется историй много-много и непременно разных. Повествование ведется из многих точек сразу, во многие разные стороны, проходя через корабль и направляясь дальше, неизвестно куда. Среди множества сплетших текст сюжетных линий — ни одной доминирующей — но и ни одной законченной. Эти линии не подчиняются даже временной последовательности: вначале может вынырнуть то, что произошло позже, а несколько рассказов спустя — то, что этому предшествовало. Но есть сквозной «метасюжет», не просто делающий возможными все прочие, а сводящий их воедино, держащий их вместе. Все сюжеты — на самом деле его части. Это — история корабля.

У нее даже начало есть, точнее — несколько предполагаемых начал, в равной степени возможных и в равной же — загадочных. Кое-какие из них даже рассказаны в местной Книге Бытия — начинающем книгу рассказе Фрая «Библиотекарь», а кое-что поведал об этом и Алексей Карташов в «Зеноне, мореплавателе»³. Все апокрифы, конечно.

И что же здесь свидетельствует о цельности? Ну, сквозные образы — это само собой: как без них обойтись, если люди пишут книжку в общем-то об одном и том же? Каждый из участников сборника вкладывает что-то свое в общую схему, разрабатывает ее, уточняет. Но здесь есть и кое-что поинтереснее.

ФРАМ, давший название серии, в которой вышел сборник, — не название нансеновского корабля, как сразу же (и, впрочем, не без оснований) хочется думать, а «неформальное писательское объединение»⁴, и члены его, авторы фрамовских сборников, — несомненно, люди одного духа. Я бы даже рискнула предположить, что существует — и вполне может быть описана как таковая — общая «фрамовская» стилистика, — коренящаяся, как всякой стилистике и положено, в определенном, свойственном всем матросам этого корабля, видении мира — неявной онтологии, если угодно. Впрочем, ее реконструкция — забота литературоведов; наша же задача куда скромнее: понять, почему истории о плавучей библиотеке и ее обитателях — вызванные к жизни общим замыслом и написанные разными авторами, — при всем разнообразии своих сюжетов так похожи друг на друга, почему на этом корабле так хочется плавать и почему так задевает тот мир, по которому он плывет. Кстати, этот мир вполне поддается единому описанию — в представлениях о нем все, кажется, авторы очень согласны.

Да, у авторов общее чувство мира: таинственного, живого, своевольного, полного неожиданностей и с непременным чувством «подводной части» любых вещей, вплоть до самых обыденных (строго говоря, «обыденного» — лишенного способностей к волшебству и преобразению — в этом мире нет ничего вообще. Вопрос, есть ли оно в мире как таковом, представляется принципиально открытым). Общие приемы в обращении с миром и общая по отношению к нему этическая установка, которую я бы назвала *внимательной доверчивостью*. И, главное, общее понимание сказки и вымысла как неотъемлемой, даже — необходимой части человеческого существа и, по большому-то счету, самой реальности. Нет, почти главное.

А по-настоящему главное тут, пожалуй, вот что. «Голландец» ведь не в первую очередь занимается хранением и перевозкой книг (а иной раз и созданием их — как знать, может быть, даже из ничего!). Он выполняет функции — довольно широко, кстати, понятые — спасательного судна.

Иногда это бывает просто буквально. «Морская птица», — рассказывает один из персонажей «Библиотекаря» Фрая, тоже, кстати, из спасенных, — похоже, <...> намеренно искала и подбирала утопающих в основном с погибших кораблей, хотя порой попадали к нам и выброшенные за борт и просто свалившиеся в море по пьяному делу; однажды я извлек из спасательной шлюпки едва живую <...> юную леди, сбежавшую от ненавистного жениха...»⁵. Он предоставляет убежище не только попавшим в беду морякам, но и душам тех, кто уже погиб, присоединяя их к своему экипажу⁶.

Он занимается спасением душ — так или иначе заблудившихся в мире. Нащупыванием новых линий судьбы — взамен утраченных старых. Судьбообразующая у него роль. Он — восстановитель цельностей.

Он дает смыслы и содержание жизни тем, у кого в «сухопутном» мире что бы то ни было не получается: слепнущему в «Библиотекаре» Фрая; тому, кто трудно сходится с людьми («Второй помощник» Кэти Тренд), пришедшими в отчаяние (когда, как восклицает один из безымянных голосов заключительной части фравского «Библиотекаря», человек совершенно уверен, что его жизнь закончилась⁷). Он дает приют — хотя бы и на время — тем, кому просто нужно побыть вместе, а больше нигде (как Стивену и Хосе из «Служителя Джошуа» Елены Боровицкой). Некоторых он может и высадить в определенном месте — скажем, на острове лотофагов, — чтобы те наконец соединились. Так случилось с Анной и Александром у Елены Боровицкой в «Служителе Джошуа», — потом они станут Гансом и Гретель в «Острове» Алексея Карташова: уже на острове — едва сойдут с корабля.

Книга — лишь один из инструментов, наиболее пригодных для этой сложной и тонкой работы. Даже, можно сказать, привилегированных. Без книг у него, пожалуй, ничего такого и не получилось бы. Книги корабль подбирает себе исключительно под эту задачу.

Очень характерно в этом смысле Случайное окно, за которым никого нет. «Если книга нужна, чтобы ответить на один, но очень важный вопрос, надо просунуть руку в окно и взять со стола книгу. Библиотека сама ее подберет»⁸. Видят его не все, а только те, кому нужна книга оттуда, — даже если они об этом не догадываются.⁹

Ненужных книг оно не выдает¹⁰: появление книги — несомненный симптом чьей-то потребности в ней. Иной раз окно лучше самого человека знает, что ему нужно, и может подsunуть ему что-нибудь такое, от чего тот будет возмущаться¹¹. Книгами оно также предсказывает будущее¹².

Эта среда чувствует человека. Она высокдиалогична. Она не льстит ему, не упрощает ему жизни, но только для него она и выращивает сама себя.

Авторам сборника — и этим, по моему разумению, объясняется совершенно особый статус «Голландца» среди прочих фразовских антологий — посчастливилось затронуть очень коренные мифологемы — по крайней мере, коренные для человека европейской цивилизации, с его двойной христианско-античной памятью, с культом Книги в головах и памятью о греках-мореплавателях — в соленой крови.

В основании европейской памяти лежат два архетипа (скорее всего, не только они, но эти — из главных): Книги и Морского Странствия. Библии и Одиссеи. Обе имеют отношение к таким глубоким и общим вещам, что глубже уж некуда: к жизни, смерти — и структурам мироздания, никогда в конечном счете не постижимым исчерпывающе, в которые умещается и то, и другое. Причем у моря и плавания в нем особый статус: оно — между жизнью и смертью, — постоянная возможность и того, и другого. Это знали еще греки, островные жители, пересекая свои моря.

А что перевозило в потусторонний мир умерших древних викингов? А славян-язычников? А?..

Плавающие в море, согласно глубокой, стойкой общеевропейской интуиции — ни мертвые, ни живые, — или и те, и другие. Потому-то на «Морской птице» — и только там — так естественно уживаются и живые и мертвые.

Если Книга приводит для человека мироздание в более-менее обозримый порядок, то морское странствие его из привычных порядков вырывает — и отдает непредсказуемому. Для полноты человеческого существования необходимо и то, и другое. Поэтому Книга и Корабль нуждаются друг в друге — поэтому таким органичным кажется их соединение.

Поэтому-то на образе Корабля-Библиотеки не может, кажется, не отозваться, дрогнув, всякое человеческое существо — и как при этом разным, не похожим друг на друга людям не оказаться сходными в его переживании?

Думается и о том, что авторы и герои «Голландца», среди всего прочего, восполняют нехватку полноценно переживаемого религиозного опыта, которым наша сегодняшняя культура, мягко говоря, не богата. А людям ведь неуютно, неполно, *замкнуто* без него. Это ведь его черты: здесь и надежда, и трепет перед чем-то многократно тебя превосходящим (корабль — именно таков, как и силы, с которыми он соприкасается), и готовность (потребность?) довериться на свой страх и риск; готовность служения (без этого на корабле нельзя, там без дела не болтаются!), наконец — тесно связанная со всем этим — потребность в (спасающем, преображающем) чуде — именно с этого, кстати, — с истории слепнущего человека, заказавшего «чудо» в мадридском кабаке¹³ и попавшего библиотекарем на корабль — книга и начинается. И, разумеется, в таких очень родственных друг другу вещах, как осмысленность жизни и бессмертие. Корабль дает людям возможность всего этого. Только возможность — которая у каждого принимает свою, органичную ему, форму.

Корабль милосерднее традиционных религий и идеологий. Он прекрасно понимает, что имеет дело с людьми, которые — ну такова уж у них культурная структура в их посттрадиционных обществах — ни во что верить совсем всерьез и с предельной самоотдачей уже не умеют. Но в спасении, осмысленности и даже в бессмертии нуждаются и они. Поэтому он не задает им жестких вертикалей, не требует от них (да он вообще ничего не требует! это не в его духе!) безусловно разделять представления о том или ином устройстве мира. Устройство мира он предпочитает оставлять для них загадкой. Он догадывается, что так продуктивнее.

Корабль мягко подталкивает своих насельников к пониманию того, каким образом в постмодерном мире можно существовать не потерянно, но осмысленно. Мир «Голландца», скорее, «всецентричен»: он как христианский Бог у Николая Кузанского, — «сфера, центр которой — везде, а окружность — нигде».

Фуко в свое время говорил, что «мы» — носители западного, логоцентристского

типа рациональности — «ищем центральную комнату в страхе, что таковой нет»¹⁴. Так вот, «Морская птица» (и это очень терапевтично для носителей западного мировосприятия — а на ней в основном такие и плавают) не ищет в своем мире «центральной комнаты» и не нуждается в ней. Центр у нее — везде, и приоритетных направлений движения тоже нет. Корабль — и сам себе центр, правда, не фиксированный, а странствующий — самодостаточный. Его обитатели, вообще-то совсем не чуждые ни страхам, ни тревоге, ни отчаянию, от чего точно не страшатся и не тревожатся, так это от того, что в мире нет центра — выделенного места. Тем самым, похоже, «выделенность» приобретает любая произвольно выбранная точка: куда корабль идет — там и центр. А идет он — всюду и никуда: он идет *вообще*, существует в форме движения. Неосмысленных, «второстепенных» областей это пространство не знает.

Оно организовано «номадически» — как, впрочем, и время этого мира. По разным временам корабль плавает столь же свободно — будучи притом способным сохранять связь с неким избранным временем. «Чем ближе находился отец в момент отправки письма [с «Морской птицы». — О.Б.], — вспоминает герой Нины Хеймец, — тем более ветхой выглядела бумага, на которой оно было написано, и тем более выцветшими казались чернила»¹⁵. Понятно, что он писал — и присылал посылки¹⁶ — из разных времен. Корабль доставляет в другие века почту¹⁷, а члены экипажа покупают там книги¹⁸ для библиотеки. На полках ее рядом с уже написанными стоят книги из будущего: «мне в руки, — догадывается один из пассажиров, — попала книга, которая пока не была написана, даже деду и бабушке ее автора еще только предстояло родиться»¹⁹.

Границы в этом мире не разделяют и «реального» и «фантастического». На равных правах с привычными нам географическими объектами здесь есть остров лотофагов²⁰, страна животоглавцев²¹, Негропонт, Модон, Торон, Бударино, Воницу, Ашаюоли, страны бодентроцев и мейсинов, существующие совершенно наравне с посещенной тем же Филиппом Модезиппом Японией²²; вообще неведомо где находящийся город, который однажды затопило — и с тех пор он так и существует погруженным в воду, «только верхние этажи да башенки торчат»²³. Плавая по своему единому миру, корабль слабо различает даже «посю-» и «потустороннюю» его области: хотя прямых данных о том, что он заплывает и по ту сторону смерти, вроде бы нет, но то, что мертвые вхожи на его борт на равных правах с живыми и могут там с ними общаться, — несомненное свидетельство в пользу этого.

По какому принципу «Морская птица» прокладывает маршрут — не очень понятно, скорее всего, по тому, что не очень и важно. Видимый принцип тут один: корабль «появляется <...> только там, где кому-то очень нужен»²⁴. Корабль можно *позвать*²⁵, как это сделали Стивен и Хосе из «Служителя Джонатана» Елены Боровицкой. И он всегда услышит.

То, что текст этого на-самом-деле-романа и сам в целом децентрирован и, совершенно как курс корабля, не направлен в своем развитии к чему бы то ни было единственному и определенному, — очень органично: это отражает устройство здешнего мира в целом. Центр в книге все время перемещается из истории в историю; и время в ней — не линия, а что-то вроде шара.

Важно, что из насквозь мифологичного мира «Голландца» совершенно изъято сакральное измерение — отсылки к каким бы то ни было богам и божествам. Чудеса в этом мире происходят «сами», непонятно почему (впрочем, что же это за чудо, если понятно, почему оно происходит?). Это — мир постхристианский: мир нового язычества, боги которого неведомы и непонятны. Но именно постхристианский, то есть с сохранением памяти о важных христианских ценностях. Прежде всего — о такой универсальной сущности человека, по отношению к которой вторична вписанность в любые координаты, в том числе и религиозные — но не только они: вообще, кажется, любые обстоятельства времени, места, культуры, социума, набора социальных связей и обозначений. Это открывает вход на борт «Морской птицы» каждому, независимо от того, какие божества за него ответственны и ответственны ли какие-то вообще. Это может быть «арабский купец, португальский священник»²⁶, девочка с Мальты²⁷, китаец Чань Тао²⁸, цыгане-кочевники²⁹. Единственный критерий — потерянности на суше, разлаженности отношений с собственной судьбой.

Корабль — утопия универсальности (столь милая сердцу и уму человека западных культур). Он всечеловечен и транскультурен.

Это своего рода плавучий рай, недаром он — отчасти посмертный. Уходя на корабль, Красавица Сузи у Улиты Уваровой «говорила, что ей теперь никогда не будет ни грустно, ни скучно, а всегда будет хорошо. Странно. Люди это про рай рассказывают»³⁰. И девочка Анна тут же догадывается: «Может, уплыть на этом корабле — это все равно что умереть, только интересно и не больно?»³¹ «...это такой маленький рай не для всех. Хотя рай всегда не для всех...»

Рай-то — конечно. А вот корабль как раз для всех: то есть для всех, кому он нужен. Даже если они не знают об этом — и даже если они не достойны никакого рая. На заслуги тут не смотрят.

Тем более что история корабля — это то, о чем, наверное, каждый мечтает, чтобы оно с ним происходило. Особенно если он уже вырос. С детьми оно и так происходит.

Авторы (мета)истории о «Морской птице» заняты практической работой по выращиванию и проживанию мифа особой породы: приемлемого для человека современного мира. Кстати, ведь «настоящие» мифы, возникающие в межчеловеческом взаимодействии в качестве «условия игры» какого бы то ни было социума, тоже коллективны.

Правда, в отличие от традиционных мифов (у которых — очень жесткий сюжет), мир «Голландца» — структура принципиально разомкнутая, и это тоже важно: это освобождает. Корабль так никуда и не приплыл, и никогда не приплывет, и не может приплыть: у него по определению нет конечного — и окончательного — пункта назначения. Вообще, ни у одной из сюжетных линий книги тоже нет никакого конца. Они все открыты, в каждой из них еще может случиться что угодно. Просто об этом пока не написали. Количество возможных здесь сюжетов — и их типов — бесконечно. И это значит, что каждый читатель может доращивать книгу собственными сюжетами. И я не удивлюсь, если это уже делается.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ С. 10.

² С. 53.

³ С. 393.

⁴ Сердце пустыни. Беседа Макса Фрая и Дмитрия Дейча о «непостижимом и неопределенном» // Частный Корреспондент. — Четверг, 19 февраля 2009 года, 10.15. = http://www.chaskor.ru/article/serdtse_pustyni_3655.

⁵ С. 44.

⁶ С. 38.

⁷ С. 50.

⁸ С. 249.

⁹ Виктор Горбунков. Случайное окно.

¹⁰ С. 250.

¹¹ С. 253.

¹² С. 256.

¹³ Макс Фрай. Библиотекарь. — С. 7.

¹⁴ Цит. по: Ацентризм // <http://ec-dejavu.ru/a/Acentrism.html>.

¹⁵ Необыкновенное путешествие почтальона Якоба Брента. — С. 63.

¹⁶ Необыкновенное путешествие почтальона Якоба Брента. — С. 63.

¹⁷ Кэти Тренд. Почта ван Страатена. — С. 162.

¹⁸ Кэти Тренд. Почта ван Страатена. — С. 163.

¹⁹ Макс Фрай. Библиотекарь. — С. 27.

²⁰ Алексей Карташов. Остров.

²¹ Елена Хаецкая. Шлюпка «Маргарита».

²² Елена Хаецкая. Шлюпка «Маргарита». — С. 177.

²³ Юлия Боровинская. Стекланные перья. — С. 417.

²⁴ Юлия Боровинская. Стекланные перья. — С. 423.

²⁵ С. 272, 273.

²⁶ Макс Фрай. Библиотекарь. — С. 38.

²⁷ Юлия Сиромолот. Путешествие Магдалы.

²⁸ Алексей Карташов. Зенон, мореплаватель.

²⁹ Макс Фрай. Библиотекарь. — С. 44.

³⁰ С. 173.

³¹ С. 173.

Григорий Кружков

«Не англы, но ангелы суть...»

О Наталье Трауберг

О Наталье Трауберг, я уверен, будут писать многие. Вот и моя денежка в общую копилку памяти. Заранее каюсь, запомнилось мне немногое, — но ярко. Каждое общение с ней становилось главным музыкальным акцентом дня, — стоило только услышать ее голос, ее речи, обещающие — сегодня и всегда — какую-то неприменную радость.

Познакомились мы с Натальей Леонидовной в середине 80-х годов. Все началось с просьбы перевести поэтические тексты из романов Честертона и других вещей, которые она готовила к печати. В частности, я перевел вступление к роману «Человек, который был Четвергом», кое-что из «Перелетного кабака» (песня Квудля). Мы изредка встречались и подолгу, порой часами, болтали по телефону. Это были восторг и упоение! От нее я впервые услышал рассказ о папе Григории Великом (VI в.), который заметил на невольничьем рынке двух красивых светловолосых мальчиков-англичан и спросил, откуда они. Ему ответили, что это англы. «Не англы, но ангелы суть», — молвил папа. Наталья Леонидовна (впрочем, она сразу попросила меня звать ее Наташей) очень любила эту легенду. Англичане ее умиляли. Ни о чем божественном мы никогда, сколько помнится, не говорили. Но какая-то святость всегда витала вокруг Наташи. Конечно, я видел и аскетизм ее, и упорное трудолюбие — она была главной добытчицей в семье, зарабатывая не только на детей, но и на внуков переводом романов с испанского, итальянского и английского. Услады ее были самые скромные — например, поесть в ресторане ЦДЛ жареной рыбы. Только раз нам с ней это реально удалось, но зато сколько раз мы обсуждали в мечтательном плане: мол, а не закатиться ли нам снова в ЦДЛ поесть той самой дивной рыбки? Рыба сия, конечно, молчаливо полагалась не простой, а символической; хотя Наташе было ведомо, что я атеист, но она так людей никогда не делила — на верующих и неверующих. В доме у нее в центре внимания всегда была кошка, почитавшаяся как некий языческий божок. В обстановке квартиры я не запомнил ничего необычайного: просто, скромно донельзя; за исключением единственной роскоши — чудесного портрета на стене (кисти Валентины Ходасевич, племянницы поэта), с которого глядела одиннадцатилетняя Наташа, загорелая девочка с пронзительно синими глазами.

О чем мы с ней говорили? Два предмета очевидны: это ее любимцы Герберт Кит Честертон и Клайв С. Льюис, которых она так долго, неутомимо и самоотверженно переводила. Льюиса — не только знаменитые сказки о Нарнии, но роман «Мерзейшая мощь», и христианско-нравственные книги в разных жанрах. Все это она перевела еще до перестройки, когда Льюис фактически был под запретом, перевела не для печати, а для друзей. И хватило же охоты и сил — при такой загрузке переводами ради хлеба насущного! То же самое с трактатами Честертона, остроумнейшего эссеиста, веселого поэта и строгого христианского мыслителя. Вот такая гремучая смесь всегда привлекала Н.Трауберг (как и меня; и это нас сближало). Кого из этих двоих писателей она любила больше? Не знаю, но она любила цитировать слова Сергея Аверинцева: «Честертон — серебряный, Льюис — золотой».

Часто Наташа рассказывала о друзьях своей молодости, особенно о круге англистов, с которым она тесно общалась: о Владимире Муравьеве, Владимире

Скороденко, Андрее Сергееве. Слушать ее было увлекательно. Хотя почти все житейское, что упоминалось, — кто с кем развелся, кто на ком женился, — это у меня в одно ухо влетало, в другое вылетало, я такие вещи не умею запоминать, зато все профессиональные страсти и пристрастия меня жадно интересовали: то было время открытий, выхода за «красные флажки» идеологических запретов, бескорыстного увлечения новым, далеким-близким. Люди Наташиной молодости представляли мне окруженными ореолом романтики — не архивные юноши с книжной пылью на ушах, но смелые «геологи» от филологии, чьей Сибирью были литература Англии и Америки, еще неведомые у нас залежи поэзии и прозы.

Помню наш долгий разговор (в 1989 году) об английском следе в русской истории — о Гите, дочери короля Гарольда, убитого при Гастингсе, которую выдали замуж за Владимира Мономаха. Мстислав, князь смоленский, был ее сыном. А внуки выросли совершенно удивительные: *Добродея-Евпраксия-Зоя*, супруга византийского вельможи Алексея Комнина (ее медицинский трактат «Мази» хранится в библиотеке Медичи во Флоренции); *Ксения*, замужем на половецким князем Брячиславом; *Малфрид*, королева норвежская; *Ингеборг*, замужем за принцем датским; *Евфросиния*, королева венгерская, супруга короля Гезы II. И лишь одна из Мстиславн, выданная замуж за русского князя, владимиристо-волинского Ярослава Святополковича, была вскоре отослана мужем обратно в Киев. (На этом месте Наташа сделала замечание: «Как и я была отослана своим литовским князем».)

Тут и возникает вопрос: почему пять сестер-княжон, внушек Мономаха, так прославились при дворах иноземных? Откуда сразу столько выдающихся русских женщин? Не от бабки ли Гиты Английской, которая пестовала дочерей своего старшего сына Мстислава и научила их разным колдовским штучкам? В Англии ведь все понемногу колдуют... И не оттого ли русский князь отослал жену назад к ее батюшке, что была она для него чересчур умна?

Вообще, разговоры бывали самые разнообразные, но всегда увлекательные и удивительные. Они охватывали и Москву, и Литву, и Англию, и сопредельные страны; множество людей и имен — и знакомых и тех, которые я слышал впервые; настоящее время вперемешку с *passato prossimo* и *passato remote* (ближайшим прошлым и прошлым, давно прошедшим). Наряду с серьезным — много забавного и курьезного. Так, я наткнулся в старом дневнике на двустиише, который Наташа сочинила в три года, когда мама чистила ей апельсин, а рядом были ее подружка Майя и кот:

Мама чистит и дает.

Я плюваю.

Майя.

Кот.

По-моему, Маяковский *отдыхает* (не в обиду ему будь сказано). Да и Блок: «Ночь, улица, фонарь, аптека...»

Наташа научила меня составлять круксы. Вообще-то *сгук* значит крест, но в данном случае имелась в виду такая минимальная таблица (2X2), которую можно читать по горизонтали и по вертикали. Например, она предлагала мне такую задачу: даны *кот*, *конь* и *мышь*. Кого надо добавить, чтобы получился крукс? Ответ: надо добавить змею, тогда получится такой крукс:

Кот	Конь
Мышь	Змея

Здесь кот и мышь — лунные животные, а конь и змея — солярные (деление по столбцам). С другой стороны, кот и конь — небесные, астральные, а мышь и змея — земные, хтонические (деление по строкам). Так я отвечал, а Наташа одобряла и хвалила.

Кстати, эти круксы мнегодились потом, когда я сравнивал некоторые аспекты поэзии Уильяма Йейтса и Мандельштама. У Йейтса два византийских стихотворения: «Плавание в Византию» и «Византия», а у Мандельштама, на первый взгляд, одно: «Айя-София». Какое стихотворение надо добавить для симметрии? Я нашел второе византийское стихотворение Мандельштама: «Бежит волна — волной волне хребет ломая...» — и опубликовал статью об этом в «Известиях Академии наук». А с чего все началось? С внушенного мне Наташей стремления составить крукс, — который и в результате и получился:

Йейтс Плавание в Византию (1926)	Мандельштам Айя-София (1912)
Йейтс Византия (1930)	Мандельштам <Волны> (1936)

Здесь по горизонтали: в верхней строке — стихи солярные и статичные, в них доминируют стихии воздуха и огня, а из искусств — аполлонические: архитектура, мозаика; в нижней строке — стихи лунные и динамические, в них доминирует стихия воды, из искусств — дионисийские: война и музыка.

Наше общение сделалось реже после того, как я «научил» Наташу самостоятельно переводить вставные стихи в книгах, над которыми она работала. «Зачем от кого-то зависеть? — сказал я. — Попробуйте сами — у вас получится». С тех пор она так и стала делать. А потом я уехал на три года в Америку, потом вернулся, но жизнь моя сделалась кочевой и бродяжьей, мы стали редко видеться. Хотя однажды Наташа пригласила меня выступить перед студентами Богословского университета, в котором она преподавала, потом пристроила мои переводы из Донна в библейском журнале. В это время до меня и стало доходить, что Наталья Трауберг — не просто переводчик, а деятель христианской культуры, проповедник (она вела регулярные передачи по радио), почти что миссионер.

Но и в своей миссионерской ипостаси она осталась сама собой. Ничего такого, что обычно связывается со священством, монашеством — важности, степенности, самоуверенности, — в ней от роду не было и неоткуда было этому взяться. Ее христианство было, при всей ее начитанности, простым и домашним. Недаром в своей книге эссе «Просто жизнь» она несколько раз повторяет наставление литовского священника: «главное — ставьте туфельки ровно». Мне кажется, что эпиграфом к так понимаемой, так прочувствованной религиозности могли бы быть слова Пушкина (из Ксенофана Колофонского): «Должно бессмертных молить, да сподобят нас чистой душою / Правду блюсти: ведь оно ж и легче».

Один на один с реальностью

Рубрику ведет Лев Аннинский

И — голос,
И — Логос...

Александр Попов. Logos

Своей книге «Один на один с болезнью»¹ (из поэтического раздела которой я буду цитировать важные для меня строки) Александр Попов предпосылает своеобразную увертюру, где сравнивает род человеческий с миром животных. Если учесть, что первая любовь Попова — естествознание и что в школьные годы он брал призы на биологических олимпиадах, — ничего удивительного. Удивительно другое, и прокомментирую я «увертюру» ради этого другого.

Мысль Попова: в животном мире очистившееся место никогда не пустует, свободную нишу тут же занимают конкурирующие виды, не пуская бывших «хозяев» обратно.

У меня встречная мысль: и человек — таков же?! Чингизовы конники хлынули в казавшиеся им пустыми южнорусские степи, коней накормили, а обратно... попробуй выпроводи. Так что человек подчиняется животным законам?

Нет! — отвечает Попов. — Человек — исключение. Единственное во всей Природе исключение. Сделав всю Землю своей экологической нишей, он живет по новым, человеческим законам! И только совершенствуясь технически и, главное, психологически, — он получает возможность жить дальше.

Конечно! Так и мы думали, когда присягали коммунистической вере, и только теперь, по прошествии жуткого XX века, пятаемся от той веры к мыслям о животном начале. Но дети-то наши откуда подцепили мысль о воспитании нового Адама? Откуда у Александра Попова такая убежденность в светлой природе человека? Если сегодня тебя встречает в тенистом парке кодро подростков и — без всякой причины — начинает калечить, а если ты не устоишь, упадешь — добьют ногами до смерти и разбегутся (беру пример строго из книги Попова), — так как соединить нынешнюю звериную агрессивность (неистребимо животную, а в проекции на человеческую культуру — подлую и мерзкую) с верой в исключительность человека?

Наши отцы решали вопрос просто: это Дзержинский не успел втянуть безнадзорную шпану в строительство коммунизма. Мы, «шестидесятники», уповали на Макаренко и верили: все тайны природы раскроем скоро!

Где теперь опростоволосившиеся «шестидесятники»? Где Дзержинский? Где Макаренко? Один — на задворках скульптурного отстойника, другой вытеснен Макаревичем, а на опустевшем месте — бомжовая хрень, гламурная спесь, всехавающая попса. Как же Попов, оставаясь с этой реальностью один на один, сохраняет неубитую веру в человека? Где он ее набрался? В веках Просвещения? А может, все-таки поближе — в химерических мечтаниях советской власти, два десятилетия которой

¹ Александр Попов. Один на один с болезнью. М., ПИК. 2008.

он захватил в детстве и юности? Хотя уже и сама власть готова была смириться с тем, что все это химеры.

Встать с колен
Не подлежащий реконструкциям,
Но и не списанный на слом,
Дом — старожил щербатой улицы —
Застыл меж вымыслом и сном...

Впоследствии Попов подсчитал, что успел прожить в XX столетии 33 года — Христов век. Соображать, что почем, пришлось уже в XXI. Но сформировала характер последняя треть XX. Каким образом?

Представим себе то время. Идут на убыль 60-е годы. Последние идеалисты, закоренелые «шестидесятники» — теряют последние иллюзии. Их время истекает — вместе с надеждой, что у социализма можно обнаружить человеческое лицо.

Где граница этого этапа? В 1964-м, когда убирают в отставку вождя Оттепели? В 1966-м, когда сажают в тюрьму двух литераторов и интеллигенция дождем бессильных писем дает либеральной эпохе прощальный салют? Или в 1968-м, когда давят танками Пражскую Весну и несколько отчаянных диссидентов идут на Красную площадь заявить протест, после чего отдаются в руки милиции?

Устояли тогда химеры. Поколению, родившемуся в это время, надо было идти через их строй. Обнаружить реальность меж сном и вымыслом. Система еще вскидывается в ленинский столетний юбилей, но великий миф уже подточен издевательскими анекдотами. Десять лет спустя рушится еще один великий миф — о святости олимпийского огня: мир бойкотирует московские Олимпийские игры. Бойкотирует из-за «Афгана», который свинцовой чертой обрезает 70-е мирные годы. Дальше — 80-е, дальше сползает под уклон Советская власть, на смену детям Застоя идут дети Распада — близится время платить по счетам.

Век истек.

Детям Застоя сейчас — вокруг сорока. Фактически они держат на своем горбу нынешнюю реальность. Что вынесли они из эпохи, их сформировавшей? Я вглядываюсь в исповедь Александра Попова, потому что это один из самых ярких манифестов поколения, нашедшего себя в эйфории Перестройки, да и в Застое уловившего первые свежие струи свободы. Какое же это было счастье: встать с колен!

«Сильный человек — не тот, кто не падает, а тот, кто способен после падения встать».

Борис Слуцкий, ребе-комиссар поколения смертников Державы, был трезвее: «Жалко слабого, жалко больного, еще жальче сбитого с ног, поднимающегося снова. Он пытался уже — не смог».

Но не Слуцкий вдохновлял молодых — вдохновлял Окуджава. Литературные авторитеты Советской эпохи просто перестали существовать, из них Попов как-то вскользь помянул Асадова и только, зато бардам, менестрелям и трубадурам начавшейся Гласности присягнул прямо-таки публично, и прежде всего — Галичу: «Промолчи — попадешь в палачи!»... «Граждане, Отечество в опасности: наши танки на чужой земле!»... «Я выбираю свободу!»

Праздник длился целое десятилетие: «нас захватил вихрь открытий и потрясений, потрясший Советский Союз конца восьмидесятых».

В самой середине этого вольного отпущения на все четыре стороны света, в самый разгар закружившей Попова эйфории — катастрофа.

Разоренные соты

Чуть слышный запах меда
Из разоренных сот —
Расплата от Природы,
Не терпящей пустот!

1984 год, 30 апреля, день рождения. Семнадцать лет, рубеж взрослой жизни. Выезд с гостями на дачу, рыбалка, футбол. Впереди — майские праздники, выпускные экзамены в школе, вступительные в институт...

И вдруг все под откос. В одно мгновение. Приговор без обжалования и без срока. Рассеянный склероз.

Что это? Откуда? С какой стати? За что?

Почему в нынешнее время эта беда обрушивается на людей, и все чаще — на молодых? Что-то в годы катастроф, в пору Революции и Гражданской войны, в пору войны Отечественной... да и в наши послевоенные годы — мы о такой напасти не слышали.

Не потому ли, что во времена, когда гибель над людьми висела ежесекундно, — просто не успевали дожить до такой «мирной болезни» — погибали раньше?

Да как-то и не знали такой гибели — непонятно, отчего, средь мирного пейзажа, под чистым небом. Раньше-то как было? Гибель — от пришельцев, от завоевателей, от супостатов. От незваного гостя. От татарина, от француза, от немца. А если после наполеоновского нашествия целый век — никаких роковых пришельцев, — так сработал же инстинкт: нашлись враги «унутренние», и застряла в сознании угроза гибели: от буржуев, от захребетников, от вредителей, от изменников. От американских империалистов (это уже в мои молодые годы).

Так поневоле задумаешься: а если судьба уже не грозит ни войной, ни каторгой, ни бунтом, ни расправой... так не ударит ли тебя Природа, подчиняясь какому-то страшному статистическому закону балансировки? Ты думаешь, что склера «собирается» — уплотняется в каком-то конкретном, понятном, определенном месте, и это место можно купировать, атаковать, но едва ты собираешься для атаки — беда «рассеивается», ее и не ухватишь, и не избавишься от нее никогда.

Я понимаю, что эти мои упражнения носят вполне филологический характер и никакого медицинского смысла не имеют.

Но для души — это как? Жил-жил, и вдруг посреди эйфорически ослепительной реальности из какой-то мутной тьмы — удар.

Конечно, Александра Попова выручила одаренность. Не врачебная поначалу, а — литературная. Возможность выговориться — важнейшее психологическое условие в ситуации приговора, павшего ни за что. Возможность вогнать в слова эту боль, эту слепую обреченность, этот бытийный абсурд — тут уже заложен отказ от безоговорочной капитуляции. Возможность услышать свой голос — это шанс услышать и голос судьбы — Логос.

Не может же абсурд быть смыслом происходящего!

Переменяя воспоминания о реальных событиях с поисками их смысла, Попов начинает писать что-то среднее между учебником аутотренинга и исповедью человека, который из слов выстраивает реальность разумную, вытесняя реальность абсурдную.

Чудес нет. И не будет. И не надо. Но есть умение использовать заложенные в каждом из нас возможности.

«Я не знаю, где выход из круга».

Не знаешь — посоветуйся с дедами, они рассеянным склерозом не болели.

Попадавшие звезды
Через века в моей крови
Ведут беседы
Суровый сумрачный раввин
С рязанским дедом.

Деды свое дело сделали. А наше дело — использовать наши возможности. Как это происходит?

Пока старшие расправляются с партией, мы разделяемся с комсомолом.

— Ты что, с ума сошел? Забери сейчас же свое заявление!

Комсорг, которому Попов объявляет о своем выходе из ВЛКСМ (по принципиальным идейным соображениям), — начинает нервничать, и неспроста: при Советс-

кой власти на такой демарш вряд ли кто решился бы. Теперь же у секретаря едва хватает духа задать вопрос, единственно здравый по смыслу:

— А для чего же ты тогда вступал?

Ответ, неслыханный по дерзости:

— Боялся, что в институт не примут.

Я в институт вступал на треть века раньше и тоже боялся, что не примут. Но не из-за отсутствия комсомольского билета — билет у меня был (и это вполне соответствовало моим убеждениям). Я опасался, что меня не примут из-за моего еврейства. Чистых евреев в 1951 году принимали по жесткой квоте, я же, как все полукровки (которых было среди абитуриентов раз в десять больше, чем полных евреев), — я жутко боялся, что в приемной комиссии докопаются до еврейских имени и отчества моей мамы, — в страхе я ставил скромные инициалы.

Как все переменялось за треть века! Мы были рождены — как бастарды революционного времени, когда люди с черты оседлости и люди из сел и станиц впервые спознались на общей почве; нам, детям этого «микста», пришлось в конце концов выбирать из двух «половинок». С тех пор проблема иссякла: те, что решили стать евреями, получили возможность отбыть в страну обетованную (или еще куда подальше), те, что выбрали русскость, обрусели уже без особой оглядки на происхождение (тем более что в России на место оппонентов «унутренних» стали пихать кавказцев).

Поколение наших детей считает гены уже не «половинками», а «четвертинками»: Советская власть не препятствовала дальнейшему «миксту». Александр Попов в артистичном стихотворении («В подражание Галичу», что еще усиливает эффект вызова) рассказывает о том, как перекликаются в его, Попова, жилах: «четверть еврейской крови» и «три части русской» — он переводит всю эту историю в жанр застольного трепа. Ложка дегтя (еврейского) перекрашивает в свой цвет бочку меда (русского). «Шолом!» — кричит герой, приветствуя Русь. Из четырех собутельников один, напившись, предусмотрительно умывается, трое оставшихся допивают недопитое «и в свинском перепитии еврея обвиняют».

Так поколение, перекидывающееся из советского времени в постсоветское (из Застоя в Раздрай), смеясь, расстаётся со своим прошлым. С прежними страхами, мифами, химерами.

В критические моменты, впрочем, им не до смеха. В ночь с 20 на 21 августа 1991 года Александр Попов встает в живую цепь вокруг Белого дома. «Готовность номер один. Штурм начался!»

Штурм не начался: спецназовцы отошли, защитники Демократии получили страну в свои руки.

Настала пора осмыслить случившееся.

Во-первых, страна развалилась (Советский Союз, созданный, как известно, плохими людьми в тоталитаристских целях).

Во-вторых, с голубого экрана вместо ожидаемых хороших людей — трибунов Демократии, вырвавших власть из рук стукачей и чекистов («Ты чекистам не нужен, стукачам ни к чему»), — вместо новых мэтров и старых монстров зашелестело с голубых экранов тонкой струйкой: «Господа, господа...», струйка усилилась до потока, и недавний защитник Белого дома ахнул: «Ненавистные лица про экрану снуют... Не темницу — теплицу ты разрушил свою!»

И, в-третьих, за окнами теплицы, казавшейся темницей, стало видно, как сыплются звезды. Это — один из лейтмотивов Попова-лирика. Есть мотив двоения (то ли Остоженка, то ли Метростроевская... то ли Москва возрожденная, то ли третий Рим рухнувший... мы кого-то затоптали, нас кто-то затопчет) и есть — песнь звезд (звезды погасшие, звезды, рассыпавшиеся крошечком, звезды, застывшие в небе загадочными отточиями...).

Нигде не решается защитник Белого дома связать этот звездопад с той политической символикой, которая нависала над Москвой в октябрьскую ночь 1991 года. И все-таки один раз прорвалось:

«Там, в Москве, химеры хохочут с окровавленных звезд Кремля».

Перья химер

Пусть меры нет, чем раньше мерили,
Пусть веры нет, как раньше верили.
И под растрепанными перьями
У Синей Птицы — пустота!

Меж тем болезнь не дает расслабиться. Хроника, фиксирующая события жизни в реальном времени, становится историей болезни. Фиксируются маленькие победы над недугом. Получается своеобразный практический аутотренинг, или, как формулирует Попов, аутопсихокоррекция — коррекция реальности идеальным самосознанием.

Максимумы в этом учебнике подкрепляют одна другую.

Нужно чувство ответственности. За себя. И за то отдаленное будущее, которое, очевидно, осуществится уже без нас.

Нужно вкладываться в жизнь полностью, не экономя сил и не уклоняясь от испытаний. Нужны большие и важные цели.

Нужно смехом встречать невзгоды, ибо смех продлевает человеку жизнь.

Нужно сознание сверхзадачи — цель вне границ данного существования.

Нужна, фигурально говоря, «страна родная», и если она есть, то «нету других забот».

Стоп. Что-то зашкаливает в моем читательском сознании. А разве большие и важные цели вроде строительства коммунизма, а до того — укрепление триединства православия, самодержавия и народности, а до того — иные прадедовские варианты единства и неделимости страны — не оборачивались периодически химерами? Где гарантии, что очередные великие цели, выходящие за рамки отдельной человеческой жизни, не покажутся очередным коллективным самогипнозом?

Я бы не ставил таких каверзных вопросов, если бы поколение, рванувшее из Застоя в Перестройку, не положило столько сил на развенчивание мифов и легенд ради того самого человеческого существования. А человек, куда ни кинь, все ищет себе очередных ориентиров в будущем, которое испещрено следами попадавших звезд.

Самое интересное в исповеди Александра Попова: откровенность, с которой раскрепощение личности — во всяком случае, впервые в обозримой русской истории — мыслится как освобождение индивида. Без морока коллективных шествий, соборных единений и массовых штурмов. Смысл жизни ищет индивид. Индивид как таковой. Смысл жизни как таковой.

Какова же эта жизнь — в ее постперестроечном, вольноотпущенном, свободно-предпринимательском понимании?

Если в магазине есть товары, на которые ты не хочешь смотреть, потому что они тебе загодя не по карману, — так найди в себе силы все-таки посмотреть с интересом на элитарные полки, потому что завтра ты можешь получить наследство или устроиться на высокооплачиваемую работу.

И еще слава богу, если дело ограничится магазинными полками и не отметелят тебя от нечего делать озверевшие подростки в тенистых аллеях. Где пристроишь ты тогда ту «исключительность», которая должна выделять человека из прочего зверинца? Как вырвешься к большим и важным целям, если там, где «цели», сторожат тебя химеры? С чем останешься, если на месте аннулированных химер обнаружится дикость, а под перьями Синей Птицы — пустота?

Освобожденный от химер индивид остается один. Один на один с реальностью.

А не проснется ли тот самый Режиссер, который, по Шекспиру, заправляет жизнью, как театром, где все люди актеры? Но ты же и пьесы не можешь прочесть! Понимая это, Александр Попов ищет себе наставника, склонного выступать в театре одного актера. И находит!

«Гул затих, я вышел на подмостки...»

Предупреждал же Борис Пастернак: не собирайтесь в кучу! Говорил это евреям,

но опасался-то — любой «кучи», отечественной ли, мировой, рукоплескавшей ли, затихшей. Шел с посохом через поле жизни к своей индивидуальной цели...

Трость и посох

...Да, действие дальше продолжалось,
Но пал незримый Рубикон.
Исчезло все: дыхание зала,
Партер, и ложи, и балкон.

Исчезло все.

Все, что «вне», — бессмысленно, миражно, обманно. Бессилие накатывает.
Пустота обступает. Но сдаваться нельзя!

Пусть Он не проронил ни звука,
Но как во тьме зажегся свет:
Он не ответит, потому как
Он хочет слышать мой ответ!

А что ты можешь? В руках твоих — тросточка, на случай, если склероз, рассеянный в членах, пошатнет походку. Что же, и с этой тростиночкой — на сцену?

Да!

И снова я вливаюсь в Действо,
И снова сцена, зал, огни...

И Он сказал неслышно: «Действуй!
Да посох свой не оброни».

На то и Поэзия, чтобы осуществлять невозможное. В этот миг слышит человек Голос. И осознает Логос. И верит, что можно устоять один на один с Истиной.

Тем более, когда Поэзия благословляет в свои пределы новое имя.

Summary

The prose of this issue is remarkable for the fact that none of its authors (except Olga Kuchkina whose memoirs we began to publish in the previous issue) have ever been published in our magazine. Incidentally most of them, such as LILYA KALAUS from Almati, PAVEL ANTIPOV from Minsk, KONSTANTIN MOSKALETS from Kiev, have never been published in any of well known Moscow editions. Hope the debut on our pages will open for them the way to the Russian readers. So good luck to them!

It's several years now that the literary competition of prosaists, poets, critics and authors of children's literature is being held within the Voloshin's festival in Koktebel. In the last year our magazine for the first time founded its own nomination named after Voloshin's line: «We, so different in souls, were keeping the common fire». The short story by the young author EVGENIJ BEVERS «Fairy Tales of the Far North» has become the winner in this nomination.

Within the framework of Voloshin's festival «Drouzba Narodov» arranged the open poetical seminar in which about 30 young poets from different countries took part. Special attention was attracted by the literary project «A Packet of Poems». Here we are publishing poems of some of the participants of the project — LETA YUGAY, ALEXANDRA MOCHALOVA, VLADA KLYENA and others.

ALEXANDER ZAGREBELNIJ. At the Silk Way Among Three Worlds.

The essay of A. Zagrebelnij is about the mixture of languages, cultures and lives stories of the people working at a derrick in Kazakhstan.

ROMAN SENCHIN. Sitting at My Moscow Kitchen.

This is the essay of the well-known writer R. Senchin about the Russian region poorly known to the majority of Russians themselves, but infinitely interesting and even mysterious. It's Tuva, the native place of the author which is still appealing and dear to his heart.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В 2010 г.
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.
Нашиндекс 70250

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Сожаеем, но редакция нашего журнала не имеет возможности рассматривать рукописи, приходящие электронной почтой.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор, заместитель главного редактора — 691-62-27, заместитель главного редактора (производственные вопросы) — 695-52-03, зав. редакцией — 691-62-27, отдел прозы — 691-85-10, отдел поэзии — 691-63-63, отдел публицистики — 691-05-09, отдел критики — 691-64-50, факс: 691-63-54.

E-mail: dn52@mail.ru, <http://magazines.russ.ru/druzhiba/>

Сдано в набор 19.02.10. Подписано в печать 19.03.10. Формат бумаги 70 x 108 1/16. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 19,60. Усл. кр.-отт. 20,30. Уч.-изд. л. 22,05. Тираж 2000 экз. Заказ 791. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом "Красная звезда"». 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 38. <http://www.redstarph.ru>